ПАВЕЛ
ВАСИЛЬЕВ







БИБЛИОТЕКА
ПОЭТА

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ

Советский
писатель



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Большая серия

Второе издание

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Вступительная статья
С. П. Залыгина

Биографическая справка,
подготовка текста и примечания
С. А. Поделкова

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1968

Р 2
В 19

Павел Васильев (1910—1937) — один из наиболее ярких и талантливых советских поэтов 30-х годов. Творческий путь его был недолог, всего около десяти лет, но за эти годы он успел создать ряд художественно значительных произведений. С особой силой талант П. Васильева проявился в его эпических произведениях «Песня о гибели казачьего войска», «Соляной бунт», «Синицын и К°», «Кулаки» и др Настоящее издание — наиболее полное собрание поэтического наследия П. Васильева: в книгу вошли стихотворения, извлеченные из газет и журналов 20—30-х годов, а также несколько не опубликованных, еще неизвестных читателю стихотворений.

7-4-2
371-68



ПРОСТОРЫ И ГРАНИЦЫ

(О поэзии Павла Васильева)

Сила, а вернее, громкость поэтического голоса еще мало о чем говорит сама по себе.

Иной изысканно-тихий и даже меланхолический голосок вовсе не является слабеньким и заглушает голос буйный, заглушает, даже как будто не замечая этого.

Говорится это не в упрек кому-то: в литературе и должно быть тесно от разных жанров, стилей и голосов. Это — в порядке вещей.

Не в порядке вещей — короткая память критика и читателя, который иной раз, вместо того чтобы вспомнить и обдумать, попросту забывает.

В отношении Павла Васильева такая забывчивость имеет свои причины: тут и сама личность поэта, слишком уж нашумевшего при жизни и в литературе и вне ее, и ранняя его гибель.

Но время прошло, все привходящие обстоятельства прошли тоже, громкая, а часто и излишне громкая известность поэта тридцатых годов сибиряка Павла Васильева теперь уже забыта даже его современниками, которым приходилось его знавать, с ним встречаться, а вот поэзия его — живет.

Значит — имеет на это право. Значит — это действительно поэзия.

И когда мы задумываемся над тем, что же отличает Васильева от других поэтов (потому что только нечто собственное, отличное от других могло провести его через годы), в чем сила поэзии Васильева, то, пожалуй, сразу же и скажем, что она как раз и заключа-

лась... в силе. Не в раздумчивой лиричности, не в глубине познания тех или иных явлений, не в технике письма, не в тончайшей наблюдательности, а прежде всего — в силе его ощущений, как будто даже воспроизводящих ту плоть, которая эти ощущения переживает.

Конечно, ни поэзия, ни отдельный поэт не бывают однолинейными, однозначными, и характеристики поэта могут быть самыми разными, только более или менее существенными.

Казалось бы, уж что-что, а именно эта существенность, эта индивидуальность Васильева должна была бы найти точное определение в критике. Но случилось по-другому: изображение поэтом силы, ее проявлений было отождествлено критиками с натурализмом.

Спору нет — понятия близкие, но отнюдь не синонимы.

С некоторых пор всякая, если можно так выразиться, «мускулатура», тем более мускулатура действенная, сильная, которая позволяет собой любоваться и даже — ужасаться ею, почему-то обязательно приводит к выводу о несомненной натуралистичности. И — напрасно.

Поэзия силы, поэзия буйная имеет такое же право на существование, как и поэзия тонкой лирики И то и другое — мир человеческих чувств. Это уже другое дело — к чему то и другое ведет, то и другое призывает, участвует ли здесь еще и чувство меры самого поэта?

У Васильева и сама тема большинства его крупных произведений — тема классовой социальной борьбы, и само время, в котором он бурно жил и о котором писал, время грандиозной ломки, — все взывает как раз к изображению сильному, бескомпромиссному.

И нет в стихах и поэмах Васильева слабых людей. Есть слабые дети, есть беззащитные женщины, но слабых людей — независимо от того, друзья это или враги, — нет.

Женщина у него создание такое:

С темными спокойными бровями,
Ты стройна, улыбчива, бела,
И недаром белыми руками
Ты мне крепко шею обняла ..

Либо нечто совсем противоположное:

Девка расписная,
Дура в лентах, серьгах и шелках!

«Хозяин» Деров в поэме «Соляной бунт»:

...В красных сапожках
На деревянных гнутых ногах,
В облачных самоварных парах
Бьет ладонью о крытый стол,
Бьет каблуками в крашеный пол,
Рвет с размаху расшитый ворот
К чертовой матери! ..

Хозяйство у Дерова тоже необыкновенное:

Сена наметано до небес,
Спят в ларях
Проливные дожди овса,
Метится в самое небо
Оглобель лес,
И гудят на бочках
Железные пояса.

И коровы — в хозяина:

Устлан травой
Коровий рай,
Окружены их загоны
Долгим ревом.
Молоко по вымям их
Бьет через край,
Ходят они по землям
Ковровым.

Провожает в кровавый поход казачье войско поп. Конечно же это не какой-то там попик, это — фигура:

Сажень росту, парчовые плечи,
Бычий глаз,
Борода до пупа.
Поп отличный,
Хороший поп,
Нет второго
Такого в мире.

Пока что — здесь персонажи «мирного времени». Что же и говорить, когда они вступают в рубку, когда речь идет либо о жизни, либо о смерти — и третьего им не дано?!

Люди у Васильева всякие — диковатые, жадные и алчные, жестокие и свирепые, благородные и увлеченные, нет только среди них людей пустячных, безликих, двойных и тройных. Люди, у которых даже внешность полностью соответствует их внутреннему складу. Уход от борьбы у них — это уход из жизни. Человек живет у Васильева таким, какой он есть, и так, как он живет, — либо не живет никак.

Мы привыкли, что такого рода былинная сила еще сто лет назад воспринималась именно как былина, как «Песня о купце Калашникове».

Между тем у Васильева сила — это «мы», это «наше» — наше время, наше национальное, наше историческое и, наконец, наше любимое, и поэт умеет показать нам его объемно, в ярких подробностях, в подлиннике, а не в копии с копии.

Об этом подлиннике как-то невольно вспоминаешь, когда страницу за страницей перелистываешь стихи, иной раз слишком уж инфантильные, мелодраматические и как будто даже ставящие самим себе в заслугу и свой мелодраматизм, и свою инфантильность.

Потому, наверное, и хочется к подлиннику еще раз вернуться, рассмотреть его подробнее и благожелательнее.

Сила у Васильева, конечно, несколько хвастлива... Но ведь это же — правда, она такая и есть, она неизменно чувствует себя не только в том, чего уже достигла, в чем уже четко и ясно зафиксирована, но и в своей собственной уверенности, в своем желании сделать еще больше — дайте ей только срок!

У нее есть, конечно, и слабости: она наивна и самоуверенна, не ставит самой себе в упрек необдуманных поступков, — и эти ощущения мы из поэзии Васильева тоже выносим. Что поделаешь — в абсолютно идеальном виде ничто не существует. Она и в самом деле изображена почти натуралистически, но что же составляет такое «почти»?

«Почти» — это точность, с которой живописует поэт, а подлинно поэтическая точность — антипод точности натуралистической. Натурализм не ищет «говорящей» детали, он тщетно хочет сказать всё обо всем, «всё как есть», для него все детали равны и правомочны. А вот именно тонкость и безошибочность наблюдений, избранность деталей переводит и в самом деле такое близкое к натурализму качество человеческого характера и физическое качество человека, как его сила, — в плоскость реализма.

Сильные люди Васильева — именно и прежде всего — обладают силой, как таковой. Это не сила интриганства и коварства, не сила власти и властолюбия, не сила неких чар или обстоятельств, а то

качество, которое существует само по себе, и его есть за что воспевать, им не только возможно, но и следует любоваться, его есть все основания оберегать от его же собственных слабостей и всяческих напастей, перед которыми оно ничуть не сильнее других «тонких» качеств человека При определенных обстоятельствах с ним приходится вступать в борьбу, то есть приходится меряться силами.

И в социальной борьбе побеждает у Васильева только подлинно сильный, побеждает безоговорочно, в открытой схватке. Здесь сила, пожалуй, больше всего и обретает самое себя.

У Васильева, безусловно, наличествует и сила дикая, варварская, бесчеловечная. Возникает «соляной бунт», и вот — сцена зверской расправы, картину которой автор как будто не только пишет, но и сам поддается ей, ее патологии.

Вот здесь уже — и натурализм, уже повод для того, чтобы «классифицировать» автора. Но повод, даже отнюдь не безосновательный, — еще не вывод...

«Песню о гибели казачьего войска» и такой проницательный критик, как А. Макаров,[1] считает неудачной, слабой. В ней он не видит логической связи, видит вещь рассыпанной на части.

Все верно, что касается отсутствия логики и внутренних связей отдельных сцен и картин.

А вот ощущение от «Песни» у меня лично остается все-таки цельным и — совершенно не макаровским. Вероятно, потому, что в ней общепринятой логики искать и не следует, автор ни себе, ни читателю этой самой логики, четких связей между отдельными частями и не обещал. Плохо, когда не выполняется обещанное, заявленное, но ведь здесь такого рода заявки и не было!

«Песня» построена, прежде всего, на едином ощущении самых различных ее частей, на едином дыхании. Единство чувств и ощущений в ней существует, этого вполне достаточно, чтобы воспринимать всю вещь как нечто поэтически цельное. Не только достаточно — в данном случае, кажется, ничего другого и не надо. Здесь одна картина, одно время сменяется другим не логически, а песенно.

Хотя мы и знаем такую строгую и четкую песнь, как «Песнь о вещем Олеге», тем не менее даже она не сковала песенный жанр, не лишила его той незримой, но сильной свободы, которая недоступна другим жанрам.

Кроме того, раз уже сопоставление возникло, следует, кажется, продолжить его чуть дальше: «Песнь о вещем Олеге» пропета как бы одним лицом, одним баяном, который обязан помнить все, что

---

[1] А. Макаров, Разговор по поводу..., М., 1959, с. 243.

он уже пропел, чтобы не впасть в противоречие с самим собой, то есть быть логичным и действительно соблюдать внутренние связи своего повествования.

«Песня о гибели казачьего войска» — многоголоса, многотональна, ее «певцы» изменили бы самим себе, если бы вдруг стали соблюдать строго-логические связи между собой.

Уже и по самой форме этой вещи нельзя требовать от нее того, чтобы в ней логически «рифмовались» между собой такие строки:

Чтобы республика зацвела,
Щедрой рукой посеем свинец.
Звезды погаснули и огни,
Саблею небо располосни...

А с другой стороны:

Милый, чо, милый, чо?
Милый, сердишься за чо?
Чо ли люди чо сказали,
Чо ли сам заметил чо?

Или еще:

Перстнем обручальным
Огонь в снегу.
Теплый шепот слышит,
Дрожь затая,
Холодная-льдистая
Рука твоя.

Разумеется, «Песня» — отнюдь не совершенство, тут двух мнений и не может быть, но дело ведь не в общей оценке и уж во всяком случае не только в ней.

Ведь и сам разговор о «Песне» начат здесь не столько ради оценки или переоценки, сколько в доказательство следующего заключения: Васильев умел и хотел говорить о борьбе, о жестоких событиях своего времени не только языком «Соляного бунта», не только кровавыми подробностями, но и языком «Песни о гибели казачьего войска». А это уже совсем другой язык, вернее даже — другое видение. Всё те же, как всегда сильные, люди как бы «создают» эту песню, и сама-то песнь тоже о событии трагическом, кровавом — о гибели целого войска, но на этот раз здесь нет ни капли крови...

Торопи коней, путь далеч,
Видно, вам, казаки, полечь.

Ой, хорунжий, идет беда,
У тебя жена молода...

А еще дальше:

Белоперый, чалый быстрый буран,
Черные знамена бегут на Зайсан.
А буран их крутит и так, и сяк,
Клыкастый отбитый волчий косяк.
Атаман, скажи-ка, по чьей вине
Атаманша-сабля вся в седине?
Атаман, скажи-ка, по чьей вине
Полстраны в пожарах, в дыму, в огне?

Вот в этом-то движении, в этом уходе из жизни «волчьего косяка» под черными знаменами, в утере — навсегда! — хорунжим его молодой жены — вот в чем мы и видим гибель войска.

События близкие — и в пространстве, и во времени, и даже по языку, а все-таки краски, которыми они написаны, — разные, тональность — тоже разная. Значит, и поэт мог быть и бывал разным, не только таким, каким он показал себя пусть даже и в более совершенном «Соляном бунте».

«Бунт» был написан позже, «Песня» — раньше. Может быть, это указывает нам, откуда и куда поэт шел? Шел одновременно с совершенствованием своего мастерства, со своею поэтической зрелостью? На этот счет есть третий и, как нам кажется, решающий свидетель — одна из последних поэм Васильева «Принц Фома». Тем более что нужно и должно судить о художниках по их лучшим произведениям.

Поэма тоже посвящена гражданской войне, тоже повествует о событиях грозных и трагических. И здесь тоже

Бежало войско принца вскачь.
Попы спились, поют в печали.
Степные кони одичали,
Киргизы в степи утекли.

Тема — та же, а решена она опять-таки совершенно «бескровно»...

О «Песне» был хоть какой-то разговор, от «Фомы» критики отмахиваются, как от некой безделушки.

«Небольшая поэма «Принц Фома», которая выглядит незаконченной, посвящена изображению белобандитского отряда. Вся она

выдержана в сатирических тонах»,[1] — вот и всё, что говорит по этому поводу в предисловии к «Избранному» Васильева критик Корнелий Зелинский

А. Макаров говорит о поэме: «малоудачный поиск».[2]

Не знаю, как могло случиться такое обидное недоразумение. Непонятно, как можно, признавая Васильева, не признавать «Фому»?

Может быть, здесь подразумевается отсутствие в вещи серьезной социальной концепции? Но это ведь отсутствие кажущееся!

В гражданской войне, вызванной, безусловно, причинами социальными, в ее дальнейшем развитии были самые разные оттенки, в том числе и просто бунт как таковой, и просто ухарство, желание попользоваться моментом, пограбить, повластвовать, показать себя.

Принц и есть этакий сибирский, глухоманный калиф на час, своеобразие и самобытность которого, наверное, никто лучше Васильева не смог бы подметить, но дело еще и в том, что здесь также наличествует социальная коллизия, да какая!

В то время, когда Фома, властитель губернии, у которого, однако, в подкладке предусмотрительно зашито восемьсот рублей, прекрасно знает цену своему «наместничеству», а в значительной мере и самому себе, — этого не знают и не понимают изысканные господа из штаба французского генерала Жанена, возглавлявшего войска интервентов при Колчаке.

Стремление их к трогательному единению с Фомой — картина, которой по ее выразительности, иронии, язвительности найдется мало равных.

Штыком ширяя в грудах снеди,
Голубоглаз, с лицом из меди,
Сидит правительства глава...

Еще он:

Пьет самогон из чашки чайной...

А в это время, именно в этот момент:

Посол Жанена чрезвычайный,
Стряхнув с усов седую пыль,
. . . .
На галльском доблестном наречье
Так произносит тост де Вилль:

---

[1] Павел Васильев, Избранные стихотворения и поэмы, М., 1957, с. 18.

[2] А. Макаров, Разговор по поводу..., с. 248.

— ...Скрыть не в силах восхищенья,
Вас за прием и угощенье
Благодарить желаю я.
Россия может спать спокойно.
Ее сыны ее достойны.

И даже более того:

...В сраженье, демократы,
Зовет история сама.

Действительно, сколько подобных «демократов», цивилизованных «спасителей» народов знала и знает история разных уголков земли!..

«Принц» Фома, как человек практичный и вообще-то незлобивый, хотя и буйный, обрел покой:

— Алена, отвори!
— Фома, сердешный мой, болезный, —
Слетает спешно крюк железный.
Угрюмо принц стоит в двери,
В косматой бурке на пороге:
— Едва ушел. Устал с дороги.
Раскрой постель. Налей мне щей.

И почти уже в самом финале, и так неожиданно:

Фома разут, раздет, развенчан, —
Вот почему лукавых женщин
Коварный шепот губит нас.

Фома кончил так. Другие Фомы кончали и кончают посвирепее.

Почему эту вещь, так мастерски написанную и законченную, К. Зелинский все-таки считает незаконченной — сказать трудно. Ирония же, вся интонация ее — кажется здесь единственно возможной. И потому, что она, ирония, пронизывает поэму от начала до конца, и потому, что она относится и к образам произведения, и ко всей обстановке, и к тому, как принято выражаться, «текущему политическому моменту», который автором схвачен и запечатлен

Уж не эта ли пронизывающая всю вещь ирония и показалась некоторым критикам чем-то «незаконченным»? Чем-то недостаточным?

Гадать не будем...

Другое, достаточно категорическое суждение критиков заключается в том, что Васильев был обременен «грузом старых эстетических представлений». Так по крайней мере утверждает «Краткая литературная энциклопедия» в очень небольшой справке о творчестве поэта, составленной А Русаковой.

Плохо, конечно, когда над нами тяготеет груз прошлого. Но при всей самобытности и талантливости художника — ему все-таки необходим тот или иной груз прошлого. Непосильный груз вреден, посильный — необходим, и, может быть, тем больший, чем больше его самобытность и талантливость. Тут вероятна даже какая-то пропорциональность. Он необходим хотя бы для того, чтобы его отвергать. Отвержение — тоже не последняя часть процесса творчества, причем, разумеется, не просто освобождение от ненужных оков — это понятно и элементарно, — а отвержение как смена или как эволюция некоторых эстетических понятий, представлений, привязанностей. Новое не рождается из ничего или из отрицания всего — тогда это попросту битничество. Оно вырастает как доказательство своей новой, до тех пор неосознанной правоты, доказательство не перед каким-то там мифом, иногда только для того и сконструированным, чтобы его опровергнуть, чтобы упрекнуть его в несостоятельности, не перед каким-то недобитком, по которому и без труда, и без риска можно нанести очередной удар. Нет, новое начинается из столкновения равных или даже — более слабого с более сильным.

Наконец, этот самый пресловутый груз прошлого, видимо, включает и такое понятие, как традиция. А вне всяких традиций вряд ли существует культура вообще, поэзия в частности.

Всего этого можно было бы и не говорить, если бы речь шла о творчестве не Васильева, а какого-то другого поэта или писателя, творчество которого такие положения как бы демонстрировало само по себе.

Но в том-то и дело, что Васильев был слишком уж свободен от груза эстетических представлений, свободен, если так можно сказать, даже от груза поэтической культуры.

Павел Васильев хватает слова русской народной речи на лету, и вся эта речь находится у него в безоговорочном подчинении, он владеет ею самоуправно, даже — жестоко, только талант оправдывает это самоуправство, иначе перед нами тотчас и явилась бы грубая стилизация, работа «под народ», «под кондового сибирячка». Васильев не боится фольклора и даже лубка, ничего не боится в этой стихии.

Конечно, Васильев далеко не единственный в подобном роде. Сходство его с другими поэтами русского народного языка начи-

нается с того, что для всех них язык наш был не только разговорным, слышанным, но и печатным, поэтическим.

Но и различия между ними, индивидуальность каждого, индивидуальность того же Васильева была возможна опять-таки лишь в тех пределах, которые этот язык сам по себе допускает.

Уже не однажды было замечено, что, как только Васильев начинает говорить о чем-то совершенно новом, о чем надо сказать впервые — о своем современнике, строителе Турксиба, о первом совхозе в казачьей станице Черлак, о новых идеях, — он то и дело становится немощным, блеклым, язык его начинает напоминать статью из газеты.

Конечно, беда эта была и есть не только у него одного, но в нем она проявилась разительно.

И дело тут еще в том, что та речь, которой он владел в совершенстве, народная речь, как бы мы ее ни любили и ни преклонялись перед ней, сама по себе не перестает от этого быть относительно консервативной, неспособной сразу же схватить и сразу же выразить какую-то неожиданную для нее новизну мира. Когда-нибудь нынешнюю спорную, неясную проблему или образ она не то что назовет — окрестит метко и своеобразно одним каким-то словом, одной пословицей или шуточным выражением. Но для этого необходимы годы.

Опытом своих современников Васильев пренебрегал. Маяковского для него как будто и не существовало. Напрасно критик К. Зелинский ставит его и рядом с Есениным. Против этого возражал уже А. Макаров, возражал достаточно убедительно. Хотя однажды Павел Васильев прямо декларировал свою привязанность к Демьяну Бедному, но декларация эта опять-таки не подтверждается его творчеством, на что снова указывал Макаров. Зато она характерна для Васильева хотя бы такими строками:

Сколько струн в великом
Мужичьем сердце каждого стиха!

Васильева роднит с поэтами прошлого и с его современниками сама первооснова, сама народность его поэзии. А дальше даже среди поэтов Васильев был поэтом на редкость безбожным и — тоже на редкость — первозданным.

Наверное, Васильеву было бы нетрудно стать «не хуже других», но он предпочитал этому вполне реальному, вполне достижимому и вполне устраивающему многих других исполнению — свой собственный голос, даже там, где голос его срывался, где он не

обладал еще качествами, необходимыми для того, чтобы взять намеченные высоты, где он был слышен едва ли не одному ему

Должно быть, временами были и самому поэту присущи некоторые сомнения; видимо, не было и ему бесповоротно чуждым «прогрессивное отступление» со своей слишком уж неприступной позиции. Может быть, и он понимал, что далеко не все, что он видел, и как бы остро он все виденное ни ощущал, — доступно изобразительным средствам, которыми он овладел, и даже самому духу его поэзии. На такую догадку наводит одно из стихотворений Васильева:

Мню я быть мастером, затосковав о трудной работе,
Чтоб останавливать мрамора гиблый разбег и крушенье,
Лить жеребцов из бронзы гудящей, с ноздрями как розы,
И быков, у которых вздыхают острые ребра.

Веки тяжелые каменных женщин не дают мне покоя.
Губы у женщин тех молчаливы, задумчивы и ничего
не расскажут,
Дай мне больше недуга этого, жизнь, — я не хочу утоленья,
Жажды мне дай и уменья в искусной этой работе.

Быки, женщины, жеребцы — каменные и бронзовые... Натюрморт подлинно васильевский. И ноздри как розы — это тоже его кисть.

Но уже сам гекзаметр, сама тоска по иным поэзиям невольно наводят и на догадки, и на размышления.

Не так уж прост и другой вопрос: об историзме творчества Васильева.

Прежде всего, даже по формальному признаку все произведения Васильева о гражданской войне и годах, непосредственно предшествующих ей, вряд ли можно считать для него самого подлинно историческими. Более отдаленных событий он, по существу, и не брал совсем, эти же были для него событиями пятнадцатилетней или только чуть большей давности. Правда, во время гражданской войны поэту было около десяти лет, но в иных случаях это очень серьезный возраст. Человек, который в четырнадцать-пятнадцать лет писал уже довольно зрелые стихи, в восемнадцать — «Песню о гибели казачьего войска», конечно же обладал способностью даже в самом раннем детстве как-то видеть события, обладал памятью, которая спустя годы могла эти события восстановить.

Кроме того, конец двадцатых, самое начало тридцатых годов в Сибири — это годы, как бы наполненные не только воспомина-

ниями минувшей войны и революции, но и живыми ее участниками. Каждый сибиряк, который был старше Васильева всего лишь на десяток лет, если уж не являлся активным участником минувших событий, так во всяком случае был причастен к ним.

На улицах сибирских городов и сел, особенно в революционные праздники, можно было увидеть людей в папахах, перевязанных красными лентами, — партизанского Сусанина или партизанского Кузьму Крючкова. Немало было и людей не у дел, но с безупречной военной выправкой — бывших царских, а затем и белых офицеров.

Во всяком случае, какими бы ни были личные впечатления поэта о гражданской войне, но они были.

Однако дело не только в этом.

История той же гражданской войны была впервые написана ее участниками и руководителями спустя всего лишь несколько лет после того, как отгремели последние бои, а начали они свой труд в годы, когда существовал еще и добивался красными войсками черно-белый барон Унгерн.

И все-таки это были историки, потому что подходили они к событиям не столько через свои собственные впечатления, сколько привлекая определенные и объективные материалы и документы, систематизированные свидетельские показания. Иначе говоря, участники событий стали их исследователями. Они делали в истории открытия, они делали в ней обобщения, они события объясняли.

Вероятно, идеалом поэта-историка был и остается Пушкин. В Сибири во времена Васильева тоже был поэт, в историзме которого нельзя сомневаться и даже оговаривать его серьезными «но», — это Леонид Мартынов.

Однако в произведениях Васильева мы не найдем ни одного действительного, конкретного события, ни одного подлинного исторического лица, кроме разве самых беглых упоминаний, которые могут принадлежать любому человеку, ни в какой мере не причастному ни к истории, ни к поэзии.

У него нет и в помине своего «славного героя прошлого», а ведь без такого героя не обошелся и, наверное, не обойдется ни один историк, тем более — историк-поэт.

И те же картины революции, революционных столкновений богаты у него необычайно яркими красками, но по мысли и даже по сюжетам они статичны, однообразны. Несколько особняком стоит «Принц Фома», но и здесь — находка золотоискателя, а не поиск мысли исторической, и здесь — на первом плане краски, живопись.

Однако как бы сам поэт ни подходил к историческому материалу, каким бы способом он его ни находил для себя, факт остается фактом: все-таки мы, читатели, воспринимаем многие его произведения как исторические.

И не потому, что время прошло, отдалило нас от событий и помимо поэта сделало свое дело. Так не бывает. Сила самого опоэтизирования делает это, на это способна, — конечно, когда она попадает прямо в цель, то есть когда опоэтизирование прилагается к событию действительно историческому, точно схватывает детали, краски, запах того времени, о котором хочет сказать.

Так возник тот же «Принц Фома», и «Песня о гибели казачьего войска», и «Соляной бунт».

Васильев жил в круге очень ярких впечатлений, но не выходил из него, не настиг впечатлений и мыслей иных, их и нельзя уже было настигнуть все в том же качестве. С возрастом, с течением времени они не могли приходить к нему все тем же чисто эмпирическим путем, а только вместе с познанием, по крайней мере вместе с пристальным, избранным интересом к какой-то стороне окружавшей его действительности, с ее изучением.

Удивительно, что все тот же замкнутый круг своих впечатлений Васильев очень незначительно расширил даже путешествиями. Он побывал и на Тихом океане, и на Лене, и в Средней Азии, но как немного у него произведений непосредственно об этих далеких местах, как мало он принес оттуда в свои последующие стихи и поэмы.

Так они шли и шли — степные и родные ему с детства павлодарские запахи и краски через всю его поэзию:

Тяжелой кошмой развернута мгла...

Или:

В черном небе волчья проседь...

Или:

Немеркнущая, ветряная синь
Глухих озер. И пряный холод дынь.

И даже пулеметы у него — «пулеметы-косари», и даже революция в Германии — вино, которому настало время выбить дно у бочек.

Он шел не вширь, а вглубь, в глубь того, что имел от природы, от рождения, продолжая добывать все новые находки, много находок, однако, чем дальше, тем все больше похожих одна на другую.

Он не искал совершенно новых понятий и оценок, но понятия и оценки, сложившиеся в то время, в которое он жил и которым жил, — часто передавал своей поэзией с необычайной силой.

Во всей Западной Сибири павлодарские степи, вероятно, одно из самых унылых и однообразных мест, но для Васильева это золотая россыпь.

Столичный поэт, уже признанный, уже известный, он то и дело оказывается в плену у Павлодара, независимо от того, проклинал он его в стихах или воспевал.

В конечном счете его гордость то и дело оказывалась гордостью опять-таки павлодарской:

Мы с тобой идем. Не лыком шиты —
Горожане, а не кто-нибудь.

(«Горожанка»)

Я вез с собою голос знаменитый
Моих отцов, их гиканье и свист...

(«В защиту пастуха-поэта»)

Я детеныш пшениц и ржи.
Верю в неслыханное счастье.

(«Одна ночь»)

Однако приближается уже и неминуемый финал:

Я стою пред миром новым, руки
Опустив, страстей своих палач,
Не познавший песни и науки.

(«Клятва на чаше»)

Это хотя и другая тональность, другой мотив и другой повод, но причины те же, что мы уже слышали однажды в гекзаметрах «Мню я быть мастером...».

Конечно, двадцать шесть лет, годы с 1910-го по 1937-й, которые он прожил, — это очень немного. Все еще было впереди...

Он еще мог достигнуть новых просторов, преодолеть многие и многие границы.

И если границам нужно все-таки какое-то название, так тут же и следует сказать, что Васильев — поэт своего дня.

Он, как мог, в силу своих возможностей, усвоил этот день, его дух, а еще больше — его плоть, а дальше творил из того, что усвоил, из того, что ощутил.

Он удивлялся, что

Мир старый жив. Еще не все сравнялось, —

(«Расставание»)

а сам писал и писал о впечатлениях, которые дал ему далекий в ту пору от больших событий городок Павлодар на пустынной реке Иртыш.

История, прошлое, «мир старый» и здесь, и всюду в применении к Васильеву — это вовсе не исторические, тем более не эстетические концепции, которые как-то задерживали бы его развитие. Это прежде всего — его же собственные впечатления, остроощутимые, очень рано в нем возникшие. Должно быть, вспыхнув, они и сделали из него поэта, а сделав — сами уже перестали развиваться вширь.

То и дело он говорил о своем современнике лозунгами того же дня, не признавая за собратом, как, вероятно, и за самим собой, права на тонкую лирику, еще меньше — на философичность, на многие другие качества человеческой личности.

День, о котором он возглашал, был могучим, разгоряченным, полным великих замыслов и жертв ради этих замыслов.

И даже та часть этого дня, которая оказалась в поле зрения поэта, в границах его ощущений, — позволила ему стать поэтом.

И нынче — он поэт. Хороший, а главное — разный. С короткой жизнью и с поучительной творческой судьбой.

С. Залыгин

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ

(Биографическая справка)

Павел Васильев родился 25 декабря 1910 года в уездном городе Зайсане, недалеко от китайской границы.

Его отец Николай Корнилович Васильев — учитель, сын прачки и рабочего-пильщика, выходца из линейного сибирского казачества. Окончив учительскую семинарию в Семипалатинске, он преподавал математику, работал инспектором народных училищ, был директором Павлодарской школы-девятилетки, читал курс «Методика преподавания математики» в Омском педагогическом институте. В педагогической среде и у своих земляков Николай Корнилович пользовался глубоким уважением.

Мать поэта Глафира Матвеевна была дочерью М. В. Ржанникова, мелкого, разорившегося павлодарского торговца скобяными товарами. Она окончила Павлодарскую гимназию, увлекалась музыкой, очень много читала и свое пристрастие к книгам стремилась передать детям. Исключительную заботу она проявляла о старшем сыне Павле, и он отвечал ей нежной сыновней любовью и никому в семье, кроме нее, не поверял своего заветного — писания стихов.

На формирование поэтического характера Павла Васильева оказали большое влияние его бабка (по отцу) Мария Федоровна и дед Корнила Ильич. Неграмотные, они обладали редким даром сочинять и рассказывать сказки, им и обязан Васильев во многом знанием русского фольклора, он помнил их сказки всю жизнь, и многое из того, что ими было рассказано и напето, впоследствии отразилось в его произведениях.

Детство и отрочество П. Васильева связано с тремя казахстанскими городами, в которых жила семья Васильевых, — Атбасаром, Петропавловском и Павлодаром. Сначала он учится в Петропав-

ловском городском училище, а с 1919 года в Павлодаре, где и окончил в 1926 году школу второй ступени.

Большая семья Васильевых славилась гостеприимством, двери дома были одинаково открыты и для русских и для казахов. Эта семья не имела тех «патриархальных устоев среды семиреченского казачества», о которых настойчиво твердили некоторые критики, придумывая «реакционные биографические корни» П. Васильеву.

В связи с этим стоит привести любопытный отрывок из воспоминаний В. Н. Васильева, брата поэта: «Наш дом, особенно в зимнее время, посещали знакомые, среди которых были довольно примечательные личности. В такие вечера было шумно и весело. Мужчины усаживались играть в преферанс, а подвыпив, пели, и, надо сказать, хорошо, особенно народные песни и романсы. У отца был неплохой бас. Нас укладывали спать часам к десяти, но Павлу, как старшему и как самому неугомонному, удавалось иногда остаться до поздней ночи. Я помню хорошо известного художника Батурина, грузного, полного старика с седеющей окладистой бородой и белым холеным лицом. Он знал Репина и даже был с ним в хороших отношениях. Батурин увлеченно рассказывал о своей молодости, об искусстве художника и о замечательных людях, которых он знавал еще в конце девятнадцатого века. Частым гостем был у нас и учитель Дейнека, знавший не менее шести языков. Небольшого роста, черноволосый и аккуратный во всем, что касалось его внешности, он был веселым и остроумным собеседником».[1]

Действительность виделась мальчику Васильеву многообразной и суровой. Этнический состав прииртышского края был на редкость пестрым, разноязычная речь слышалась на базарах и ярмарках, на горных и степных дорогах, на баржах и рудниках. Здесь жили казахи и русские, украинцы и немцы, монголы и китайцы. Вдоль береговой линии Иртыша полосой, шириной в тридцать верст, тянулись богатые казачьи станицы со своим тяжелым традиционным воинским укладом, станицы пахарей и свирепого воинства — «зашшиты царя и отечества». Над детством будущего поэта нависало зарево гражданской войны, все западало в память, в душу. Чуть зеленоватые «вострые» глаза пытливого подростка запоминали анненковскую казачью вольницу под черными знаменами, гром ее тачанок, отлетавших к «желтому Китаю», и бойцов Красной Армии, «полк Степана Разина и латышей», очищавших Сибирь и Семиречье от контрреволюции.

---

[1] «Сибирские огни», 1965, № 10, с. 159.

Павел Васильев начал писать стихи рано, в десятилетнем возрасте. После окончания четвертого класса он совершил поездку с отцом в село Больше-Нарымское, расположенное у подножья Нарымского хребта Алтайских гор. Сохранился автограф стихотворения, написанного в Балдыньском ущелье 24 июня 1921 года.

После окончания средней школы П. Васильев едет во Владивосток и поступает в университет на японское отделение факультета восточных языков. Он приобщается к современной поэзии, следит за поэтическими отделами литературно-художественных журналов. 6 ноября 1926 года фамилия Павла Васильева первый раз появилась в печати: владивостокская газета «Красный молодняк» опубликовала стихотворение «Октябрь».

П. Васильев посещает вечера литературно-художественного общества, основанного еще в 1919 году Асеевым и Бурлюком. На юного поэта обратили внимание находившиеся в то время во Владивостоке поэт Рюрик Ивнев и журналист Леонид Повицкий. Они устроили первое публичное выступление П. Васильева. Вечер состоялся в актовом зале университета и прошел с большим успехом. У Васильева появилась вера в свои силы. В декабре 1926 года с рекомендательными письмами Р. Ивнева и Л. Повицкого П. Васильев уехал из Владивостока в Москву, но по дороге задержался в Новосибирске. 25 декабря, в день, когда ему исполнилось 16 лет, на собрании сибирских писателей после информации критика Б. Мирковича о литературном Владивостоке выступил П. Васильев. По свидетельству Н. Анова, «молодой поэт, почти мальчик, . . .великолепно читал свои талантливые стихи».[1] 16 января 1927 года члены «Литгруппы молодых» обсудили творчество Васильева, «стихи, — как сообщала «Советская Сибирь», — подверглись подробной критике. . . Но, в общем, были признаны хорошими».

П. Васильев остался в Новосибирске, жил в общежитии работников просвещения, устроился на работу — в детдом, в качестве инструктора физкультуры. Занимался самообразованием, просиживал вечера в городской библиотеке. Жилось трудно, голодно. Заработки были скудные. Изредка под разными псевдонимами в новосибирских газетах печатались короткие репортажи П. Васильева.

Все чаще стали появляться его стихи в газете «Советская Сибирь», в журнале «Сибирские огни». П. Васильев мечтал о Москве. Он приехал в столицу июльским утром 1927 года и, любопытствуя, шел пешком от Казанского вокзала до Красной площади. Москва готовилась к празднику — 10-летию Октября, с башен Кремля сни-

[1] «Простор», 1963, № 6, с. 96.

мали последних двуглавых орлов, над куполом правительственного здания трепетал красный флаг.

Мечта о специальном литературном вузе не осуществилась, Брюсовский институт уже два года не существовал. И все же П. Васильев возвратился в Сибирь в какой-то мере обогащенный увиденным и услышанным.

С начала 1928 года П. Васильев живет в Омске, куда переехали его родители и братья. Публикует несколько стихотворений в омской газете «Рабочий путь». Омичи его считают своим, «местным» поэтом, хотя время от времени он появлялся — то в Павлодаре, то в Новосибирске. Работал П. Васильев много. В мае 1928 года на собрании омского отделения Союза писателей П. Васильев прочитал поэму «Прииртышье», стихи «Азиат», «Балладу о Джоне» и другие. В хронике «Рабочего пути» появилась заметка: «Стихи Васильева чрезвычайно экспрессивные, остросюжетные и в мастерском чтении автора оставили у слушателей прекрасное впечатление. Совершенно исключительный успех имела поэма «Прииртышье» о прииртышском казачестве, написанная в форме „казачьих запевок“».[1] Со стихотворения «Азиат» и поэмы «Прииртышье» (к сожалению, поэма не была опубликована и рукопись ее пока не найдена) начинается самостоятельный творческий путь Васильева.

С лета 1928 года по октябрь 1929 года жизнь Васильева полна романтических испытаний, она проходит под «звездой скитальчества». Из Новосибирска вместе с поэтом Николаем Титовым он отправился путешествовать по Сибири. Позже, во Владивостоке, к ним присоединился поэт Евгений Забелин, уроженец Омска. П. Васильев изъездил Сибирь вдоль и поперек, от Омска до Владивостока, от Обской губы до Алтая. Каких только не повидал мест, кем только не работал: старателем на золотых приисках на Витиме, в отрогах Яблонового хребта, каюром в тундре, экспедитором на Зейских золотых приисках, культработником на Сучанских каменноугольных копях. Плавал на баржах и пароходах по Оби, Енисею, Амуру.

Большинство произведений, созданных Васильевым в 1928—1929 годах, или утеряно, или уничтожено им самим.

Завершающий этап скитаний Васильева — это владивостокский период. С открытия навигации 1929 года в дальневосточных морях Васильев работает рулевым на каботажном судне, потом на рыболовецком. В письме к составителю этой книги писатель Вячеслав

---

[1] «Рабочий путь» (Омск), 1928, 20 мая.

Лебедев вспоминает: «Я тогда заведовал отделом информации во владивостокской окружной газете «Красное знамя». Однажды приходит ко мне парень в синей матросской робе, именно в робе, а не в тельняшке, не в бушлате, значит торговофлотец, промысловик. У парня светлые, вьющиеся волосы, рот своевольный, даже надменный, подбородок — решительный, выступающий, голос — басовитый, самоуверенный.

— Пришли с лова, — хотите, напишу про это, или про обработку. Завтра — будет.

На другой день явился точно, и принес очерк „На Тафуине"».

В газете «Красное знамя» под псевдонимом Павел Китаев П. Васильев напечатал три очерка: «На Тафуине», «По бухтам побережья» и «В гостях у Шаландера».

В августе 1929 года он пробыл всего лишь один день в Хакодате (Япония) — плавал туда на шхуне «Красная Индия» в качестве пассажира. Взял его в Хакодате «контрабандным путем» старый моряк-шкипер Африкан Турусин, дружески относившийся к поэту.

Время скитаний Васильев описал в двух очерковых книгах — «В золотой разведке» (М. — Л., 1930) и «Люди в тайге» (М. — Л., 1931), а также в серии очерков, опубликованных в 1930 году в газете «Голос рыбака» и журнале «30 дней».

Осенью 1929 года, после короткого пребывания в Павлодаре и в Омске, П. Васильев приехал в Москву и поступил на Высшие государственные литературные курсы. Он постоянно живет в Кунцево, пишет прозу и стихи, печатается во всех толстых и тонких столичных журналах. Весной 1930 года газета «Голос рыбака» командирует его на Каспийское море. Он принял участие в весенней путине. Ему не сиделось на месте, и на лето он уезжал в родные места, в Казахстан, на Аральское море к рыбакам, встречался в степях под Павлодаром с казахскими певцами.

К концу 1930 года П. Васильев завершил поэму «Песня о гибели казачьего войска».

Особое место в творчестве Васильева занимают «Песни киргиз-казаков». Живя среди казахов, он изучал не только казахский язык, но и народное искусство. В течение нескольких лет П. Васильев систематически возвращался к этому интересно задуманному циклу. Кратко записанные прозой сюжеты казахских песен, легенд, сказаний облекались им в форму русского свободного стиха. Цикл не предназначался для печати. Он увидел свет, можно сказать, случайно в коллективном сборнике переводов «Песни киргиз-казаков», составленном энтузиастом и любителем фольклора Н. В. Феоктистовым.

В конце марта 1932 года Васильев был арестован и находился

два месяца под следствием. 28 мая его освободили. Это событие вызвало всевозможные кривотолки. П. Васильева перестали печатать, что и послужило причиной возникновения его псевдонима — Мухан Башметов.

Летом 1932 года Васильев сблизился с С. А. Клычковым. На творческом вечере Васильева в издательстве «Московское товарищество писателей» в ноябре 1932 года С. Клычков сказал: «Период так называемой крестьянской романтической поэзии закончен. С приходом Павла Васильева наступает новый период — героический. Поэт видит с высоты нашего времени далеко вперед. Это юноша с серебряной трубой, возвещающий приход будущего».[1] К этому времени относится начало эпического разворота в творчестве Васильева. Ему шел двадцать второй год. Помимо большого количества лирических стихотворений, им написаны поэмы «Лето», «Август», одновременно начат «Соляной бунт» и задумана трилогия «Большой город».

П. Васильев, подготавливая первую книгу — «Путь на Семиге», тщательно отбирал для нее социально значимые стихотворения. Но его постигают издательские неудачи: редакция «Нового мира» изъяла из одиннадцатой книги журнала «Песню о гибели казачьего войска» по причине, не имеющей никакого отношения к содержанию и идейной стороне поэмы, не вышел в свет сборник «Путь на Семиге».

В литературной среде поползли слухи, сплетни о якобы контрреволюционной сущности стихов в сборнике и поэмы «Песня о гибели казачьего войска». Появились домыслы литературных завистников о социальном происхождении Васильева, так возникла лживая версия: «кулацкий сын», которая повторялась затем многие годы.

С 1933-го по 1936 год Павел Васильев, как всегда, много ездил по стране. В Москве его можно было увидеть с самыми разными людьми — с ткачами фабрики «Ливерс», с токарями в цехах завода «Красный пролетарий», с трамвайщиками Апаковского трампарка, с жокеями на ипподроме, с учителями. Москва для него являлась главным пристанищем, как бы штаб-квартирой, а полем деятельности оставалась периферия, он то ехал в Донбасс, то оказывался в Таджикистане, то бродил по улицам Баку или Тбилиси.

Имя П. Васильева становится широко известным. Он встречается с работниками искусства, литературными и политическими деятелями — с А. В. Луначарским, В. В. Куйбышевым, М. И. Калининым,

[1] Дневник В. Н. Клычковой.

М. А. Шолоховым, А. Н. Толстым, И. М. Гронским, П. П. Кончаловским, В. В. Качаловым, Л. Н. Сейфуллиной, С. М. Городецким и др.

За удивительно короткий срок Васильевым созданы крупные эпические полотна. В 1933 году он завершил трагическую эпопею «Соляной бунт» и начал лирическую обличительную поэму «Одна ночь» — о добре и зле, о человеческом коварстве, о диком литературном быте, погубившем Есенина и лапой которого он также был неоднократно бит. Его мальчишеское фрондерство, ошибки бытового характера привели к тому, что ему ставилось каждое лыко в строку, и больше того, приписывалось даже то, чего он не совершал. Его недруги писали о нем Горькому и правду, и полуправду, и ложь. Их письма и вызвали публикацию статьи А. М. Горького «Литературные забавы», содержащей резкую характеристику поведения П. Васильева.

После опубликования в «Красной нови» «Автобиографических глав» (1934) Васильев в Болшеве работает над пьесой о большевистском подполье 1908 года «А все-таки она вертится...». Пьеса была закончена 24 апреля 1934 года. Опубликована не была.

В этом же 1934 году Васильев печатает в «Новом мире» поэму «Синицын и К^{0}». В ноябре он читал в поэтическом отделе Государственного издательства художественной литературы поэму «Кулаки», посвященную классовой борьбе в деревне в период коллективизации.

В 1935—1936 годах Васильевым созданы две короткие и своеобразные поэмы «Женихи» и «Принц Фома» и большая поэма «Христолюбовские ситцы».

Многое Васильев не успел завершить, в том числе «Патриотическую поэму» и трилогию «Большой город». Жизнь его оборвалась рано и трагически в 1937 году.

Произведения П. Васильева в течение двадцати лет не издавались и тем самым имя его осталось неизвестным широким кругам читателей. Между тем без стихов и особенно поэм П. Васильева нельзя составить достаточно полного представления о путях развития советской поэзии. О значении творчества П. Васильева хорошо сказал в 1956 году Борис Пастернак: «В начале тридцатых годов Павел Васильев производил на меня впечатление приблизительно того же порядка, как в свое время, раньше, при первом знакомстве с ними, Есенин и Маяковский. Он был сравним с ними, в особенности с Есениным, творческой выразительностью и силой своего дара, и безмерно много обещал, потому что, в отличие от трагической взвинченности, внутренне укоротившей жизнь последних, с холодным спокойствием владел и распоряжался своими бурными задатками. У него было то

яркое, стремительное и счастливое воображение, без которого не бывает большой поэзии и примеров которого в такой мере я уже больше не встречал ни у кого за все истекшие после его смерти годы. Помимо печатавшихся его вещей («Соляной бунт» и отдельных стихотворений), вероятный интерес и цену должно представлять все то, что от него осталось». [1]

С. Поделков

---

[1] «Простор», 1967, № 1, с. 13.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Незаметным подкрался вечер,
Словно кошка к добыче,
Темных кварталов плечи
В мутном сумраке вычертил.

Бухта дрожит неясно.
Шуршат, разбиваясь, всплёски.
На западе темно-красной
Протянулся закат полоской.

А там, где сырого тумана
Еще не задернуты шторы,
К шумящему океану
Уплывают синие горы.

Кустами яблонь весенних
Паруса раздувает ветер.
Длинные шаткие тени
Лапами в небо метят.

Октябрь 1926
Владивосток

2. БУХТА

...Бухта тихая до дна напоена
Лунными, иглистыми лучами,
И от этого мне кажется — она
Вздрагивает синими плечами.

Белым шарфом пена под веслом,
Темной шалью небо надо мною...
Ну о чем еще, скажи, о чем
Можно петь под этою луною?

Хоть проси меня, хоть не проси
Взглядом и рукой усталой,
Всё равно не хватит сил,
Чтобы эта песня замолчала.

Всё равно в расцвеченный узор
Звезды бусами стеклянными упали...
Этот неба шелковый ковер,
Ты скажи, не в Персии ли ткали?

И признайся мне, что хорошо
Вот таким, без шума и ошибок,
Задевать лицом за лунный шелк
И купаться в золоте улыбок.

Знаешь, мне хотелось, чтоб душа
Утонула в небе или в море
Так, чтоб можно было вовсе не дышать,
Растворившись без следа в просторе.

Так, чтоб всё растаяло, ушло,
Как вот эти голубые тени...
...Не торопится тяжелое весло
Воду возле борта вспенить...

Бухта тихая до дна напоена
Лунными, иглистыми лучами,
И от этого мне кажется — она
Вздрагивает синими плечами.

Октябрь 1926
Владивосток

3. РЮРИКУ ИВНЕВУ

Прощай, прощай, прости, Владивосток.
Прощай, мой друг, задумчивый и нежный...
Вот кинут я, как сорванный цветок,
В простор полей, овеянных и снежных.

Ты проводил и обласкал меня,
Как сына, наделил советом.
В невзгодье, в мрак, иль на рассвете дня —
Я не забуду никогда об этом!

Я не хочу на прожитое выть, —
Но жду зарю совсем, совсем иную,
Я не склоню мятежной головы
И даром не отдам льняную!

Прощай, мой друг! Прощай, прощай, поэт.
Я по душе киргиз с раскосыми глазами.
Вот потому и искренен привет,
Вот потому слова — про многое сказали.

Прощай, мой друг! Еще последний взгляд.
Туман тревожно мысли перепутал.
В окне мелькают белые поля,
В уме мелькают смятые минуты...

18 декабря 1926
Владивосток — Хабаровск

4. ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ ИРТЫШ

Под солнцем хорошо видна
У берегов цветная галька.
Свой гребень подняла волна
Крылом нацелившейся чайки.
Шумят листвою тальники,
Но справиться с собой не в силе,
На неокрепшие пески
Густые космы распустили...
Ой, звонок на ветру Иртыш!

На поворотах волны гибки.
В протоках медленных камыш
Зеленые качает зыбки...
Здесь в сорок лет не перебить
От корма ожиревшей птицы,
И от Алтая до Оби
Казачьи тянутся станицы.
По тем становищам реки
Не выжжены былые нравы,
Буянят часто казаки,
Не зная никакой управы.
Старинным праздником блинов,
Известной масленицей пряной,
Здесь перегон не одного
Роняет помертвелым с санок.
И на отцовских лошадях
Мальчишек озорные шайки
Съезжаются. И не шутя
Замахиваются нагайкой.
Не в меру здесь сердца стучат,
Не в меру здесь и любят люди,
Под тонкой кофтой у девчат
К четырнадцати набухают груди.
Ой, звонок на ветру Иртыш!
На поворотах волны гибки,
Под этим ветром не остыть
Лица рыбацкого улыбке.
Вода под веслами кипит,
Над головою — лентой птицы.
От гор Алтая до Оби —
Казачьей вольницы станицы.

⟨1927⟩

5. РЫБАКИ

Очень груб он, житель приозерный,
Сивоусый, кряжистый рыбак.
Крючья рук — широких и проворных —
И цигарка длинная в зубах.

Ездит в город он за солью и за хлебом,
За кирпичным чаем и крупой.
И по праздникам расчесывает гребнем
Волосы на голове в пробор.

На вечерках, разомлев, в угаре
Пьет из чашки самогонный спирт
И потом на неуклюжих нарах
До рассвета непробудно спит...

Рыбаки — известные буяны,
Это знает весь Зайсан, —
Словно птицы — бабьи сарафаны,
Как пойдут по горенке плясать.

В темных сéнцах, где разложен невод,
Как закружит, зашумит гульба,
С хрустом жмут ширококостных девок
И грудастых, мягкотелых баб.

Пьяные рыбацкие артели —
Ярые охотники до драк.
Не стерпеть, коли наметит в челюсть
Волосатый, жилистый кулак.

И недаром по окрестным селам
Старики на лавочках ворчат:
«Срам какой-от... Озорная голыдь
Перепортила кругом девчат!»

Каждый день раскидывают сети,
Каждый день корзины полны рыб.
Здесь по-взрослому серьезны дети
И по-детски взрослые хитры.

Но слова раскачивают мерно
За столом, когда идет дележ,
Потому, что знают все, наверно,
Что у каждого семья и нож.

Горячащее, как корень жéньшень,
Здесь немудро спрятанное зло.

И молитвы суеверных женщин —
За хороший ветер и улов.

В час, когда вонзаются, как когти,
Зоревые, ранние огни,
Сапоги пахучим мажет дегтем
И затягивает у колен ремни.

...Вместе с лодкой движется работа,
Остроносое блестит весло.
У шестов высоких переметов
Много пятен солнечных легло.

Вдалеке сиренево и сине...
При безветрии Зайсан красив.
И в зеленой вымокшей корзине
Шевелятся жирные язи.

К камышовым, водяным просторам
Он мальчишкою еще привык.
Ишь, как руки двигаются скоро
За дрожаньем тонкой бечевы!

...А ночью неуклюжею лапой,
Привыкшей лишь к грузу сетей,
Ищет женщину, рыбьим запахом
Пропитанную до костей.
. . . .
Освещенная бледным светом,
Протянувшаяся к горизонту ширь,
И звезды — золотыми монетами
Рассыпанные в камыши,

И луна — словно желтый гребень,
Запутавшийся в волосах.
...Спит таким спокойным и древним
Затаивший звонкость Зайсан.

⟨1927⟩

6

Всё так же мирен листьев тихий шум,
И так же вечер голубой беспечен,
Но я сегодня полон новых дум,
Да, новых дум я полон в этот вечер.

И в сумраке слова мои звенят —
К покою мне уж не вернуться скоро.
И окровавленным упал закат
В цветном дыму вечернего простора.

Моя Республика, любимая страна,
Раскинутая у закатов,
Всего себя тебе отдам сполна,
Всего себя, ни капельки не спрятав.

Пусть жизнь глядит холодною порой,
Пусть жизнь глядит порой такою злою,
Огонь во мне, затепленный тобой,
Не затушу и от людей не скрою.

И не пройду я отвернувшись, нет,
Вот этих лет волнующихся — мимо.
Мне электрический веселый свет
Любезнее очей любимой.

Я не хочу и не могу молчать,
Я не хочу остаться постояльцем,
Когда к Республике протягивают пальцы,
Чтоб их на горле повернее сжать.

Республика, я одного прошу:
Пусти меня в ряды простым солдатом.
...Замолк деревьев переливный шум,
Утих разлив багряного заката.

Но нет вокруг спокойствия и сна.
Угрюмо небо надо мной темнеет,
Всё настороженнее тишина,
И цепи туч очерчены яснее.

⟨1927⟩

7. ПИСЬМО

Месяц чайкой острокрылой кружит,
И река, зажатая песком,
Всё темнее, медленней и у́же
Отливает старым серебром.

Лодка тихо въехала в протоку
Мимо умолкающих осин, —
Здесь камыш, набухший и высокий,
Ловит нити лунных паутин.

На ресницы той же паутиной
Лунное сияние легло.
Ты смеешься, высоко закинув
Руку с легким, блещущим веслом.

Вспомнить то, что я́ давно утратил,
Почему-то захотелось вдруг...
Что́ теперь поешь ты на закате,
Мой далекий темноглазый друг?

Расскажи хорошими словами
(Я люблю знакомый, тихий звук),
Ну, кому ты даришь вечерами
Всю задумчивость и нежность рук?

Те часы, что провела со мною,
Дорогая, позабыть спеши.
Знаю, снова лодка под луною
В ночь с другим увозит в камыши.

И другому в волосы нежнее
Заплетаешь ласки ты, любя...
Дорогая, хочешь, чтоб тебе я
Рассказал сегодня про себя?

Здесь живу я вовсе не случайно —
Эта жизнь для сердца дорога...
Я уж больше не вздыхаю тайно
О родных зеленых берегах.

Я давно пропел свое прощанье,
И обратно не вернуться мне,
Лишь порой летят воспоминанья
В дальний край, как гуси по весне.

И хоть я бываю здесь обижен,
Хоть и сердце бьется невпопад, —
Мне не жаль, что больше не увижу
Дряхлый дом и тихий палисад.

В нашем старом палисаде тесно,
И тесна ссутуленная клеть.
Суждено мне неуемной песней
В этом мире новом прозвенеть...

Только часто здесь за лживым словом
Сторожит припрятанный удар,
Только много их, что жизнь готовы
Переделать на сплошной базар.

По указке петь не буду сроду, —
Лучше уж навеки замолчать.
Не хочу, чтобы какой-то Родов
Мне указывал, про что писать.

Чудаки! Заставить ли поэта,
Если он — действительно поэт,
Петь по тезисам и по анкетам,
Петь от тезисов и от анкет.

Чудаки! Поэтов разве учат, —
Пусть свободней будет бег пера!..
...Дорогая, я тебе наскучил?
Я кончаю. Ухожу. Пора.

Голубеют степи на закате,
А в воде брусничный плещет цвет,
И восток, девчонкой в синем платье,
Рассыпает пригоршни монет.

Вижу: мной любимая когда-то,
Может быть, любимая сейчас,

Вся в лучах упавшего заката,
На обрыв песчаный забралась.

Хорошо с подъятыми руками
Вдруг остановиться, не дыша,
Над одетыми в туман песками,
Над теченьем быстрым Иртыша.

⟨1927⟩

8. ПЕСНЯ ОБ УБИТОМ

То было там, в моей стране далекой,
Где синим вечером осой звенит июль.
Хранит под сердцем тополь одинокий
Свинец давно уже остывших пуль.

Пыль на дороге с ветреным закатом
Прозрачна, золотиста и легка.
Вот здесь в последний путь когда-то
Расстреливать вели большевика.

Овраг глубок, зарос зеленым талом,
Ручей во мху шипучий, как вино...
Он подошел спокойный и усталый
И прислонился к тополю спиной.

И вот теперь в моей стране далекой,
Где синим вечером звенит июль,
Хранит под сердцем тополь одинокий
Свинец давно уже остывших пуль.

И в час, когда с любимою встречались
В последний раз под лунною листвой,
Я ей шепнул в узор широкой шали,
Я ей шепнул: «Любимая, постой!

Мне нежных слов сейчас не говори ты,
Сейчас куда пристойней помолчать.
Ты слышишь, тополь песню об убитом
Поет листвой под тихий звон ручья?

Ты видишь, там — и медленно и туго
Свивает кольца голубые дым?
Давай же вместе с закадычным другом
И мы с тобой немного погрустим!»

Высокий полог в звезды пышно выткан,
Спокойно всё над нитями дорог.
Любимую я проводил к калитке —
Свою печаль я проводить не мог.

⟨*1927*⟩

9. ВСТУПЛЕНИЕ К ПОЭМЕ «ШАМАНЬЯ ПЛЯСКА»

Моя страна, мы встретились опять.
Хранишь ты прежнюю угрюмую дремучесть,
Но я давно уж начал понимать,
Что ждет тебя совсем иная участь.

Пускай летят в костер твоей зари
Твоей тайги смолистые поленья,
Пришельцам ты покорно подари
Пустынных рек холодное кипенье.

Шуми, шуми, угрюмый хвойный край!..
Ковер шафранный расстелила осень.
Смелее, ветер, песню начинай,
Перебирая струны сосен.

Чисты от туч, нависли небеса
Над одиночеством твоих селений...
Бегут на север синие леса,
Бегут на север дикие олени.

Но даже там, где лег спокойно лед,
Где ночь тиха, что коршун над добычей,
Крылатых нарт стремительный полет
Чего-то неустанно ищет.

И на брусничный ветреный закат
Тоскуют долго древние урманы...

В последний раз над головой подъят
Широкий бубен старого шамана!

⟨1927⟩

10. НА БЕРЕГАХ ЯНЦЗЫ

К желтым пескам Янцзы-реки,
Пухлым и ровным, как вата,
Твердою поступью шли полки,
Серые шли солдаты!
Солнце играло со сталью штыка,
Солнце играло на лицах,
И, казалось, другая река
С Янцзы бежала слиться.
Темной и четкой падала тень,
Марева отблеск таял...
Кто-то сказал, что завтрашний день —
Праздник Первого Мая.
Первое Мая! И вот далеко
Ветер песни пронес над песками,
Крепче сжал китаец рукой
Древко цветного знамя.

Много крови впитал песок,
По-прежнему пухл он ватой,
Стынет кровь, как вишневый сок,
На губах молодого солдата.
На закате молчат камыши...
А обозы всё едут и едут...
Одержал генерал Чан Кай-ши
Над врагами сегодня победу.
Пьяным было таким вино,
А жестокость такой откровенной!
И десятками в эту ночь
По оврагам стреляли пленных.
Кровью темной пестрят солонцы,
И в волне эта кровь струится.
Долго будешь, река Янцзы,
Помнить мертвые, злые лица!

Ночи синей сломается лед,
И последние льдинки растают,
И с Востока заря полыхнет
По всему большому Китаю!
Солнцу — литься во все концы,
И при солнечном ярком свете
Вспомним волны реки Янцзы
И сумеем врагу ответить.
Ровно — в улицах хмурой Читы
И на знойных плантациях чая —
Первым Мая — знамена, цветы
Над колоннами ветер качает!
Пусть в далекие ляжет пески
Кровь запекшимся четким следом.
Слушай, слушай, продажный Нанкин!
Мы ответим полной победой!

Апрель 1927

11. ПАЛИСАД

Я вздыхаю глубоко и редко —
Воздух здесь ядреней и вольней.
Кареглазая моя соседка
В поводу ведет поить коней.

Уговаривать меня не надо:
Задевая ветки тополей,
Тороплюся я из палисада
Пробежать по улице за ней.

Лошадиные спокойны спины,
И за ними не видна она.
У поваленной гнилой лесины
Возле яра я ее догнал.

Берегов приподнятые плечи
Не сгорбатили еще года,
У копыт колышется и плещет
Розовая, сонная вода...

Я сказал: «Здесь чудная погода
И закаты ярче и пышней».
Я спросил: «Ты выйдешь за ворота,
Как поставишь к яслям лошадей?»

Говорил о свежести улыбок,
О родном и близком Иртыше,
Слышно было, как большие рыбы
Громко плавились у камышей.

Резвый ветер маленьким котенком
У ворот в траве попрыгать рад.
Проводил соседку я тихонько
В мой густой зеленый палисад.

Быстро ночи катятся в июле,
Затерялися в листве слова.
Над песками опустелых улиц,
Расползаясь, тает синева.

Близость тонких загорелых пальцев,
Теплота порозовевших щек!
...На траву отброшенным остался
Позабытый ситцевый платок.

15 июля 1927

12. ГОЛУБИ

Было небо вдосталь черным,
Стало небо голубей,
Привезла весна на двор нам
Полный короб голубей.
Полный короб разнокрылый —
Детства, радостной родни,
Неразборчивой и милой
Полный короб воркотни.
Приложил я к прутьям ухо —
Весел стал, а был угрюм,
Моего коснулся слуха
Ожиданья душный шум.

Крышку прочь! Любовью тая,
Что́ наделала рука!
Облачком гудящим стая
Полетела в облака.

1927
Павлодар

13. ОКТЯБРЬ

Новым звоном, слышите, слышите,
Прокатилась наша весна!
Полотнищами алыми вышиты
Этот город и вся страна.

От Ташкента до снежного Севера,
И от Балтики до Китая
Сыпет, сыпет солнечным клевером,
Яркой сказкой быль расцветает.

Средь пустыни безводной, знойной,
Где лежит караванный путь
И ступает верблюд спокойный
На бархана желтую грудь,

И у Каспия, у Астраха́ни,
Где мутнее и шире вода,
Новь горит в размахе желаний
По деревням и городам.

Даже там, где тундрой холодной
Улеглась родная земля,
Машет алое знамя свободно,
Как махало б со стен Кремля.

И толпой могуче охвачен
Этим утром на грани лет
Край наш вольный станков и пашен,
Край, которому равного нет!

Эти толпы считают силы,
Эти песни поют о том,

Как последние цепи разбили
Десятилетним своим Октябрем!

Так шуми и взвевай знаменами
И свое от жизни бери.
Мы стальными пришли батальонами
На пороги новой зари!

Новым звоном, слышите, слышите,
Прокатилась наша весна!
Полотнищами алыми вышиты
Этот город и вся страна.

1927

14. ПО ИРТЫШУ

Ветрено. И мертвой качкой
Нас Иртыш попотчевать готов.
Круглобедрые казачки
Промелькнули взмахами платков.

А колеса биться не устали,
И клубится у бортов река,
И испуганной гусиной стаей
Убегают волны к тальникам.

Жизнь здесь тесто круто замесила,
На улогах солнечной земли,
На песчаном прибережном иле
Здесь рождались люди и росли.

Здесь под вечер говорливы птицы
Над притихшим, гулким Иртышом.
Вот простую девку из станицы
Полюбить мне было б хорошо.

Я б легко встречал ее улыбки
Под журчанье легкого весла,
Шею мне со смехом, гибко,
Смуглою б рукою обняла.

На ночевки в голубые степи
Я гонял бы косяки коней,
На ночевках при июльском лете
Я грустил бы песнями о ней.

Только мне, я это твердо знаю,
Не пасти уже в степи коня,
И простая девушка такая
Не полюбит никогда меня.

Вновь расстанусь с этими местами,
Отшумит и отзвенит река.
Вспуганной гусиной стаей
Убегают волны к тальникам.

1927 (?)

15. СИБИРЬ

Сибирь, настанет ли такое,
Придет ли день и год, когда
Вдруг зашумят, уставши от покоя,
В бетон наряженные города?

Я уж давно и навсегда бродяга.
Но верю крепко: повернется жизнь,
И средь тайги сибирские Чикаго
До облаков поднимут этажи.

Плывут и падают высокие закаты
И плавят краски на зеленом льду.
Трясет рогами вспуганный сохатый
И громко фыркает, почуявши беду.

Всё дальше вглубь теперь уходят звери,
Но не уйти им от своей судьбы.
И старожилы больше уж не верят
В давно пропетую и каторжную быль.

Теперь иные подвиги и вкусы.
Моя страна, спеши сменить скорей

Те бусы
Из клыков зверей —
На электрические бусы!..

⟨1928⟩

16. АЗИАТ

Ты смотришь здесь совсем чужим,
Недаром бровь тугую супишь.
Ни за какой большой калым
Ты этой женщины не купишь.
Хоть волос русый у меня,
Но мы с тобой во многом схожи:
Во весь опор пустив коня,
Схватить земли смогу я тоже.
Я рос среди твоих степей,
И я, как ты, такой же гибкий.
Но не для нас цветут у ней
В губах подкрашенных улыбки.
Вот погоди, — другой придет,
Он знает разные манеры
И вместе с нею осмеет
Степных, угрюмых кавалеров.
И этот узел кос тугой
Сегодня ж, может быть, под вечер
Не ты, не я, а тот, другой
Распустит бережно на плечи.
Встаешь, глазами засверкав,
Дрожа от близости добычи.
И вижу я, как свой аркан
У пояса напрасно ищешь.
Здесь люди чтут иной закон
И счастье ловят не арканом!
. . . .
По гривам ветреных песков
Пройдут на север караваны.
Над пестрою кошмой степей
Заря поднимет бубен алый.
Где ветер плещет гибким талом,
Мы оседлаем лошадей.

Дорога гулко зазвенит,
Горячий воздух в ноздри хлынет,
Спокойно лягут у копыт
Пахучие поля полыни.
И там, в предгории Алтая,
Мы будем гости в самый раз.
Степная девушка простая
В родном ауле встретит нас.
И в час, когда падут туманы
Ширококрылой стаей вниз,
Мы будем пить густой и пьяный
В мешках бушующий кумыс.

⟨1928⟩

17. ВОДНИК

Качают над водою сходни
Рубах цветные паруса,
Мой друг — угрюмый, старый водник —
Рукой проводит по усам.

И вижу я (хоть тень акаций
Совсем заволокла крыльцо) —
Легли двенадцать навигаций
Ему загаром на лицо.

Он скажет: «Пошатались прежде...
Я знаю этот водный путь...»
Просвечивает сквозь одежду
Татуированная грудь.

Пока огней он не потушит
В глуби своих зеленых глаз,
Я буду долго, чутко слушать
Уже знакомый мне рассказ.

И мимо нас с баржою длинной,
Волны разрезав сизый жир,
Пройдет сторонкою старинный,
Неповоротливый буксир.

⟨1928⟩

18. ПАРОХОД

Устал, пароход... Колеса верти́шь
Ты медленнее и реже.
Грузно режешь быстрый Иртыш,
Воду зеленую режешь.
Если бы ветер сильней и лютей —
Ты закачался под валом бы
И закружил бы сейчас людей
У прутьев высокой палубы.
Но воды спокойны, и пристань — вон,
Такая босая и пестрая!
А ну-ка, давай залезай в загон
Напротив песчаного острова!
Боком, боком — с тяжелым храпом,
Боком, боком — к изогнутым трапам!
Как белый горячий конь
После больших погонь.
Тише и тише... Команда: «Стоп!»
Взнуздан крепко канатной уздой.

И не успела с соседних песков
Еще убежать волна —
Быстрым потоком людских голов
Пристань уже полна.
Радость встреч тебе далека!
Ты деловито открыл бока.
Вот, зажимая горячий дых,
Ты принимаешь в пузо пуды...
...Быстро огни опрокинулись в воду,
И закачался протяжный сигнал.
Если прибавишь до полного ходу —
Шибче у берега стукнется вал...

⟨1928⟩

19. ПУШКИН

Предупреждение? Судьба? Ошибка?
— Вздор!
Но недовольство тонко смыла мгла

...Приспущенные флаги штор
И взмах копыт во тьму из-за угла.

И острый полоз взрезал спелый снег,
Закат упал сквозь роспись ярких дуг.
Поспешливо придумать сквозь разбег,
Что где-то ждет далекий нежный друг...

Вот здесь встречал, в толпе других, не раз...
И вдруг его в упор остановил
Простой вопрос, должно быть, темных глаз
И кисть руки у выгнутых перил.

Конечно, так! Он нежность не увез!
И санки вдруг на крыльях глубины,
И в голубом церемониале звезд —
Насмешливый полупоклон луны.

И санки вкось. А запад ярко хмур.
Сквозь тихий смех: — Какой невольный час...
Даль зеркала и пестрый праздник дур
И дураков. Не правда ли, Данзас?

Усталый снег разрезан мерзлой веткой,
Пар от коней.
                    — Нельзя ли поскорей... —
И ветер развевает метко
Трефовый локон сумрачных кудрей.

Туман плывет седеющий и серый,
Поляна поднята в кустарнике, как щит.
И на отмеренные барьеры
Отброшены небрежные плащи.

———

Рука живет в тугих тисках перчатки,
Но мертвой костью простучало:
                                        Нет!
И жжет ладонь горячей рукояткой
С наивным клювом длинный пистолет.

Последний знак...
                    Судьба? Ошибка? — Вздор!

Раздумья нет. Пусть набегает мгла.
Вдруг подойти и выстрелить в упор
В граненый звон зеленого стекла.

И темный миг знакомых юных глаз,
Который вдруг его остановил...
— Вы приготовились?
...И дорогая...
— Раз!

У тонких и изогнутых перил.
Ведь перепутались вдруг, вспомнившись, слова,
Которые он вспомнил и забыл.
— Вы приготовились?..
...То нежность, что ли?
— Два!

У стынущих, причудливых перил —
Вот в эту тьму багровую смотри!
Ты в этом мире чувствовал и жил.
...Бег санок легких, прозвеневших...
— Три!
У ускользающих, остынувших перил.

Пустынна ночь. И лунно вьется снег.
Нем горизонт. (В глуби своей укрой!)
Усталых санок ровно сдержан бег,
А сквозь бинты накрапывает кровь.

⟨*1928*⟩

20. ДОРОГОМУ НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ АНОВУ

Ты предлагаешь нам странствовать
С запада багряного на синий восток.
Но не лягут дальние пространства
Покорными у наших ног.

Как в лихорадке кинематографических кадров,
Мы не закружимся в вихре минут.

Признайся, ведь мы не похожи на
конквистадоров,
Завоевывающих страну.

Ночь в сумерках — словно дама в котиках —
Придет. И, исчерпанные до дна,
Мы, наверно, нашу экзотику
Перекрасим в другие тона.

С детства мило нам всё голубое
И пшеничных просторов звень...
Мы смешными покажемся — ковбои
Из сибирских глухих деревень.

Всем нам дорог сердец огонь,
Но не будет ли всё по-старому,
Если сменим мы нашу гармонь
На мексиканскую гитару?..

Ты сулишь нам просторы Атлантики,
Ну, а мы в дыму папирос
Будем думать о старой романтике
Золотых на ветру берез.

И разве буйство зашумит по-иному,
Если россов затянут в притон
И дадут по бутылке рому,
А не чашками самогон?

И когда, проплывая мимо,
Ночь поднимет Южный Крест,
Мы загрустим вдруг о наших любимых
Из родных оставленных мест.

Вот тогда и будет похоже,
Что, оторванные от земли,
С журавлями летим мы и тоже
Курлыкаем, как журавли.

И в июньское утро рано
Мы постучим у твоих дверей,
Закричим: «Николай Иванович Анов,
Принимай дорогих гостей!»

29 августа 1928

21

Глазами рыбьими поверья
Еще глядит страна моя,
Красны и свежи рыбьи перья,
Не гаснет рыбья чешуя.

И в гнущихся к воде ракитах
Ликует голос травяной —
То трубами полков разбитых,
То балалаечной струной.

Я верю — не безноги ели,
Дорога с облаком сошлась,
И живы чудища доселе —
И птица-гусь, и рыба-язь.

1928
Омск

22. ОХОТНИЧЬЯ ПЕСНЬ

Зверя сначала надо гнать
Через сугроб в сугроб.
Нужно уметь в сети сплетать
Нити звериных троп.

Зверя сначала надо гнать,
Чтоб пал заморен, и потом
Начал седые снега лизать
Розовым языком.

Рыжим пламенем, если — лиса,
Веткою кедра, если — волк,
Чтоб пробовал пули кусать,
Целя зубов защелк.

Но если княжен зверь и усат,
Если он шкурою полосат,
Значит, спустился знатный вор
С самых вершин Захинганских гор.

Будь осторожен! Зверь велик,
Он приготовил свой рыжий клык,
Не побежит от тебя, как те,
Верен удар голубых когтей.

Старым удодом кричит заря.
В пестрый лоб посылай заряд,
Пусть не солжет под рукой курок,
Цель под лопатку, чтоб зверь полег.

Сучья кустарников злы и остры,
Братья твои разжигают костры,
Братья встречают тебя на заре,
Злой и седой победитель зверей.

Песней старинной шумят снега.
Пади. Болота. Черна тайга.

⟨1929⟩

23. СОНЕТ

«Суровый Дант не презирал сонета,
В нем жар любви Петрарка изливал...»
А я брожу с сонетами по свету,
И мой ночлег — случайный сеновал.

На сеновале — травяное лето,
Луны печальной розовый овал.
Ботинки я в скитаньях истоптал,
Они лежат под головой поэта.

Привет тебе, гостеприимный кров,
Где тихий хруст и чавканье коров
И неожидан окрик петушиный...

Зане я здесь устроился, как граф!
И лишь боюсь, что на заре, прогнав,
Меня хозяин взбрызнет матерщиной.

1929

24. РАССКАЗ О ДЕДЕ

Корнила Ильич, ты мне сказки баял,
Служивый да ладный — вон ты каков!
Кружилась за окнами ночь, рябая
От звезд, сирени и светляков.

Тогда как подкошенная с разлета
В окно ударялась летучая мышь,
Настоянной кровью взбухало болото,
Сопя и всасывая камыш.

В тяжелом ковше не тонул, а плавал
Расплавленных свеч заколдованный воск,
Тогда начиналась твоя забава —
Лягушачьи песни и переплёск.

Недобрым огнем разжигались поверья,
Под мох забиваясь, шипя под золой,
И песни летали, как белые перья,
Как пух одуванчиков над землей!

Корнила Ильич, бородатый дедко,
Я помню, как в пасмурные вечера
Лицо загудевшею синею сеткой
Тебе заволакивала мошкара.

Ножовый цвет бархата, незабудки,
Да в темную сырь смоляной запал, —
Ходил ты к реке и играл на дудке,
А я подсвистывал и подпевал.

Таким ты остался. Хмурый да ярый,
Еще неуступчивый в стык, на слом,
Рыжеголовый, с дудкою старой,
Весну проводящий сквозь бурелом.

Весна проходила речонки бродом,
За пестрым телком, распустив волоса.
И петухи по соседним зародам
Сверяли простуженные голоса.

Она проходила куда попало
По метам твоим. И наугад
Из рукава по воде пускала
Белых гусынь и желтых утят.

Вот так радость зверью и деду!
Корнила Ильич, здесь трава и плес,
Давай окончим нашу беседу
У мельничных вызелененных колес.

Я рядом с тобою в осоку лягу
В упор трясинному зыбуну.
Со дна водяным поднялась коряга,
И щука нацеливается на луну.

Теперь бы время сказкой потешить
Про злую любовь, про лесную жизнь.
Четыре пня, как четыре леших,
Сидят у берега, подпершись.

Корнила Ильич, по старой излуке
Круги расходятся от пузырей,
И я, распластав, словно крылья, руки,
Встречаю молодость на заре.

Я молодость слышу в птичьем крике,
В цветенье и гаме твоих болот,
В горячем броженье свежей брусники,
В сосне, зашатавшейся от непогод.

Крест не в крест, земля — не перина,
Как звезды, осыпались светляки, —
Из гроба не встанешь, и с глаз совиных
Не снимешь стертые пятаки.

И лучший удел — что в забытой яме,
Накрытой древнею синевой,
Отыщет тебя молодыми когтями
Обугленный дуб, шелестящий листвой.

Он череп развалит, он высосет соки,
Чтоб снова заставить их жить и петь,

Чтоб встать над тобою крутым и высоким,
Корой обрастать и ветвями звенеть!

1929

25. МЯСНИКИ

Сквозь сосну половиц прорастает трава,
Подымая зеленое шумное пламя,
И теленка отрубленная голова,
На ладонях качаясь, поводит глазами.
Черствый камень осыпан в базарных рядах,
Терпкий запах плывет из раскрытых отдушин,
На изогнутых в клювы тяжелых крюках
Мясники пеленают багровые туши.
И, собравшись из выжженных известью ям,
Мертвоглазые псы, у порога залаяв,
Подползают, урча, к беспощадным ногам
Перепачканных в сале и желчи хозяев.
Так, голодные морды свои положив,
До заката в пыли обессилят собаки,
Мясники засмеются и вытрут ножи
О бараньи сановные пышные баки.
...Зажигает топор первобытный огонь,
По́лки шарит березою пахнущий веник,
Опускается глухо крутая ладонь
На курганную медь пересчитанных денег.
В палисадах шиповника сыплется цвет,
Как подбитых гусынь покрасневшие перья...
Главный мастер сурово прикажет: «Валет!» —
И рябую колоду отдаст подмастерьям.
Рядом дочери белое кружево ткут,
И сквозь скучные о́тсветы длинных иголок,
Сквозь содвинутый тесно звериный уют
Им мерещится свадебный, яблочный полог.
Ставит старый мясник без ошибки на треф,
Возле окон шатаясь, горланят гуляки.
И у ям, от голодной тоски одурев,
Длинным воем закат провожают собаки.

1929 (?)

26. БАХЧА ПОД СЕМИПАЛАТИНСКОМ

Змеи щурят глаза на песке перегретом,
Тополя опадают. Но в травах густых
Тяжело поднимаются жарким рассветом
Перезревшие солнца обветренных тыкв.
В них накопленной силы таится обуза —
Плодородьем добротным покой нагружен,
И изранено спелое сердце арбуза
Беспощадным и острым казацким ножом.
Здесь гортанная песня к закату нахлынет,
Чтоб смолкающей бабочкой биться в ушах,
И мешается запах последней полыни
С терпким запахом меда в горбатых ковшах.
Третий день беркута уплывают в туманы
И степные кибитки летят, грохоча.
Перехлестнута звонкою лентой бурьяна,
Первобытною силой взбухает бахча.
Соляною корою примяты равнины,
Но в подсолнухи вытканный пестрый ковер,
Засияв, расстелила в степях Украина
У глухих берегов пересохших озер!
Наклонись и прислушайся к дальним подковам,
Посмотри — как распластано небо пустынь...
Отогрета ладонь в шалаше камышовом
Золотою корою веснушчатых дынь.
Опускается вечер.
                    И видно отсюда,
Как у древних колодцев блестят валуны
И, глазами сверкая, вздымают верблюды
Одичавшие морды до самой луны.

1929 (?)

27

Затерян след в степи солончаковой,
Но приглядись — на шее скакуна
В тугой и тонкой кладнице шевровой
Старинные зашиты письмена.

Звенит печаль под острою подковой,
Резьба стремян узорна и темна...
Здесь над тобой в пыли многовековой
Поднимется курганная луна.

Просторен бег гнедого иноходца.
Прислушайся! Как мерно сердце бьется
Степной страны, раскинувшейся тут,

Как облака тяжелые плывут
Над пестрою юртою у колодца.
Кричит верблюд. И кони воду пьют.

1929 (?)

28. ЯРМАРКА В КУЯНДАХ

Над степями плывут орлы
От Тобола на Каркаралы,

И баранов пышны отары
Поворачивают к Атбасару.

Горький ветер трясет полынь,
И в полоне Долонь у дынь —

Их оранжевые тела
Накаляются добела,

И до самого дна нагруз
Сладким соком своим арбуз.

В этот день поет тяжелей
Лошадиный горячий пах, —
Полстраны, заседлав лошадей,
Скачет ярмаркой в Куяндах.

Сто тяжелых степных коней
Диким глазом в упор косят,
И бушует для них звончей
Золотая пурга овса.

Сто коней разметало дых —
Белой масти густой мороз,
И на скрученных лбах у них
Сто широких буланых звезд.

Над раздольем трав и пшениц
Поднимается долгий рев —
Казаки из своих станиц
Гонят в степь табуны коров.

Горький ветер, жги и туманъ,
У алтайских предгорий стынь!
Для казацких душистых бань
Шелестят березы листы.

В этот день поет тяжелей
Вороной лошадиный пах, —
Полстраны, заседлав лошадей,
Скачет ярмаркой в Куяндах!..

Пьет джигит из касэ, — вина! —
Азиатскую супит бровь,
На бедре его скакуна
Вырезное его тавро.

Пьет казак из Лебяжья, — вина! —
Сапоги блестят — до колен,
В пышной гриве его скакуна
Кумачовая вьюга лент.

А на седлах чекан-нарез,
И станишники смотрят — во!
И киргизы смеются — во!
И широкий крутой заезд
Низко стелется над травой.

Кто отстал на одном вершке,
Потерял — жалей не жалей —
Двадцать пять в холстяном мешке,
Серебром двадцать пять рублей...

Горький ветер трясет полынь,
И в полоне Долонь у дынь,

И баранов пышны отары
Поворачивают к Атбасару.

Над степями плывут орлы
От Тобола на Каркаралы.

⟨1930⟩

29. РАССКАЗ О СИБИРИ

Рассказ о стране начинается так:
Четыре упряжки голодных собак,
Им северный ветер взлетает навстречу,
И, к нартам пригнув онемелые плечи,
Их гонит наездник, укутанный в снег.
Четыре упряжки и человек.
Над срубами совы кричали ночами,
Поселок взбухал, обрастая в кусты,
Настоянным квасом и дымными щами,
И бабы вынашивали животы,
Когда по соседним зародам и гатям
Мужья проносили угрозу рогатин.
Рассказ продолжается. Ветер да камень.
Но взрыта земля глубоко рудниками.
Подвластны железным дорогам равнины,
И первые транспорты ценной пушнины
Отправлены там, где, укутанный в снег,
Четыре упряжки провел человек.
Рассказ продолжается. Слышат становья,
Как тают снега, перемытые кровью...
...И каждый наладил бердан да обрез,
И целый поселок улогами лез.
Аглицкие части застряли в болотах,
И лихорадят вовсю пулеметы...
Рассказ продолжается. Сивый рязанец,
Обвит пулеметною кожею лент,
Благословляет мужичий конвент,
Советы приветствуют партизаны.
И от Челябинска до Уймона
Проходят простреленные знамена.

И вот замолкает обозный скрип;
Сквозь ветер степей, через залежи леса,
Прислушавшись чутко к сиренам Тельбеса,
Огни над собой поднимает Турксиб.
Полярным сияньем и глыбами льда,
Пургой сожжены и застужены ночи,
Но всё ж по дремучим снегам прогрохочут
На Фрунзе отправленные поезда.

⟨1930⟩

30. КИРГИЗИЯ

Замолкни и вслушайся в топот табунный, —
По стертым дорогам, по травам сырым
В разорванных шкурах
бездомные гунны
Степной саранчой пролетают на Рим!..

Тяжелое солнце
в огне и туманах,
Поднявшийся ветер упрям и суров.
Полыни горьки, как тоска полонянок,
Как песня аулов,
как крик беркутов.

Безводны просторы. Но к полдню прольется
Шафранного марева пряный обман,
И нас у пригнувшихся древних колодцев
Встречает гортанное слово — аман! [1]

Отточены камни. Пустынен и страшен
На лицах у идолов отблеск души.
Мартыны и чайки
кричат над Балхашем,
И стадо кабанье грызет камыши.

К юрте от юрты, от базара к базару
Верблюжьей походкой размерены дни,

---

[1] Аман — здравствуй.

Но здесь, на дорогах ветров и пожаров,
Строительства нашего встанут огни!

Совхозы Киргизии!
Травы примяты.
Протяжен верблюжий поднявшийся всхлип.
Дуреет от яблонь весна в Алма-Ата,
И первые ветки
раскинул Турксиб.

Земля, набухая, гудит и томится
Несобранной силой косматых снопов,
Зеленые стрелы
взошедшей пшеницы
Проколют глазницы пустых черепов.

Так ждет и готовится степь к перемене.
В песках, залежавшись,
вскипает руда,
И слушают чутко Советы селений,
Как ржут у предгорий, сливаясь, стада.

(1930)

31. СЕСТРА

В луговинах по всей стране
Рыжим ветром шумят костры,
И, от голода осатанев,
Начинают петь комары.
На хребтах пронося траву,
Осетры проходят на юг,
И за ними следом плывут
Косяки тяжелых белуг.
Ярко-красный теряет пух
На твоем полотенце петух.
За твоим порогом — река,
Льнут к окну твоему облака,
И поскрипывает, чуть слышна,
Половицами тишина.
Ой, темно иртышское дно, —
Отвори, отвори окно!

Слушай, как водяная мышь
На поёмах грызет камыш.
И спокойна вода, и вот
Молчаливая тень скользнет:
Это синие стрелы щук
Бороздят лопухи излук,
Это всходит вода ясней
Звонкой радугой окуней.
...Ночь тиха, и печаль остра,
Дай мне руки твои, сестра.
Твой родной постаревший дом
Пахнет медом и молоком.
Наступил нашей встречи срок,
Дай мне руки, я не остыл,
Синь махорки моей — дымок
Пусть взойдет, как тогда всходил.
Под резным глухим потолком
Пусть рассеется тонкий дым,
О далеком и дорогом
Мы с тобою поговорим.
Горячей шумит разговор, —
Вот в зеленых мхах и лугах
Юность мчится во весь опор
На крутых степных лошадях.
По траве, по корявым пням
Юность мчится навстречу нам,
Расплеснулись во все концы
С расписной дуги бубенцы!
Проплывает туман давно,
Отвори, отвори окно!
Слушай, как тальник, отсырев,
Набирает соки заре.
Закипевшей листвой пыля,
Шатаются пьяные тополя,
Всходит рыжею головой
Раньше солнца подсолнух твой.
Осыпая горячий пух,
С полотенца кричит петух...
Утро, утро, сестра, встречай,
Дай мне руки твои. Прощай!

⟨1930⟩

32. ТОВАРИЩ ДЖУРБАЙ

Товарищ Джурбай!
Мы с тобою вдвоем.
Юрта наклонилась над нами.
Товарищ Джурбай,
Расскажи мне о том,
Как ты проносил под седым Учагом
Горячее шумное знамя,
Как свежею кровью горели снега
Под ветром, подкошенным вровень,
Как жгла, обезумев, шальная пурга
Твои непокорные брови.
Товарищ Джурбай!
Расскажи мне о том,
Как сабля чеканная пела,
Как вкось по степям,
Прогудев над врагом,
Косматая пика летела.

...На домре спокойно застыла рука,
Костра задыхается пламя.
Над тихой юртой плывут облака
Пушистыми лебедями.

...По чашкам, урча, бушует кумыс.
Степною травою пьян,
К озеру Куль и к озеру Тыс
Плывет холодный туман.
Шатаясь, идет на Баян-Аул
Табунный тяжелый гул.
Шумит до самых горных границ
Буран золотых пшениц.
Багряным крылом спустился закат
На черный речной камыш,
И с отмелей рыжих цапли кричат
На весь широкий Иртыш.
Печален протяжный верблюжий всхлип.
Встань, друг, и острей взгляни, —
Это зажег над степями Турксиб
Сквозь ветер свои огни.
...Прохладен и нежен в чашках кумыс...

В высокой степной пыли
К озеру Куль и к озеру Тыс
Стальные пути легли...

Товарищ Джурбай!
Не заря ли видна
За этим пригнувшимся склоном?
Не нас ли с тобой
Вызывает страна
Опять — как в боях — поименно?
Пусть домра замолкнет!
Товарищ, постой!
Товарищ Джурбай, погляди-ка!
Знакомым призывом
Над нашей юртой
Склонилась косматая пика!

⟨1930⟩

33. ДЖУТ

По свежим снегам — в тысячи голов —
На восток табуны идут.
Но вам, погонщики верблюдо́в,
Холодно станет от этих слов —
В пустыне властвует джут.

Первые наездники алтайских предгорий
На пегих, на карих, на гнедых лошадях
Весть принесли, что Большое горе
Наледью синей легло в степях.
И сразу топот табунный стих,
Качнулся тяжелый рев —
Это, рога к земле опустив,
Мычали стада коров;
Это кочевала беда, беда
Из аула в другой аул:
— Джут шершавой корою льда
Серединную степь стянул.

А степь навстречу пургой, пургой:
— Ой, кайда барасен... ой-пур-мой!

А по степи навстречу белый туман:
— Некерек, бельмейм — жаман, жаман.

Жмется к повозкам бараний гурт,
Собаки поднимают долгий вой.
Месяц высок. И хозяин юрт
Качает мудрою головой.
У него ладонь от ветра ряба,
К нему от предгорий спешат гонцы,
На повозках кричат его ястреба,
Иноходцы его трясут бубенцы.
По первой дороге свежих снегов
На восток табуны идут.
Но всё меньше и меньше веселых слов
У погонщиков верблюдо́в,
И в пустыне властвует джут.
— Эй, хозяин высоких юрт,
Гибнет, гибнет бараний гурт.
— Эй, хозяин, беда, беда,
Погибают твои стада.
Настигает смерть, аксакал,
Лучший твой жеребец упал.

Это старый и хитрый джут,
Он по пальцам считает дни.
Хохоча, сумасшедший джут
Зажигает волчьи огни.
— Сжалься, старый, безумный джут.
Не бери всех коней и коров,
Отдаем тебе, старый джут,
Самых жирных баранов кровь,
Убери, убери, хитрый джут,
Тонкий лед и белый туман,
Для тебя на кострах, старый джут,
Спляшет самый лучший шаман. —
Но, от голода одичав,
Кони мчат последний разбег,
И верблюды тревожно кричат,
Зарываясь ноздрями в снег.
Ветер прям, и снега чисты.
— Ой-пур-мой, ой-пур-мой, кайда? —

Голубые снега пустынь
Опускаются на стада.

— Эй, хозяин, склони сильней
Ястребиные крылья скул,
По старинным путям степей
Ты спешишь на Баян-Аул.

У копыт поземки бегут,
За спиною хохочет джут.

И хоть ровен путь и хорош,
Всё равно никуда не уйдешь.

Черный куст, тонкий куст — можжевель.
Лижет стремя твое метель.

Всё равно не уйдешь далеко
От седых ее языков.

Пропадешь средь голых степей.
— Эй, хозяин! Хозяин, и-ей!..

⟨1930⟩

34. КОНЬ

Топтал павлодарские травы недаром,
От Гробны до Тыса ходил по базарам.

Играл на обман средь приезжих людей
За полные горсти кудлатых трефей.

И поднимали кругом карусели
Веселые ситцевые метели.

Пришли табуны по сожженным степям,
Я в зубы смотрел приведенным коням.

Залетное счастье настигло меня —
Я выбрал себе на базаре коня.

В дорогах моих на таком не пропасть —
Чиста вороная, атласная масть.

Горячая пена на бедрах остыла,
Под тонкою кожей — тяжелые жилы.

Взглянул я в глаза — высоки и остры,
Навстречу рванулись степные костры.

Папаху о землю! Любуйся да стой!
Не грива, а коршун на шее крутой.

Неделю с хозяином пили и ели,
Шумели цветных каруселей метели.

Прощай же, хозяин! Навстречу нахлынет
Поднявшейся горечью ветер полыни.

Навстречу нахлынут по гривам песков
Горячие вьюги побед и боев.

От Гробны до Тыса по логам и склонам
Распахнут закат полотни́щем червонным.

Над Первой над Конной издалека
На нас лебедями летят облака.

⟨*1930*⟩

35. ОКТЯБРЬСКИЙ ВЕТЕР

Сквозь тусклые окна
В рассветную рань,
Под кухонный марш
Примусов желтолицых,
Приученным цветом бледнеет герань
И фикусы чахнут в домашних теплицах.
Вдыхая прогорклый

И медленный чад,
На стеклах скучают
Тяжелые мухи.
Здесь сонные стены потупили взгляд,
Ржавея в обойной глухой золотухе...
Костлявые лестницы
Робко ведут,
Раскинув руками
Крутые перила,
Туда, где, проснувшись, постельный уют
Пропах ароматами пудры и мыла.
Качаясь в седых
Гамаках паутин,
Старела тяжелая
Ночь непробудней, —
Над флюсом подушек,
В удушье перин
Надсаженно кашляют скудные будни.
Предутренний рынок,
Врываясь сюда,
Сочится густым
Окровавленным мясом,
Литавры тарелок гремят, и вода
В набухнувших трубах гудит контрабасом.
Среди тупиков
На восьмом этаже
Опять заблудилась
Худая простуда, —
Девичьи мечты о флаконах ТЭЖЭ
Томятся в усталом бреду «ундервуда»...
Чахоточный день,
Надломившись, поник
Под грузными арками
Сгорбленных сводов,
И мерная скука бухгалтерских книг
Хранится в влюбленной тоске счетоводов.
В надежно укрытой от бурь тишине
Здесь время плывет допотопной неделей,
И дремлют на выцветшем синем сукне
Отвисшие шеи бульдожных портфелей.
В угодливых масках
Пергаментных лиц

Питомник мещан
Захлебнулся в корыте:
Он стаями вкрадчивых, жадных мокриц
Внимает сквозь узкую щель общежитий.
Пускай обывательский
ЦИК уцелел, —
Индустрия зорко
К врагу повернула
Задымленных труб
Орудийные дула
И комнаты эти взяла на прицел.
Булыжною поступью
Роты домов
Вскипающим митингом
Вышли на площадь,
Где полдень тугие знамена полощет
Горячим разливом багровых ветров.
Сквозь вялую пыль
Неживого старья
Мерцающей пылью
На мертвой портьере
Стремительно-свежий сквозняк Октября
Упрямо ворвется в закрытые двери.
Под солнечным ливнем,
Нахлынув в упор
Под мелкую дрожь
Шепелявых акаций,
Подбитые крылья раскинет у штор
И примет кремлевский салют демонстраций.

⟨1930⟩

36. ПУТЬ В СТРАНУ

Обожжены стремительною сталью,
Пески ложатся, кутаясь в туман,
Трубит весна над гулкой магистралью,
И в горизонты сомкнут Туркестан.

Горят огни в ауле недалеком,
Но наш состав взлетает на откос,

И ветви рельс перекипают соком —
Весенней кровью яблонь и берез.

Обледенев, сгибают горы кряжи
Последнею густою сединой...
Открыт простор.
И кто теперь развяжет
Тяжелый узел, связанный страной?

За наши дни, пропитанные потом,
Среди курганных выветренных трав
Отпразднуют победу декапоты,
В дороге до зари прогрохотав.

В безмолвном одиночестве просторов,
По-прежнему упорен и суров,
Почетными огнями семафоров
Отмечен путь составов и ветров.

Пусть под шатром полярного сиянья
Проходят Обью вздыбленные льды, —
К пустынному подножию Тянь-Шаня
Индустрии проложены следы.

Где камыши тигриного Балхаша
Качают зыбь под древней синевой,
Над пиками водонапорных башен
Турксиб звенит железом и листвой.

И на верблюжьих старых перевалах
Цветет урюк у синих чайхане,
Цветут огни поднявшихся вокзалов,
Салютуя разбуженной стране.

Здесь, на земле истоптанной границы,
Утверждены горячие века
Золотоносной вьюгою пшеницы
И облаками пышного хлопка!..

⟨1930⟩

37. ТУРКСИБ

Товарищ Стэнман, глядите!
Встречают нас
Бесприютные дети алтайских отрогов.
Расстелив солончак, совершают намаз
Кривоплечие камни
на наших дорогах.

Их степная молитва теперь горяча,
Камни стонут в тоске
и тяжелом бессилье,
И сутулые коршуны, громко крича,
Расправляют на них заржавелые крылья.

На курганном закате поверим сильней,
Что, взметнувшись в степях
вороньем темнолистым,
Разбегутся и вспрыгнут на диких коней
Эти камни, поднявшись
с кочевничьим свистом.

От низовий до гор расстилается гул,
Пляшет ханский бунчук
над полынями гордо.
Обдирая бурьяны с обветренных скул,
Возле наших костров собираются орды.

Мгла пустынна, и звездная наледь остра
(Здесь подняться до звезд, в поднебесье
кружа бы...).
Обжигаясь о шумное пламя костра,
Камни прыгают грузно, как пестрые жабы,

И, глазами тускнея,
впиваются в нас...
Это кажется только!
Осколки отрогов,
Неподвижные камни, без песен и глаз,
Кривоплечие камни на наших дорогах.

Скучно слушать и впитывать их тишину.
По примятой траве,
по курганным закатам,

Незнакомым огнем обжигая страну,
Загудевшие рельсы
летят в Алма-Ата!

Разостлав по откосам подкошенный дым,
Паровозы идут по путям человечьим —
И, безродные камни,
вы броситесь к ним,
Чтоб подставить свои напряженные плечи!

Под колесную дрожь
вам дано закричать,
Хоть вы были пустынны, безглазы и немы, —
От Сибири к Ташкенту
без удержу мча,
Грузовые составы слагают поэмы.

⟨1930⟩

38

Гале Анучиной

Так мы идем с тобой и балагурим.
Любимая! Легка твоя рука!
С покатых крыш церквей, казарм и тюрем
Слетают голуби и облака.
Они теперь шумят над каждым домом,
И воздух весь черемухой пропах.
Вновь старый Омск нам кажется знакомым,
Как старый друг, оставленный в степях.
Сквозь свет и свежесть улиц этих длинных
Былого стертых не ищи следов, —
Нас встретит благовестью листьев тополиных
Окраинная троица садов.
Закат плывет в повечеревших водах,
И самой лучшей из моих находок
Не ты ль была? Тебя ли я нашел,
Как звонкую подкову на дороге,
Поруку счастья? Грохотали дроги,
Устали звезды говорить о боге,
И девушки играли в волейбол.

13 декабря 1930

39. НА СЕВЕР

В скитаньях дальних сердцем не остынь,
Пусть ветер с моря
Медленен и горек,
Земля одета в золото пустынь,
В цветной костюм
Долин и плоскогорий.

Но, многоцветно вымпелы подняв,
В далекий край,
Заснеженный и юный,
Где даль морей норд-осты леденят,
Уходят бриги, тралеры и шхуны.

Седой туман на Шпицберген идет,
Но ветер свищет
Боцманом веселым,
И, тяжело раскалывая
Лед,
Торжественно проходят ледоколы.

Весь Север вытих,
вспенился
и в рост
Поднялся вдруг,
Чтоб дерзкие ослабли.
Но в гущу замороженную звезд
Медлительно
Взмывают дирижабли.

Здесь, в пристальном
Мерцании ночей,
У чутких румбов
Зорки капитаны,
И, путь открыв широкий для гостей,
Склоняются неведомые страны...

Мгла впереди запутана, как бред,
Лукавый путь
Тревожен и опасен,

Но доблесть новых северных побед
Багряным флагом
Отмечает «Красин».

1930

40. ПЕСНЯ

Марии Рогатиной — совхознице

Листвой тополиной и пухом лебяжьим,
Гортанными криками
Вспугнутых птиц
По мшистым низинам,
По склонам овражьим
Рассыпана ночь прииртышских станиц.

Но сквозь новолунную мглу понизовья,
Дорогою облачных
Стынущих мет,
Голубизной и вскипающей кровью
По небу ударил горячий рассвет.

И, горизонт перевернутый сдвинув,
Снегами сияя издалека,
На крыши домов
Натыкаясь, как льдины,
Сплошным половодьем пошли облака.

В цветенье и росте вставало Поречье,
В лугах кочевал
Нарастающий гам,
Навстречу работе
И солнцу навстречу
Черлакский совхоз высыпал к берегам:

Недаром, повисший пустынно и утло,
Здесь месяц с серьгою казацкою схож.
Мария! Я вижу:
Ты в раннее утро
С поднявшейся улицей вместе плывешь.

Ты выросла здесь и налажена крепко.
Ты крепко проверена. Я узнаю
Твой рыжий бушлат
И ушатую кепку,
Прямую, как ветер, походку твою.

Ты славно прошла сквозь крещенье железом,
Огнем и работой. Пусть нежен и тих,
Твой голос не стих
Под кулацким обрезом,
Под самым высоким заданьем не стих.

В засыпанной снегом кержацкой деревне
Враг стлался,
И поднимался,
И мстил.
В придушенной злобе,
Тяжелый и древний,
Он вел на тебя наступление вил.

Беспутные зимы и весны сырые
Топтались в безвыходных очередях,
Но ты пронесла их с улыбкой, Мария,
На крепких своих, на мужицких плечах.

Но ты пронесла их, Мария. И снова,
Не веря пробившейся седине,
Работу стремительную и слово
Отдать, не задумываясь, готова
Под солнцем индустрии вставшей стране.

Гляди ж, горизонт перевернутый сдвинув,
Снегами сияя издалека,
На крыши домов
Натыкаясь, как льдины,
Сплошным половодьем идут облака
И солнце.

Гудков переветренный голос,
Совхоза поля — за развалами верб.

Здесь просится каждый набухнувший колос
В социалистический герб.

За длинные зимы, за весны сырые,
За солнце, добытое
В долгом бою,
Позволь на рассвете, товарищ Мария,
Приветствовать песней работу твою.

1930

41. ГЛАФИРА

Багровою сиренью набухал
Купецкий город, город ястребиный,
Курганный ветер шел по Иртышу,
Он выветрил амбары и лабазы,
Он гнал гусей теченью вопреки
От Урлютюпа к Усть-Каменогору...
Припомни же рябиновый закат,
Туман в ночи и шелест тополиный,
И старый дом, в котором ты звалась
Купеческою дочерью — Глафирой.

Припоминай же, как, поголубев,
Рассветом ранним окна леденели
И вразнобой кричали петухи
В глухих сенях, что пьяные бояре,
Как день вставал сквозною кисеей,
Иконами и самоварным солнцем,
Горячей медью тлели сундуки
И под ногами пели половицы...

Я знаю, молодость нам дорога
Воспоминаньем терпким и тяжелым,
Я сам сейчас почувствовал ее
Звериное дыханье за собою.

Ну что ж, пойдем по выжженным следам,
Ведь прошлое как старое кладбище.

Скажи же мне, который раз трава
Зеленой пеной здесь перекипала?

На древних плитах стерты письмена
Пургой, огнем, июньскими дождями,
И воткнут клен, как старомодный зонт,
У дорогой, у сгорбленной могилы!

А над Поречьем те же журавли,
Как двадцать лет назад, и то же небо,
И я, твой сын, и молод и суров
Веселой верой в новое бессмертье!

Пускай прижмется теплою щекой
К моим рукам твое воспоминанье,
Забытая и узнанная мать, —
Горька тоска... Горьки в полях полыни...

Но в тесных ульях зреет новый мед,
И такова извечная жестокость —
Всё то, что было дорого тебе,
Я на пути своем уничтожаю.

Мне так легко измять твою сирень,
Твой пыльный рай с расстроенной гитарой,
Мне так легко поверить, что живет
Грохочущее сердце мотоцикла!

Я не хочу у прошлого гостить —
Мне в путь пора. Пусть перелески мчатся
И синим льдом блистает магистраль,
Проложенная нами по курганам, —

Как ветер, прям наш непокорный путь.
Узнай же, мать поднявшегося сына, —
Ему дано восстать и победить.

1930 (?)

42. К МУЗЕ

Ты строй мне дом, но с окнами на запад,
Чтоб видно было море-океан,
Чтоб доносило ветром дальний запах
Матросских трубок, песни поморян.

Ты строй мне дом, но с окнами на запад,
Чтоб под окно к нам Индия пришла
В павлиньих перьях, на слоновых лапах,
Ее товары — золотая мгла.

Граненные веками зеркала...
Потребуй же, чтоб шла она на запад
И встретиться с варягами могла.
Гори светлей! Ты молода и в силе,
Возле тебя мне дышится легко.

Построй мне дом, чтоб окна запад пили,
Чтоб в нем играл заморский гость Садко
На гуслях мачт коммерческих флотилий!

1930 (?)

ПЕСНИ КИРГИЗ-КАЗАКОВ

43. ПЕСНЯ О ЛЕНИНЕ

Если всё обжорство волков
Соединить,
Если всю хитрость лисиц
Соединить,
Если всю злобу змей
Соединить, —
Всё же не получится
Обжорства,
Хитрости не получится,
Злобы не получится,
Какими обладают
Баи и муллы.

Баи ели жирных овец,
А нам — кости!
Баи пили айрам и кумыс,
Нам — опивки!
Муллы грязными ладонями
Закрывали нам глаза.
Мешали нам увидеть
Правду муллы.

Если всю горечь степей
Соединить,
Если всю озерную соль
Соединить,
То и всё же не получится
Горечи,
Которую испытали
Батраки.

Но пришел
К казахскому народу
Ленин,
Отец наш и учитель
Ленин.
Он сказал:
«Все работающие — братья,
Их враги — только баи и муллы».

И мы увидели солнце!

Если всю мудрость
Мудрейших соединить
И на число звезд это умножить,
То и всё же
Не получится мудрости
Великого Ленина!

Он сказал слова
Простые, как солнце,
Сияющее в небе.

Лучше б отняли
У каждого
Правую руку,
Лучше б у каждой
Матери
Умер первый сын,
Лучше б вовсе он не родился,
Чем услышать
Такую страшную весть!

Лучше б все песни
Вдруг замолчали
И больше никогда
Не начинались,
Лучше б чума пришла,
Чем узнать,
Что умер великий Ленин!

Нет, этого быть не может.
Это просто выдумки

Лживых баев и мулл —
Не может умереть
Наш Ленин.

Разве он решился бы
Уйти и оставить
Одинокими народы?..

Нет, жив Ленин,
И еще бессчетное
Множество раз — жив!

А если даже
И правда,
Что опустили его
В каменную могилу,
Всё равно
Хорошо нам
Слышно отсюда,
Как бьется его
Большое сердце.

Мы сплетем
Наши руки тружеников,
Мы сплетем
Наши пастушеские руки
И пронесем
Бессмертного Ленина
Туда, где
Не оскудевает свет...

44. РЫЖАЯ ГОЛОВА

В луне, наверно, будет сто пудов
Самого чистого серебра,
А все-таки летит над степью луна
Легче пуха от губ возлюбленной.

Сколько нежности в моем сердце,
Сколько тяжести в моей песне,

А все-таки песня летит легко,
Легче пуха от губ возлюбленной.

Я хочу спеть о том, что было...
Русские казаки ели жирных гусей
И нюхали цветы в своих садочках,
А нам было тяжело,
А мне было тяжело,
Как верблюду, несущему соль в рогоже.

Чьи озера у Павлодара? — Осипова [1].
Чьи друзья в городах? — Осипова.
Кто торгует крупой и ситцем? — Осипов.
Рыжий Осипов овладел нами.

Чьи озера у Павлодара? — Осипова.
Чьи друзья в городах? — Осипова.
Кто торгует крупой и ситцем? — Осипов.
А нам осталась одна песня.
Но листья опадали, как наши надежды,
Чтоб снова зазеленеть, опадали листья.
И скакали джигиты до Каркаралов,
И скакали джигиты до Акмолов,
До самого города Семипалатинска.
Поднятыми вверх нагайками
Приветствовали мы красных.
Женщины выходили в лучших чувлуках
И протягивали им пищу.

Осипову отрубили голову
И бросили в Иртыш.
Плыви, плыви, рыжая голова,
Мимо Павлодара,
Мимо Чернолучья,
К самому Омску!
Так будет лучше...
Радуемся мы.

Как же не петь нам и не радоваться?
Пастухи и бедняки едут с разных сторон,

---

[1] Павлодарский купец-миллионер, владелец всех соляных озер к востоку от Павлодара.

В колхозе все едят печеный хлеб
И работают дружно!

45. ПОДНЯВШЕЕСЯ СОЛНЦЕ

Хорошо, рассказывают, старики пели, —
Почему бы им плохо петь, в самом деле?
Только в Баян-Ауле,
Только в Қара-Джайтаках,
Только в Қаркаралах —
В каждом месте у певцов разный был обычай:
У одного жеребячий голос, у другого бычий,
А третий поет, как на душу мулла положит,
И лживою молитвою песню треножит.

Хорошо, рассказывают, старики пели, —
Почему бы им плохо петь, в самом деле?
Для них баевы кызы молоко доили,
Много они ели, а еще больше пили.
Родится у бая жеребенок —
Золотой жеребенок!
Ребенок родится — золото, а не ребенок!
Были они у бая самые первые гости,
Веселее побитого волка,
Жирнее высохшей кости.
Ай да певцы!
Ну и певцы!
Куда как старик распелся, —
«Азрак тратур!»
Но будем иметь к старшим больше почтенья,
Признаем за лучшее в степи их пенье.

Хорошо, рассказывают, аксакалы пели, —
Почему бы им плохо петь, в самом деле?
Домбра моя запечалилась, пора нам признаться:
Тебе, Амре, за беззубыми не угнаться.
Дед твой у бая батраком работал,
И тебе, Амре,
сгибать спину пришлось бы, поди-ка,
Да подоспели красные пики,
Да подоспели красные, горячие флаги,

Полные доблести и отваги!
Споем же песню, насколько уменье позволит,
А кто слушать не хочет — не будем неволить.
Вижу: поднимаются и уходят баи —
Отворите им двери, будьте вежливы!
Вижу: плюются и уходят баи —
До свиданья, кош, еще встретимся!..
До свиданья, Амильжан,
Посчитай последний раз своих баранов.
До свиданья, Джурабай,
Не забудь почитать перед сном Коран.
Слышу: хлопают мне товарищи,
В смуглые ладони ударяют товарищи,
В привычные к работе ладони гремят товарищи.
Красное солнце над степью —
ветреной быть заре.
Для вас, товарищи, песню поет байгуш Амре!..
А-а-а-а-а-а-а-ы-ы!

Если ехать отсюда степью — доедешь не скоро
До места, откуда увидишь синие горы,
Качающиеся в туманах холодною тенью,
Как в озере качается твое изображенье.
Роясь в травах ноздрями,
проходят бараньи гурты,
На пастбищах предгорья
мы круглые ставим юрты.
Здесь солончак не разбили конские копыта,
Целителен предгорий воздух,
от болезней защита.
Приезжали к казахам приказчики, говорили слово:
«Мы к вам посланы
от большого купца Жезлова.
Обнаружен в горах золотой песок —
добывать его надо..
Нанимайтесь, джигиты, —
хорошая будет награда!..»
И подкуплен мулла, и русскими бай запуган,
Остальные стоят,
переглядываются друг с другом.
А приказчики сахар показывают,
развернули ситцы:

«Это всё для того, кто гор не боится».
А баи говорят: «Надо ехать!»
А мулла говорит: «Укрепим храбрейших!»
Сотни нагаек набрали приказчики —
прощай, родной аул!
Холодный ветер, нехороший ветер,
темный ветер в горы потянул.
У купца Жезлова высокие сапоги,
на затылке волосы.
Охраняют нанятых строго «красные полосы»,
Работают нанятые, передохнуть не смея,
Половину деньгами получают,
половину — в зубы да в шею.
Какой щедрый купец Жезлов!
Не отступится он от своих слов.
Он заботится о работнике,
чтоб работник не сдох.
Хорошо помогли ему мулла, баи и сам бог.
Но еще хитрее, чем баи, купец и мулла,
Болезнь, которая средь казахов и пошла.
Ни одного из работающих
не осталось в живых.
Желтая болезнь,
Огненная болезнь,
Страшная болезнь сожрала их!

Вот какое печальное происшествие было на свете,
Но не грустите, собравшиеся,
не печальтесь этим!
Здравствуй, утренняя степь,
свежая, как мое детство!
Солнце поднявшееся, домбра моя, приветствуй!
Поднимается новое солнце над степью, —
Хлопайте, хлопайте, товарищи, в ладоши!
Гниет в степи простреленная башка Жезлова, —
Веселее, товарищи,
веселее хлопайте в ладоши!
Не удалось баям и купцу обмануть правду.
Крепче, крепче ударьте, товарищи, в ладоши!
Отнимем у кулаков всё,
передадим в колхозы, —
Гремите, ладони трудящихся!..

Здравствуй, утренняя степь,
свежая, как мое детство!
Солнце поднявшееся, домбра моя, приветствуй!
Мы прокладываем стальную дорогу к Туркестану,
И приветствовать гостя стального я тоже стану.
Так закончим же получше эту песню:
Да здравствует свободная
Казахская республика!

46. УЛЬКУН-ВОШЬ

(Веселая застольная песня)

Если только хозяин позволит,
Если только сыновья его позволят,
Если только гости его позволят,
Я могу об этом спеть.
Если только хозяин не разгневается,
Если только сыновья его меня не выгонят,
Если только гости его
Не помогут меня бить,
Я буду петь хорошо.
Пусть же у хозяина будет много сыновей
И еще больше будет гостей,
А верблюдов будет больше,
Чем гостей и сыновей вместе.
Что еще ему могу я пожелать?
Если то, что я пою, — неправда,
Пусть у меня отвалится третья рука,
Пусть у моей невесты выпадет борода,
Пусть оживет тот баран, которого мы съели.
Да если бы это и неправда была,
Кто меня в этом сможет уличить?
То, что делается на одном конце степи,
На другом конце степи знают понаслышке.
А то, что совсем там не делается,
Знают наверняка.

Хотела погубить казахский народ
Улькун-вошь.
Заползала в юрты
Улькун-вошь,

Кусалась больно
Улькун-вошь,
Ой-ой, как больно кусалась
Улькун-вошь!
По степи бежала Улькун-вошь,
как серый конь.
Кто побожится, что у нее не было копыт?
Кто утверждает, что она не съела овцу?
Кто вызовется вышибить ей зубы?
От нее терпел казахский народ беду,
От нее хирели самые жирные женщины,
Ее не принимал мулла в подарок.
Кто вызовется сломать ей рога?
Кто осмелится плюнуть ей в глаза?
Кто ее погладит против шерсти?
У кого она не сидит за пазухой?
Но вот нашелся такой джигит,
Превысивший свою собственную силу,
Перехитривший свою собственную хитрость,
Потерявший свой собственный малахай.
Он решил убить Улькун-вошь,
Он решил спасти от нее
Казахский народ.
Он решил заслужить себе благодарность
От всех испытывающих зуд.

Поддержим мудрое решенье!
Укрепим храбрейшего!
Будем спокойны.
Послушаем, что случится дальше.
А теперь угостите певца.
Петь тяжелее, чем слушать,
Слушать тяжелее, чем спать.
А вы до сих пор еще не уснули?
Я не буду пить кумыса —
Дайте выпью!
Я не буду есть мяса —
Дайте мяса!
Я не буду пробовать баурсаков —
Положите на ладонь!
Я не буду продолжать песню —
Слушайте дальше!

Поймал джигит на аркан
Улькун-вошь,
Повел джигит на аркане к озеру
Улькун-вошь,
К самому берегу повел
Улькун-вошь,
Начал в озере топить
Улькун-вошь,
Начала просить его Улькун-вошь:
«Оставь меня нюхать травы,
Я буду жевать одну полынь,
Я буду обходить юрты кругом!»
Начал джигит толкать ее сапогом,
Сбрасывать ее с высокого берега,
Связывать ее поясом,
Хлестать ее плеткой.
Тогда рассердилась
Улькун-вошь:
«Как ты смеешь заставлять меня
Прыгать в воду,
Как ты смеешь толкать меня в воду,
Когда сам
Не умывался еще ни разу?!»

47

Не говори, что верблюд некрасив, —
Погляди ему в глаза.
Не говори, что девушка нехороша, —
Загляни ей в душу.

48

Лучше иметь полный колодец воды,
Чем полный колодец рублей.
Но лучше иметь совсем пустой колодец,
Чем пустое сердце.

49

В том и заключается мудрость
мудрейшего —
Не смущаться ничем,
Целую зиму спокойно ожидать
Наступления лета.

50. ОХОТА С БЕРКУТАМИ

Ветер скачет по стране, и пыль
Вылетает из-под копыт.
Ветер скачет по степи, и никому
За быстроногим не уследить.

Но, как шибко он ни скакал бы,
Всё равно ему ни за что
Степь до края не перескакать,
Всю пустыню не пересечь.

Если он пройдет Павлодар
И в полы́нях здесь не запутается,
Если он взволнует Балхаш
И в рябой воде не утонет,
Если даже море Арал
Ему глаз камышом не выколет, —
Всё равно завязнут его копыта
В седых песках Кзыл-Куум! Ое-й!

Если в Иртыше человек утонет,
То его оплакивать остается.
Солнце ж множество множеств дней
Каждый день неизменно тонет,
Для того чтоб опять подняться
И сиять над нашею степью,
И сиять над каждой юртой
И над всем существующим сразу,
И сиять над нашей охотой!

Начинаем мы нашу охоту
Под рябым и широким небом,
Начинаем мы наш промысел

На степи, никем не измеренной.
Начинаем мы нашу погоню
Под высоким, как песня, солнцем,
Пусть сопутствуют нашей охоте
Ветер и удача совместно,
Пусть сопутствуют нашему промыслу
Еще раз удача и ветер,
Пусть помогут нашей погоне
Ветер, дующий на нас, и удача!

Так смотри же, молодой беркутенок,
Как нахохлился старый беркут,
Так смотрите, беркуты наши, зорко —
Вы охотники и мужчины!
Оба вы в цветных малахаях,
Остры ваши синие клювы,
Крепки ваши шумные крылья,
И хватаетесь вы когтями
За тяжелую плеть хозяина.

Так смотрите, беркуты наши, зорко —
Над полынями кружит коршун.
Вы не будьте ему подобны:
Не охотник он, а разбойник;
Лысый хан прожорливых сусликов
Беркутам нашим не товарищ!

Вон взметнулась наша добыча,
Длинная старая лисица,
Чернохребетная, огневая
И кривая на поворотах.
Вон, как огонь, она мчится быстро.
Не давайте огню потухнуть!
Горячите коней, охотники!
Окружайте ее, охотники!
Выпускайте беркутов в небо!

Мы забыли, где Каркаралы,
Мы забыли, где наш аул,
Мы забыли, где Павлодар.
Не четыре конца у степи, а восемь,
И не восемь, а сорок восемь,

И не столько, во много больше.
И летит молодой беркутенок
Малахаем, сброшенным с неба;
И проносится старый беркут,
Как кусок веселого дыма;
И проносимся все мы сразу —
Ветер, птицы, удача, всадники —
По курганам за рыжим пламенем.

Мы настигли свою добычу,
Мы поймали ее: лисица
Мчится с беркутом на загривке,
Мчится двадцать аршин и падает,
И ноздрями нюхает землю.

Ой, хорош молодой беркутенок!
Научил его старый беркут.
Эй, хорош ты, дующий ветер!
Ты помог нам выследить зверя.

И привязывают охотники
К поясу пламя рыжее.

51. ПЕСНЯ
О ТОРГОВЦАХ ЗВЕЗДАМИ И ДЖУРАБАЕ

Слушайте, слушайте песню эту,
Люди, сидящие на крышах!
Спешьтесь, всадники, если вы
Нас послушать остановились!
Слушай, слушай, заезжий гость,
Наш приятель из Упсырзага!

Бросьте, юноши, улыбаться.
Крепкие, белые ваши зубы
Девушкам лучше вы покажите,
Нечего, право, тут гордиться,
Если работаете в Павлодаре,

Если имеете бумажные деньги
И сапоги из хрустящей кожи,

И кошелек из душистой кожи,
И часы на длинной цепочке.

Нет, я не буду у вас выпрашивать
Ни бумажные ваши деньги,
Ни сапоги из хрустящей кожи,
Ни кошелек из кожи душистой.
Нет, и часов мне ваших не надо.
Я прошу одного вниманья
К песне этой — она вам подарок.

Есть такие соседние страны,
За Кзыл-Кумом — большие страны,
Где сады, как облако, белые
Оттого, что цветут там яблони;
Где растет шерсть не на баранах,
А на травах и на растеньях,
Очень тонкая шерсть и белая,
Очень ценная шерсть и мягкая;
Где ковры красят
Кровью сердца
И в черный чувлук закутываются.

Там жили недавно хитрые
Купцы-узбеки, далеко известные
Хитростью своей и торговлей.
И хитры они были настолько,
Что всего лишь и состояли:
Из глаз
Жадных, быстрых и шарящих,
Из рук с проворными пальцами
И кошелька в кармане.

Но и с хитрыми бывает несчастье,
И лиса в капкан попадает,
И мулла в дураках бывает,
И у бая не всё в порядке,
Если шлет Павлодар декреты.

И случилось такое дело:
Приезжали в Кзыл-Кум персы,
Купцы-персы, на птиц похожие,

Только с синими бородами.
Персы узбеков перехитрили,
Обманул
Купец — купца, шельма — шельму.
Персы дали узбекам в руки
Рваную шаль,
Персы дали им в руки
Пеструю шаль
И в придачу к ней восемь звезд.
И пока узбеки в небо смотрели,
Выбирали получше звезды,
Персы вытащили из кармана
У прославленных кошелек.
Были узбеки
Пристыжены этим,
Закричали купцам персидским:
«Вы собрали большую жатву,
Но еще мы к ней даже прибавим,
Если вы на восход уйдете.
Там есть город Семипалатинск,
Там есть город Каменногорский,
И живут там простые люди,
Называемые казахами.
Там торговле должны быть рады,
Только б звезд на небе хватило!»
Персы узбеков послушались быстро,
Приезжают в Семипалатинск,
А оттуда и по аулам
Торговать поехали персы.
Видят камни сначала персы,
После видят и кости персы,
И следы видят возле полыней,
А потом увидели сразу
На коне чернохвостом джигита.
Поравнялись персы с джигитом,
Говорят ему вежливо: «Здравствуй!
Как тебя называть прикажешь?
И куда ты дорогу держишь,
Нашим не будешь ли покупателем?»
Отвечает джигит им вежливо:
«Джурабаем звать меня, повстречавшиеся,
Ремесло у меня почетное:

Я преследователь кашкыров,
Золотопогонных и ненавистных.
Ремесло у меня похвальное:
Я ловец мохнатых тарантулов
С черным ядом и белым именем.
Еду я теперь в Семипалатинск,
Может, там теперь Джурабаю
Ремесло другое найдется.
А еще мне знать интересно,
Как мне вас называть прикажете?
И куда вы дорогу держите?
Чем торгуете в этой местности?»
Тут купцы ему заулыбались:
«Мы приехали, торговцы звездами,
Мы из Персии в степи прибыли.
Мы не будем цены запрашивать,
Не желаешь ли товара нашего?»
Джурабай рассмеялся весело,
И вся степь рассмеялась весело:
«Нет, не буду я покупателем,
Я и сам себе звезд достану!»
Он пришпорил коня чернохвостого,
Прыгнул в самое небо скакун его,
Чуть луну не разбил копытами.
И когда вновь купцы персидские
Джурабая в степи увидели,
На рукаве его была красная
Звезда была пятиконечная.
И с тех пор Джурабай комиссаром.

52—57. *САМОКЛАДКИ КАЗАХОВ СЕМИГЕ*

1

ПАРОХОД

Вот идет пароход по Иртышу.
В первый раз вижу такого гуся,
Краснолапого гуся.
Вот идет пароход по Иртышу,
Толстый, как купец на ярмарке,

Вот какой толстый.
Эй, если б мог полететь он,
Если б дать ему
Белые широкие крылья!
Он пролетел бы над степью,
Ни разу не опустившись.
Посмотрели бы мы на него
Из-под ладони.
Но никогда не полетит плавучий,
Хоть он и белый,
Хоть он и гусь.
А всё ж его, когда надо,
Удерживают на канатах.

2

Телеграф

К Семиге идут столбы,
Один за другим.
К Семиге шагают столбы,
Связанные железом.
Нет, не зазеленеют круглые бревна!
Мы едем в Павлодар,
А они шагают навстречу
В голой степи,
На ровном месте.
Почему они необходимы?
Может быть, затем,
Чтобы птицам было легче,
Чтобы птицы на них садились?
Но едва ли люди так жалостливы!
Может быть, затем
Они необходимы,
Чтобы не сбиться с дороги?
Но едва ли люди так вежливы!
Джок, джок,
Хитрая это штука
И придумана не напрасно.

3

ВЕДРА

На телеге везу я ведра,
Ведра железные и пустые.
Ой, какие они болтливые!
На телеге возил я
Мешки с мукой,
Толстые мешки и тяжелые —
Вот те были молчаливы.

4

МЕЛЬНИЦЫ

Деревянная мельница вертится —
Ничего в ней нет удивительного.
Крылья вертятся,
Чтобы камень вертелся
И пшеницу растирал,
Как ладонями.
А вот каменная мельница —
Дело другое:
В ней один шайтан разберется!

5

МИЛИЦИОНЕР

Если уж такой он нарядный,
Значит — ответственный.
Если оружие на ремне носит,
Значит — советская власть
. . . .
Ему доверяет.
Если так возвысился,
Значит — человек умный.
Пусть идет свататься —
Отдам дочку.

6

САБЛЯ

Я видел — она на стене висела
Острее всякого языка.

Ну, и выдумали ее напрасно:
Головы рубить — не заслуга.
Раз человека она губит,
Значит, она ему не подруга.
А он ее держит всегда в порядке,
Да еще как за женой ухаживает.

58. НАХОДКА НА БУХТАРМЕ

В песке и грязи речонки,
Далеко известной речонки Бухтармы,
Тяжелые кости,
Рыжие кости,
Длинные кости находили мы.

Из Актюбы приехал
На Бухтарму дуана
И сказал собравшимся:
«Видите, какова у костей длина!
Кто встречал другие,
Подобные им?
Каждую кость,
Любую кость
Не унести двоим!»

Продолжал говорить
Дуана из Актюбы:
«Я разгадку костей,
Этих ржавых костей, добыл.
Священные кости это —
Молиться надо!
Знаменитые кости —
Почитать их надо!
Кости великанов,
Но добрых, не злых,
Спляшем мы священную
Пляску на них».

И съезжались аулы
Смотреть на кости,
К первым богатырям
Приезжали гости.

Известие шло от Павлодара
До Баян-Аула, —
А потом и дальше
Известие повернуло.
И к воде бухтарминской,
К бухтарминской тине
Съезжались все,
И костры горели в долине.

Но вот из Омска
Прибыла экспедиция.
Говорит начальник экспедиции:
«Не молиться мы приехали —
Совсем за другим.
Из вязкой тины,
Глубокой тины
Добудем мы кости
И сохраним!
Приниматься за дело
Нужно скорей.
Это кости не богатырские,
А кости
Невиданных здесь зверей,
Дорогостоящие кости зверей,
Редкие кости зверей!»

Не уверены в правде начальника,
Казахи говорят: «Едва ли.
Мы подобных зверей
В степях не встречали,
Да, не встречали
Подобных зверей мы
На берегах речонки,
Далеко известной
Речонки Бухтармы».

Отвечает начальник:
«Теперь их нет,
Они перевелись уже
Множество множеств лет.
Ни один из них
Теперь не живет,
Их истребил

Лед,
Лед,
Лед!
Лед, сверкающий
На вершинах Алтая,
Здесь лежал, блестя
И не тая».

И аулы узнали,
Что не было богатырей,
Услыхали аулы,
Про дорогостоящих,
Невиданных,
Редких зверей.
Уваженьем прониклись
К начальнику экспедиции
И перестали молиться.

А дуана, испугавшись,
Чтоб с ним не случилось беды,
Вновь в Актюбы
Проложил следы.
И в сотый раз опозорена его седина:
Наврал, наврал седой дуана.
Так и выходит:
Наврал дуана,
Вот тебе и на!

Мы слыхали, что
Утешился он,
Сказки детям
Рассказывает он:
Будто бы уцелевшие
От льда,
Льда,
Льда
По ночам пробегают
Огромных зверей стада,
И под их
Косматыми лапами
Степь дрожит,
И наутро
Звездами,

Звездами,
Звездами солончак разбит.

Да и много еще чего
Рассказывает дуана —
Всем известна
Его языка длина.
Ну и пусть он детям
Сказки рассказывает!..

59. ПЕСНЯ О СЕРКЕ

Была девушка
Белая, как гусь,
Плавная, как гусь на воде.
Была девушка
С глазами как ночь,
Нежными, как небо
Перед зарей;
С бровями тоньше,
Чем стрела,
Догоняющая зверя;
С пальцами легче,
Чем первый снег,
Трогающий лицо.
Была девушка
С нравом тарантула,
Старого, мохнатого,
Жалящего ни за что.

А джигит Серке
Только что и имел:
Сердце, стучащее нараспев,
Пояс, украшенный серебром,
Длинную дудку,
Готовую запеть,
Да еще большую любовь.
Вот и всё,
Что имел Серке.
А разве этого мало?

К девушке гордой
Пришел Серке,

Говорит ей:
«Будь женой моей, ладно?»
А она отвечает: «Нет,
Не буду твоей женой,
Не ладно.
Ты достань мне,
Серке, два камня
В уши продеть,
Два камня
Желтых, как глаза у кошки,
Чтоб и ночью они горели.
Тогда в юрту к тебе пойду я,
Тогда буду женой твоей,
Тогда — ладно».

Повернулся Серке, заплакал,
Пошел от нее, шатаясь,
Пошел от нее, согнувшись,
Со змеею за шиворотом.
Целый день шел Серке,
Не останавливался.
И второй день шел,
Не останавливался.
А на третьей заре
Блестит вода,
Широкая вода,
Светлая вода —
Аю-Куль.
Сел Серке на камень
У озера,
У широкого камышового
Озера,
И слезы капают на песок.
Сердце Серке бьется нараспев,
Согреваемое любовью.
Вынул Серке длинную дудку
Из-за пояса серебряного,
Заиграл Серке на дудке.
И когда Серке кончил,
Позади кто-то мяукнул.

Повернулся джигит —
Позади его старая,

Позади его дикая,
Круглоглазая кошка сидит.
Стал Серке понятен
Кошачий язык.
Дикая кошка ему говорит:
«Что ты так плачешь,
Певец известнейший? ..»
Ей свою беду Серке
Рассказывает
И к сказанному прибавляет:
«Я напрасно теряю время.
Дикая, исхудавшая кошка,
Облезлая, черная кошка,
Ты мне не поможешь...
Мне камней,
Светящихся ночью,
Не достать, осмеянному!»
Тихо кошка
К Серке приблизилась,
И потерлась дикая кошка
О пайпаки мордой розовой,
Промяукав: «Кош, ай-налайн», —
В камышах колючих скрылась.

А джигит под ноги глядит —
Не верит:
Перед ним два глаза кошачьих
Светлых, два желтых камня,
Негаснущих, ярких.
Закричал Серке:
«Эй, кошка,
Дикая кошка, откликнись!
Ты погибнешь здесь, слепая, —
Как ты будешь
На мышей охотиться?»
Но молчало озеро,
Камыши молчали,
Как молчали они вначале.

Еще раз закричал Серке:
«Эй, кошка,
Ласковая кошка, довольно,
Прыгни сюда! Мне страшно, —

Глаза твои жгут мне ладони!»
Но молчало озеро,
А камыши стали
Еще тише,
Чем были они вначале.

И пошел Серке обратно
Каменной твердой дорогой.
Кружились над ним коршуны,
Лисицы по степи бегали,
Но он шел успокоенный,
Потому что знал, что делать.
Девушке
Белой, как гусь,
Плавной, как гусь на воде,
С нравом как у тарантула,
Прицепил он
На уши камни —
Кошачьи глаза,
Которые смотрят.
Он сказал:
«Они не погаснут,
Не бойся, и днем и ночью
Будут эти камни светиться,
Никуда ты с ними не скроешься! . .»

Если ты, приятель, ночью встретил
Бегущие по степи огни,
Значит, видел ты безумную,
Укрывающуюся от людей.
А Серке казахи встречали
И рассказывают, что прямо,
Не оглядываясь, он проходит
И поет последнюю песню,
На плече у него
Сидит кошка,
Старая, дикая кошка,
Безглазая. . .

60—63. *ПАВЛОДАРСКИЕ САМОКЛАДКИ*

1

АВТОМОБИЛИ

Спрашивала
Меня девочка:
«Правда ли,
Что возле Омска-города
На колесах
Звери бегают?»
Отвечал я
С усмешкой девочке,
Потому что
Всё понимаю:
«Нет, это не звери,
Это автомобили.
Они проносятся,
Словно птицы,
С людьми на загривке,
Даже мы с тобой
Можем покататься...»

2

МАГАЗИН ДЕРОВА

Еду я на бочке с водой,
Вода в бочке булькает,
Как у человека
В брюхе.
Проезжаю я мимо
Магазина Дерова,
Знаменитейшего
Купца Дерова.
Видишь, как всё
Переменилось.
Теперь в магазине Дерова
Интересную
На стене историю
Показывают,
Световую историю
Показывают
О «Броненосце „Потемкине“».

8

ЦЕРКОВЬ

Посредине площади,
Круглой, как тарелка,
Которую вылизали,
Церковь
Купцы построили.
Ну, и что ж получилось?
Кресты с церкви
Спорхнули,
Железо с нее
Содрали,
Каменный клуб
Сделали.
Шайтан с нею,
С церковью!
Хорошо, что красные
Висят на стенах
Плакаты.

4

БУМАГА С ПЕЧАТЯМИ

Эй, дайте мне сегодня дорогу,
Сделайте услугу!
Ничего не могу я
От радости
Разобрать.
Лежит у меня
За пазухой бумажка
С круглыми печатями,
Которая предписывает
Меня грамоте
Обучать.

64. ОБИДА

Я — сначала — к подруге пришел
И сказал ей:
«Всё хорошо,
Я люблю лишь одну тебя,

Остальное всё — чепуха».
Отвечала подруга:
«Нет,
Я люблю сразу двух, и трех,
И тебя могу полюбить,
Если хочешь четвертым быть».
Я сказал тогда:
«Хорошо,
Я прощаю тебе всех трех,
И еще пятнадцать прощу,
Если первым меня возьмешь».
Рассмеялась подруга:
«Нет,
Слишком жадны твои глаза,
Научись сначала, мой друг,
По-собачьи за мной ходить».
Я ответил ей:
«Хорошо,
Я согласен собакой быть,
Но позволь, подруга, тогда
По-собачьи тебя любить».
Отвернулась подруга:
«Нет,
Слишком ты тороплив, мой друг,
Ты сначала вой на луну,
Чтобы было приятно мне!»
— «Привередница, — хорошо!»
Я ушел от нее в слезах,
И любил
Девок двух, и трех,
А потом пятнадцать еще.
И пришла подруга ко мне,
И сказала:
«Всё хорошо,
Я люблю одного тебя,
Остальные же — чепуха...»
Грустно сделалось
Мне тогда.
Нет, подумал я, никогда, —
Чтоб могла
От обидных слов
По-собачьи завыть душа!

65. ПЫЛЬ

Я, Амре Айтаков, весел был,
Шел с верблюдом я в Караганды.
Шел с верблюдом я в Караганды,
Повстречался ветер мне в степи.
Я его не видел —
Только пыль,
Я его не слышал —
Только пыль
Прыгала безглазая в траве.
И подумал я, что умирать
С криком бесполезно. Всё равно
После смерти будет
Только пыль.
Ничего, —
Одна лишь только пыль
Будет прыгать, белая, в траве.
Спрятал ноздри рваные верблюд,
Лег на землю.
«Старый мой верблюд,
Слушай, слушай!
Это только пыль,
Ничего, —
Одна лишь только пыль
Прыгает по спутанной траве».
Стал я громко хохотать:
«Ну что ж? . .»
Стал смеяться дерзко я:
«Постой,
Ты смешна,
Крутящаяся пыль,
Не страшна ты,
Бешеная пыль,
Прыгающая в траве».
Пусть засыпан буду я песком,
Пусть один погибну я в песках,
Не страшна ты и безвредна, пыль.
Ничего
Ты не изменишь, пыль,
Задохнешься
Ты сама в траве!

Человек бессмертен столько раз,
Сколько раз
Он смерть свою встречал.
Сквозь тебя
Пройду я мертвым, пыль,
Я пройду в Караганды сквозь пыль,
Весело ступая по траве.
И, свою подругу там обняв,
Я шепну ей на ухо смеясь:
«Дорогая,
Мне встречалась пыль,
Старая,
Невидящая пыль,
Прыгающая смешно».

66. ВСАДНИКИ

Белые, рыжие и гнедые
Вьюги кружатся по степи,
Самые знатные скакуны
На сабантуе
Грызут удила.
Всадники, приготовьтесь!
Состязаются Куянды,
Павлодар и Каркаралы.
У собравшихся
На сабантуй
Рты разинуты и глаза.
Всадники, приготовьтесь!
Мы увидим сейчас,
Сейчас узнаем мы,
Кто останется
Победителем.
Припасен мешок с серебром.
Всадники, приготовьтесь!
Вот вы уже начали,
Кони, словно нагайки,
Вытянулись на бегу.
Всадники, побеждайте!

67—70. *САМОКЛАДКИ КАЗАХОВ КЗЫЛ-ОРДЫ*

1

БАЗАР

В Кзыл-Орде базар начинается:
О ноже тоскуют длинные дыни,
О зубах тоскуют круглые арбузы.
Продаются здесь и малахаи,
Подбитые лисою малахаи.
Толпятся кругом ишаки и верблюды,
Громко люди рядятся,
Словно жизнь выторговывают.
А безглазые нищие
Поют и качаются,
Поют и качаются,
Вытягивая шеи.

2

ЛОДКИ НА АРАЛЕ

Вот и море Арал известное,
Синее,
Как порох на ладони.
Кайда барасен,
Кайда барасен?
Куда поехали,
Крылатые лодки?
Знаю, знаю,
Обратно вы возвратитесь
Полные добычи,
Попавшейся в сети.
С такими лодками еще бы
Не выловить
Из Арала рыбу!
Ишь, какую пену
Они поднимают!

3

БАСМАЧИ

Какие они воины!
Просто разбойники,
Просто сильные волки,
За которыми
Охотиться надо.
Труженикам, труженикам
Горло они
Перегрызают.
Это ли не волчья привычка?
Вот я по Аралу еду,
А путь небезопасен,
Рабочая книжка
За пазухой
У меня спрятана,
Но для волков
Кзыл-Кума
Я ее уничтожаю.
Погодите, кашкыры,
Погодите, разбойники,
Мы вас окружим,
Свяжем, —
Будете вы за решеткой
Видеть кусок неба.

4

ПЛОВ

Рис и баранье сало —
Вот это кушанье!
Рис и баранье сало —
А изволь их есть вилкой.
Рис и баранье сало —
Как тут
Не схватить руками?
Рис и баранье сало,
Да к ним фруктовую воду!

71. ЛИХОРАДКА

Мы на пастбищах
Близ Семиге стояли
И ночами
Не кутались
В одеяла —
Травы были высоки.
Мы сидели
Ночами:
Мы стада пасли,
Погоняли бичами.
Курт и баурсаки —
Вот всё, что имели.
А рядом
На тонких дудках
Комариные стаи пели.
Под Семиге
Овец пасли мы
В долине.
Но во рту
Стало холодно,
Как от чарджуйской дыни.
Стали руки наши
Ленивы,
Стали пахнуть медом
Лошадиные гривы.
А потом
Еще холоднее стало.
Нет ни кошмы у нас,
Ни одеяла.
Показалось небо нам
Снеговым и белым.
Мы сидели
На корточках
И тряслись всем телом.
А потом
И дышать
Нам стало нечем.
Как у коршунов,
Согнуты
Наши плечи.

Жарко, жарко,
Жарко нам стало.
Не надо
Ни войлока, ни одеяла.
Забыли следить мы
За табунами.
Так лихорадка
Забавлялась нами.
Да, забыли мы думать
Об одеяле!
Горькую полынь
Зубами жевали —
Тощими, бледными стали!
Стыдно
Подойти к людям.
Никогда мы
Долины под Семиге
Не забудем!
Никогда не забудем
Лихорадку,
Грохочущую в ушах!

1929—1931

---

72. ПУТИННАЯ ВЕСНА

Так, взрывая вздыбленные льды,
Начиналась ты.
И по низовью,
Что дурной, нахлынувшею кровью,
Захлебнулась теменью воды.

Так ревела ты, захолодев,
Глоткой перерезанною бычьей,
Нарастал подкошенный припев —
Ветер твой, твой парусный обычай!

Твой обычай парусный! Твой крик!
За собой пустыни расстилая,
Ты гремела,

Талая и злая,
Ледяными глыбами вериг.

Не твои ли взбухнувшие ливни
Разрывали зимнее рядно?
Осетры, тяжелые как бивни,
Плещутся
И падают на дно.

Чайки,
        снег
                и звезды над разливом,
Астрахань,
                просторы,
                        промысла...
Ты теченьем черным и пугливым
Оперенье пены понесла!..

Смяв и сжав
Глухие расстоянья,
Поднималась ты — проста, ясна.
Так в права вошли: соревнованье,
Темпы, половодье и весна.

⟨1931⟩

73. СДАЧА САБЛИ В 1920 ГОДУ

Ты, сабля, ходила со мной туда,
Куда меня заносило.
За это, сабля, рука моя
До звезд тебя заносила.
Тепла и крепка рукоять, и ты
В хорошие руки попала.
Ты твердо знала дело свое —
Рубила куда попало.
Заклятья нашептывали над тобой,
Но все наговоры ложны, —
Не дьявол тебя, а мастер кривой
Оттачивал осторожно.
Ты вышла блестяща и холодна,
С отцом не могла проститься,

А он распахнул для тебя простор
И выпустил, словно птицу.
Полковники грызли седые усы,
Но ты не была им рада, —
Ты ножны свои покидала лишь
На полковых парадах.
Не знаю — думала ты иль нет
Увидеть судьбу иную.
Какой-то чудак держал на стене
Красавицу боевую.
Надолго, надолго, сабля, ты
Забыла свое искусство, —
Попав в ладони сельских дев,
Сплеча рубила капусту.
И всё ж не напрасно столько лет
Держали нас в черном теле, —
Когда мы с разных сторон сошлись,
Мы звонче за это пели.
Подруга меня обманет с другим,
Лишь только я хлопну дверью,
Но ты неподкупно закалена,
И я в тебя больше верю.
Мы твердо знали дело свое,
И ты хорошо взлетала,
Когда революция нам с тобой
Вперед идти приказала.
Пять лет, грядущих в теле твоем, —
Пять вечностей тифа и странствий.
На всех рысях прошел эскадрон
Через века и пространства.
Дороги Конной — ветра прямей,
Покрыты бессмертной славой.
Тебя видали под Сивашом,
Под Киевом и Варшавой.
Но, видишь, время пришло, и мы
Расстаться должны с тобою,
Ты первый раз за дружбу свою,
Подруга, сдана без боя.
Смешавшись с сотней сестер своих,
Уйдешь от меня надолго,
Раз так суждено! И наши тела
Не взяли ни Висла, ни Волга.

Но если надо, сразу найду
Тебя, — не бойся. И если надо,
Умрем за Республику мы. И нам
Лучшая будет это награда.

⟨1931⟩

74. ПАВЛОДАР

Сердечный мой,
Мне говор твой знаком.
Я о тебе припомнил, как о брате,
Вспоенный полносочным молоком
Твоих коров, мычащих на закате.
Я вижу их, — они идут, пыля,
Склонив рога, раскачивая вымя.
И кланяются низко тополя,
Калитки раскрывая перед ними.
И улицы!
Все в листьях, все в пыли.
Прислушайся, припомни — не вчера ли
По Троицкой мы с песнями прошли
И в прятки на Потанинской играли?
Не здесь ли, раздвигая камыши,
Почуяв одичавшую свободу,
Ныряли, как тяжелые ковши,
Рябые утки в утреннюю воду?
Так ветренен был облак надо мной,
И дни летели, ветреные сами.
Играло детство с легкою волной,
Вперясь в нее пытливыми глазами.
Я вырос парнем с медью в волосах.
И вот настало время для элегий:
Я уезжал. И прыгали в овсах
Костистые и хриплые телеги.
Да, мне тогда хотелось сгоряча
(Я по-другому жить
И думать мог ли?),
Чтоб жерди разлетелись, грохоча,
Колеса — в кат, и лошади издохли!
И вот я вновь

Нашел в тебе приют,
Мой Павлодар, мой город ястребиный.
Зажмурь глаза — по сердцу пробегут
Июльский гул и лепет сентябриный.
Амбары, палисадник, старый дом
В черемухе,
Приречных ветров шалость, —
Как ни стараюсь высмотреть — кругом
Как будто всё по-прежнему осталось.
Цветет герань
В расхлопнутом окне,
И даль маячит старой колокольней.
Но не дает остановиться мне
Пшеницын Юрий, мой товарищ школьный.
Мы вызубрили дружбу с ним давно,
Мы спаяны большим воспоминаньем,
Похожим на безумье и вино...
Мы думать никогда не перестанем,
Что лучшая
Давно прошла пора,
Когда собаку мы с ним чли за тигра,
Ведя вдвоем средь скотного двора
Веселые охотницкие игры.
Что прошлое!
Его уж нет в живых.
Мы возмужали, выросли под бурей
Гражданских войн.
Пусть этот вечер тих, —
Строительство окраин городских
Мне с важностью
Показывает Юрий.
Он говорит: «Внимательней взгляни,
Иная жизнь грохочет перед нами,
Ведь раньше здесь
Лишь мельницы одни
Махали деревянными руками.
Но мельники все прокляли завод,
Советское, антихристово чудо.
Через неделю первых в этот год
Стальных коней
Мы выпустим отсюда!»
...С лугов приречных

Льется ветр звеня,
И в сердце вновь
Чувств песенная за́мять...
А, это теплой
Мордою коня
Меня опять
В плечо толкает память!
Так для нее я приготовил кнут —
Хлещи ее по морде домоседской,
По отроческой, юношеской, детской!
Бей, бей ее, как непокорных бьют!
Пусть взорван шорох прежней тишины
И далеки приятельские лица, —
С промышленными нуждами страны
Поэзия должна теперь сдружиться.
И я смотрю,
Как в пламени зари,
Под облачною высотою,
Полынные родные пустыри
Завод одел железною листвою.

⟨1931⟩

75. ВЕРБЛЮД

Виктору Уфимцеву

Захлебываясь пеной слюдяной,
Он слушает, кочевничий и вьюжий,
Тревожный свист осатаневшей стужи,
И азиатский, туркестанский зной
Отяжелел в глазах его верблюжьих.

Солончаковой степью осужден
Таскать горбы и беспокойных жен,
И впитывать костров полынный запах,
И стлать следов запутанную нить,
И бубенцы пустяшные носить
На осторожных и косматых лапах.

Но приглядись, — в глазах его туман
Раздумья и величья долгих странствий...

Что ищет он в раскинутом пространстве,
Состарившийся, хмурый богдыхан?

О чем он думает, надбровья сдвинув туже?
Какие мекки, древний, посетил?
Цветет бурьян. И одиноко кружат
Четыре коршуна над плитами могил.

На лицах медь чеканного загара,
Ковром пустынь разостлана трава,
И солнцем выжжена мятежная Хива,
И шелестят бухарские базары...

Хитра рука, сурова мудрость мулл, —
И вот опять над городом блеснул
Ущербный полумесяц минаретов
Сквозь решето огней, теней и светов.

Немеркнущая, ветреная синь
Глухих озер. И пряный холод дынь,
И щит владык, и гром ударов мерных
Гаремным пляскам, смерти, песне в такт,
И высоко подъяты на шестах
Отрубленные головы неверных!

Проказа шла по воспаленным лбам,
Шла кавалерия
Сквозь серый цвет пехоты, —
На всем скаку хлестали по горбам
Отстегнутые ленты пулемета.

Бессонна жадность деспотов Хивы,
Прошелестят бухарские базары...
Но на буграх лохматой головы
Тяжелые ладони комиссара.

Приказ. Поход. И пулемет, стуча
На бездорожье сбившихся разведок,
В цветном песке воинственного бреда
Отыскивает шашку басмача.

Луна. Палатки. Выстрелы. И снова
Медлительные крики часового.

Шли, падали и снова шли вперед,
Подняв штыки, в чехлы укрыв знамена,
Бессонницей красноармейских рот
И краснозвездной песней батальонов.

...Так он, скосив тяжелые глаза,
Глядит на мир, торжественный и строгий,
Распутывая старые дороги,
Которые когда-то завязал.

(1931)

76. ПРОВИНЦИЯ-ПЕРИФЕРИЯ

Я знал тебя от ржавых плотин
И до скобы железной,
До самых купецких рябых полтин, —
Губернский город Семипалатинск
И Павлодар уездный.

Провинция!
Ты растопила воск
Свечей церковных. И непрестанно
Спивались на Троицын праздник в лоск
Все три отдела казацких войск
От Омска и до Зайсана.

И смертно Васильев Корнила Ильич,
Простой, как его фамилия,
Хлестал огневик, багровел, как кирпич,
Он пил — тоски не в силах постичь,
И все остальные — пили.

Корнила Ильич, урони на грудь
Башку! Ты судьбе не потрафил.
Здесь начат был и окончен путь,
Здесь кончен был безызвестный путь
Блистательных биографий!

Но если, как в окна весенний дождь,
Кровь шибко в висок ударит,
Кромешная кровь и шальная... Что ж,

Тогда хоть цепями память стреножь,
А вспомнишь о Павлодаре.

Речные гудки, иртышский плес
И тополь в одежде рваной. . .
Я помню твой белогрудый рост,
Гусиные лапы твоих колес,
Твой рев, «Андрей Первозванный».

Провинция, я прошел босиком
От края до края тебя — и вижу. . .
Пусть ты мне давала семью и дом,
Кормила меня своим молоком, —
Я всё же тебя ненавижу.

Но эта ненависть свежих кровей,
Которой — не остановиться!
Горячие рельсы в пыльной траве!
Гляди: слетели кресты с церквей,
Как золотые птицы.

Но это щебень ржавых плотин
Под вьюгой веселой и грозной,
Где друг против друга — как один —
Промышленный город Семипалати́нск
И Павлодар колхозный.

Навстречу ветру распахнута грудь,
Никто судьбе не потрафит,
Здесь начат стремительный,
Звонкий путь —
И здесь продолжается твердый путь
Блистательных биографий.

Сограждане, песню я вам отдам,
Асанов, Пшеницын и токарь Нетке,
Чтоб дружба наша была тверда,
Герои строительства и труда,
Ударники пятилетки!

И пусть на висках отцов седина
И дали дымят сырые. . .
Раскинута фронтом сплошным страна,

Эти стихи посвящаются тебе. Написал, когда ехал на Арал.

И имя твое словно старая песня
Приходит ко мне. Кто его запретит?
Кто его перескажет? Мне скучно и тесно
В этом мире уютном, где тщетно горит
В керосиновых лампах огонь Прометея —
Опаленными перьями фитилей...
Подойди же ко мне. Наклонись. Пожалей!
У меня ли на сердце пустая затея,
У меня ли на сердце полынь да песок
Да отринутые ветры!
Послушай, подруга,
Полюби хоть на вьюгу, на этот часок,
Я к тебе приближаюсь. Ты может быть с юга.
Выпускай же на волю своих лебедей!
— Красно солнышко падает в синее море
И —
за пазухой прячется ножик-злодей
И —
голодной собакой шатается горе.
Если все, как раскрытые карты, я сам
На сегодня поверю — сквозь вихри разбега
Рассыпаясь летят по твоим волосам
Вифлеемские звезды российского снега.

Вот все. Пусечка по существу. Важно не это, важно то, что мы скоро встретимся. Жду этой встречи с нетерпением. Целую.
Павел.

И нет провинции, есть одна
Грохочущая периферия!

‹1931›

77

И имя твое, словно старая песня,
Приходит ко мне. Кто ее запретит?
Кто ее перескажет? Мне скучно и тесно
В этом мире уютном, где тщетно горит
В керосиновых лампах огонь Прометея —
Опаленными перьями фитилей. . .
Подойди же ко мне. Наклонись. Пожалей!
У меня ли на сердце пустая затея,
У меня ли на сердце полынь да песок,
Да охрипшие ветры!
Послушай, подруга,
Полюби хоть на вьюгу, на этот часок,
Я к тебе приближаюсь. Ты, может быть, с юга.
Выпускай же на волю своих лебедей, —
Красно солнышко падает в синее море
И —
за пазухой прячется ножик-злодей,
И —
голодной собакой шатается горе. . .
Если всё как раскрытые карты, я сам
На сегодня поверю — сквозь вихри разбега,
Рассыпаясь, летят по твоим волосам
Вифлеемские звезды российского снега.

Ноябрь 1931

78. СЕМИПАЛАТИНСК

Полдня июльского тяжеловесней,
Ветра легче — припоминай, —
Шли за стадами аулов песни
Мертвой дорогой на Кустанай.

Зноем взятый и сжатый стужей,
В камне, песках и воде рябой,

Семипалатинск, город верблюжий,
Коршуны плавают над тобой.

Здесь, на грани твоей пустыни,
Нежна полынь, синева чиста.
Упала в иртышскую зыбь и стынет
Верблюжья тень твоего моста.

И той же шерстью, верблюжьей, грубой,
Вьется трава у конских копыт.
— Скажи мне, приятель розовогубый,
На счастье ли мной солончак разбит?

Висит казахстанское небо прочно,
И только Алтай покрыт сединой.
— На счастье ль, все карты спутав нарочно,
Судьба наугад козыряет мной?

Нам путь преграждают ржавые груды
Камней. И хотя бы один листок!
И снова, снова идут верблюды
На север, на запад и на восток.

Горьки озера! Навстречу зною
Тяжелой кошмой развернута мгла,
Но соль ледовитою белизною
Нам сердце высушила и сожгла.

— Скажи, не могло ль всё это присниться?
Кто кочевал по этим местам?
Приятель, скажи мне, какие птицы
С добычей в клюве взлетают там?

Круги коршунья смыкаются туже,
Камень гремит под взмахом подков.
Семипалатинск, город верблюжий,
Ты поднимаешься из песков!

Горячие песни за табунами
Идут по барханам на Ай-Булак,
И здорово жизнь козыряет нами,
Ребятами крепкими, как свежак.

И здорово жизнь ударяет метко, —
Семипалатинск, — лучше ответь!
Мы первую железнодорожную ветку
Дарим тебе, как зеленую ветвь.

Здесь долго ждали улыбок наших, —
Прямая дорога всегда права.
Мы пьем кумыс из широких чашек
И помним: так пахла в степях трава.

Кочевники с нами пьют под навесом,
И в меру закат спокоен и ал,
Меж тем как под первым червонным экспрессом
Мост первою радостью затрепетал.

Меж тем как с длинным, верблюжьим ревом
Город оглядывается назад. . .
Но мы тебя сделаем трижды новым,
Старый город Семи Палат!

1931

79. К ПОРТРЕТУ СТЕПАНА РАДАЛОВА

Кузнец тебя выковал и пустил
По свету гулять таким,
И мы с удивленьем теперь тебе
В лицо рябое глядим.

Ты встал и, смеясь чуть-чуть, напролом
Сквозь тесный строй городьбы
Прошел стремительный, как топор
В руках плечистой судьбы.

Ты мчал командармом вьюг и побед,
Обласкан огнем и пургой,
Остались следы твоего коня
Под Омском и под Ургой.

И если глаза сощурить — взойдет
Туман дымовых завес,

Голодные роты идут, поют,
Со штыками наперевес.

И если глаза сощурить — опять
Полыни, тайга и лед,
И встанет закат, и Омск падет,
И Владивосток падет.

Ты вновь поднимаешь знамя, ты вновь
На взмыленном Воронке,
И звонкою кровью течет заря
На занесенном клинке.

Полтысячи острых, крутых копыт
Взлетают, преграды сбив,
Проносят кони твоих солдат
Косматые птицы грив.

И этот высокий, крепкий закал
Ты выдержал до конца, —
Сын трех революций, сын всей страны,
Сын прачки и кузнеца!

Едва ли, едва ли... Нет, никогда!
На прошлом поставлен крест.
Как раньше вел эскадроны — теперь
Ведешь в наступленье трест.

Смеются глаза. И твоей руки
Верней не бывало и нет.
И крепко знают солдаты твои
Тебя, командарм побед.

1931

80. ГОРОД СЕРАФИМА ДАГАЕВА

Старый горбатый город — щебень и синева,
Свернута у подсолнуха рыжая голова,
Свесилась у подсолнуха мертвая голова, —
Улица Павлодарская, дом номер сорок два.
С пестрой дуги сорвется колоколец, бренча,
Красный кирпич базара, церковь и каланча,
Красен кирпич базара, цапля — не каланча,

Лошади на пароме слушают свист бича.
Пес на крыльце парадном, ласковый и косой,
Верочка Иванова, вежливая, с косой,
Девушка-горожанка с нерасплетенной косой,
Над Иртышом зеленым чаек полет косой.
Верочка Иванова с туфлями на каблуках,
И педагог-словесник с удочками в руках.
Тих педагог-словесник с удилищем в руках,
Небо в гусиных стаях, в медленных облаках.
Дыни в глухом и жарком обмороке лежат,
Каждая дыня копит золото и аромат,
Каждая дыня цедит золото и аромат,
Каждый арбуз покладист, сладок и полосат.
Это ли наша родина, молодость, отчий кров, —
Улица Павлодарская — восемьдесят дворов?
Улица Павлодарская — восемьдесят дворов,
Сонные водовозы, утренний мык коров.
В каждом окне соседском тусклый зрачок огня.
Что ж, Серафим Дагаев, слышишь ли ты меня?
Что ж, Серафим Дагаев, слушай теперь меня:
Остановились руки ярмарочных менял.
И, засияв крестами в синей, как ночь, пыли,
Восемь церквей купеческих сдвинулись и пошли,
Восемь церквей, шатаясь, сдвинулись и пошли —
В бурю, в грозу, в распутицу, в золото, в ковыли.
Пики остры у конников, память пики острей:
В старый, горбатый город грохнули из батарей.
Гулко ворвался в город круглый гром батарей,
Баржи и пароходы сорваны с якорей.
Посередине площади, не повернув назад,
Кони встают, как памятники,
Рушатся и хрипят!
Кони встают, как памятники,
С пулей в боку хрипят.
С ясного неба сыплется крупный свинцовый град.
Вот она, наша молодость — ветер и штык седой,
И над веселой бровью шлем с широкой звездой,
Шлем над веселой бровью с красноармейской
звездой,
Списки военкомата и снежок молодой.
Рыжий буран пожара, пепел пустив, потух,
С гаубицы разбитой зори кричит петух,

Громко кричит над миром, крылья раскрыв, петух,
Клювом впиваясь в небо и рассыпая пух.
То, что раньше теряли, — с песнями возвратим,
Песни поют товарищи, слышишь ли, Серафим?
Громко поют товарищи, слушай же, Серафим, —
Воздух вдохни — железом пахнет сегодня дым.
Вот она, наша молодость, — поднята до утра,
Улица Пятой Армии, солнце. Гудок. Пора!
Поднято до рассвета солнце. Гудок. Пора!
И на местах инженеры, техники, мастера.
Зданья встают, как памятники, не повернув назад.
Выжженный белозубый смех ударных бригад,
Крепкий и белозубый смех ударных бригад, —
Транспорт хлопка и шерсти послан на Ленинград.
Вот она, наша родина, с ветреной синевой,
Древние раны площади стянуты мостовой,
В камень одеты площади, рельсы на мостовой.
Статен, плечист и светел утренний город твой!

1931

81. ПЕСНЯ ГЕРМАНСКИХ РАБОЧИХ

Хватит в речную тростинку
Дуть,
Нынче у песен далекий
Путь.
Нынче у песни пути
Далеки,
Песня выравнивает
Штыки.
С саблею наголо их
Ведет,
Громко приказывает:
«Вперед!»
А перед нею веселый
Мир,
А перед нею жестокий
Мир,
Мир, подставивший пулям
Грудь. . .

Хватит в речную тростинку
Дуть!

Там на Рейне цветут
Сады,
Тихо блестят
Штыки.
Там оставят свои
Следы
Кони и броневики.
Там в подвалах сырых живет
Старое
Рейнское вино.
И ему уж пришел черед
Выбить у бочек
Дно.

Слышу я доблестный марш —
Туда!
Марш последний. А там
Вилы в деревнях
Точит беда,
Ходит по городам!
Там на Рейне
Сады
Цветут,
Там нас друзья
И победы
Ждут.

Бродит и выбьет у бочек
Дно
Старое рейнское
Вино.

Там нас ждет!.. —
О нет, не война, —
Ждет нас, без лишних слов,
Наша, наша страна! Страна
Розы,
Карла
И соловьев!
Там в подвалах сырых живет

Старое
Рейнское вино,
И вину уж пришел черед
Выбить у бочек
Дно.

Слышу я доблестный марш, —
Туда!
Марш последний. А там
Вилы в деревне
Точит беда,
Ходит по городам!
Там на Рейне
Сады
Цветут,
Там нас друзья
И победы
Ждут.
Бродит и выбьет у бочек
Дно
Старое рейнское
Вино.

Там нас ждет!.. —
О нет, не война, —
Ждет нас, без лишних слов,
Наша, наша страна! Страна
Розы,
Карла
И соловьев!

1931

82. ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

Ты, конечно, знаешь, что сохранилась страна одна;
В камне, в песке, в озерах, в травах лежит страна.
И тяжелые ветры в травах ее живут,
Волнуют ее озера, камень точат, песок метут.

Все в городах остались, в постелях своих, лишь мы
Ищем ее молчанье, ищем соленой тьмы.
Возле костра высокого, забыв про горе свое,
Снимаем штиблеты, моем ноги водой ее.

Да, они устали, пешеходов ноги, они
Шагали, не переставая, не зная, что есть огни,
Не зная, что сохранилась каменная страна,
Где ждут озера, солью пропитанные до дна,
Где можно строить жилища для жен своих и детей,
Где можно небо увидеть, потерянное меж ветвей.

Нет, нас вели не разум, не любовь, и нет, не война, —
Мы шли к тебе словно в гости, каменная страна.
Мы, мужчины, с глазами, повернутыми на восток,
Ничего под собой не слышали, кроме идущих ног.

Нас на больших дорогах мира снегами жгло;
Там, за белым морем, оставлено ты, тепло,
Хранящееся в овчинах, в тулупах, в душных печах
И в драгоценных шкурах у девушек на плечах.

Остались еще дороги для нас на нашей земле,
Сладка походная пища, хохочет она в котле, —
В котлах ослепшие рыбы ныряют, пена блестит,
Наш сон полынным полымем, белой палаткой крыт.

Руками хватая заступ, хватая без лишних слов,
Мы приходим на смену строителям броневиков,
И переходники видят, что мы одни сохраним
Железо, и электричество, и трав полуденный дым,

И золотое тело, стремящееся к воде,
И древнюю человечью любовь к соседней звезде...
Да, мы до нее достигнем, мы крепче вас и сильней,
И пусть нам старый Бетховен сыграет бурю на ней!

1931

83. РАССВЕТ

Омск в голубом морозе, как во сне.
Огни и звезды. Ветер встал на лыжи,

Его пути известны — он пройдет
До Павлодара и снега поднимет,
И пустит их, что стаю гончих псов,
Ослепнувших от близости добычи.
Но самоварный, хитренький фальцет
По-азиатски тянется и клонит
Всё к одному, что вот, мол, брат, уют —
Тепла и чая до рассвета хватит.
Давайте, дескать, мы поговорим
О том, о сем до первой позевоты. . .
Да, самовар покладист, толст и рыж,
Он в Туле слит и искренно желает,
Чтоб на него хозяин походил.
Но зорко смотрит
Трубки волчий глаз.
Дым табака беспечен, тонок, — он
Подобье океанского тумана.
А сам хозяин хмурый столько раз
Прошел огни и воды, что давно уж
Те на него рукой махнули. Был
Он командиром партизанской стаи.
Еще видны следы его коня
Под Зерендой, Челябинском и Тарой.
Пусть, проносят Британии штандарт,
Шли батальоны короля Георга
И пели, маршируя: «Долог путь
До Типперэри. . .» Хороши туристы!
Их «Максим» пересчитывал, как мог,
Их сабли гладили
Заботливо, что надо.
О, как до Типперэри далеко!
До неба ближе. . .
. . .Говорит хозяин:
«На лыжи встанем завтра и пойдем
Пятнадцать верст —
Не больше, до комбайна
Пятнадцать верст!
А сколько мы прошли
Бессчетных верст,
Чтоб встало это утро!»

1931

84. ПЕСНЯ

В черном небе волчья проседь,
И пошел буран в бега,
Будто кто с размаху косит
И в стога гребет снега.

На косых путях мороза
Ни огней, ни дыму нет,
Только там, где шла береза,
Остывает тонкий след.

Шла береза льда напиться,
Гнула белое плечо.
У тебя ж огонь еще:
В темном золоте светлица,
Синий свет в сенях толпится,
Дышат шубы горячо.

Отвори пошире двери,
Синий свет впусти к себе,
Чтобы он павлиньи перья
Расстелил по всей избе,

Чтобы был тот свет угарен,
Чтоб в окно, скуласт и смел,
В иглах сосен вместо стрел,
Волчий месяц, как татарин,
Губы вытянув, смотрел.

Сквозь казацкое ненастье
Я брожу в твоих местах.
Почему постель в цветах,
Белый лебедь в головах?
Почему ты снишься, Настя,
В лентах, в серьгах, в кружевах?

Неужель пропащей ночью
Ждешь, что снова у ворот
Потихоньку захохочут
Бубенцы и конь заржет?

Ты свои глаза открой-ка —
Друга видишь неужель?

Заворачивает тройки
От твоих ворот метель.

Ты спознай, что твой соколик
Сбился где-нибудь в пути.
Не ему во тьме собольей
Губы теплые найти!

Не ему по вехам старым
Отыскать заветный путь,
В хуторах под Павлодаром
Колдовским дышать угаром
И в твоих глазах тонуть!

⟨1932⟩

85. СТРОИТСЯ НОВЫЙ ГОРОД

Город, косно задуманный, помнит еще,
Как лобастые плотники из-под Тары
Проверяли ладонью шершавый расчет,
Срубы наспех сбивали и воздвигали амбары.
Он еще не забыл, как в харчевнях кумыс
Основатели пили. Седой, многоокий,
Он едва подсчитал, сколько пламенных лис
Уходило на старый закат над протокой,
Сколько шло по кабаньим загривкам осок
Табунов лошадиных,
Верблюжьего рева, буранов,
Как блестел под откормленным облаком
Рыжий песок,
Кто торгует на ярмарке
Облачной шерстью баранов.
Город косно задуман, как скупость и лень.
Зажигались огни пароходов, горели и тухли,
И купеческой дочкой росла в палисадах сирень,
Оправляя багровые, чуть поседелые букли.
Голубиные стаи клубились в пыли площадей,
Он бросал им пшеницы, он тешился властью.
Он еще не забыл, сколько шло лебедей
На перины, разбухшие от сладострастья.

Пух на крепких дрожжах, а его повара
Бочки с медом катили, ступая по-бычьи,
И пластали ножами разнеженный жир осетра,
Розоватый и тонкий, как нежные пальцы девичьи.
Так стоял он сто лет, разминая свои
Тяжелевшие ноги, не зная преграды,
На рабочей, рыбацкой, на человечьей крови,
Охраняемый каменной бабой форштада.
Мы врага в нем узнали, и залп батарей
Грянул в хитрую морду, рябую, что соты.
Он раскинулся цепью тогда
В лебеде пустырей
И расставил кулацкие пулеметы.
В черной оспе рубли его были, и шли
Самой звонкой монетой за то, чтобы снова
Тишина устоялась. Но мы на него пронесли
Все штыки нашей злобы, не веря на слово
Увереньям улыбчивым. Он притворялся: «Сдаюсь!»
Революции пулеметное сердцебиенье
Мы, восставшие, знали тогда наизусть,
Гулким сабельным фронтом ведя наступленье.
И теперь, пусть разбитый,
Но не добитый еще
Наступлением нашим — прибоем высоким,
Он неверной рукой проверяет расчет,
Шарит в небе глазами трахомными окон.
Но лабазы купецкие снесены,
Встали твердо литые хребты комбината,
В ослепительном свете электролуны
Запевают в бригадах
Советские песни ребята.
Новый город всё явственней и веселей,
Всё быстрей поднимается в небо сырое,
И красавицы сосны плывут по реке без ветвей,
Чтоб стропилами встать
Вкруг огней новостроек.
Так удержим равнение на бегу —
Все пространства распахнуты перед нами.
Ни пощады, ни передышки врагу, —
Мы добьем его с песней
Горячей, как пламя!
Новый город построим мы, превратив

В самый жаркий рассвет
Безрассветные ночи.
И гремят экскаваторы, в щебень зарыв
Свои жесткие руки чернорабочих.

‹1932›

86. ПОВЕСТВОВАНИЕ О РЕКЕ КУЛЬДЖЕ

Мы никогда не состаримся, никогда,
Мы молоды, как один.
О, как весела, молода вода,
Толпящаяся у плотин!

Мы никогда
Не состаримся,
Никогда —
Мы молоды до седин.
Над этой страной,
Над зарею встань
И взглядом пересеки
Песчаный шелк — дорогую ткань.
Сколько веков седел Тянь-Шань
И сколько веков пески?

Грохочут кибитки в седой пыли.
Куда ты ни кинешь взор —
Бычьим стадом камни легли
У синей стужи озер.

В песке и камне деревья растут,
Их листья острей ножа.
И, может быть, тысячу весен тут
Томилась река Кульджа.

В ее глубине сияла гроза
И, выкипев добела,
То рыжим закатом пела в глаза,
То яблонями цвела.

И голову каждой своей волны
Мозжила о ребра скал.

И, рдея из выстуженной глубины,
Летел ледяной обвал.

Когда ж на заре
Табуны коней,
Копыта в багульник врыв,
Трубили,
Кульджа рядилась сильней,
Как будто бы Азия вся на ней
Стелила свои ковры.

Но пороховой
Девятнадцатый год,
Он был суров, огнелиц!
Из батарей тяжелый полет
Тяжелокрылых птиц!

Тогда Кульджи багровела зыбь,
Глотала свинец она.
И в камыше трехдюймовая выпь
Протяжно пела: «В-в-ой-на!»

Был прогнан в пустыню шакал и волк.
И здесь сквозь песчаный шелк
Шел Пятой армии пятый полк
И двадцать четвертый полк.

Страны тянь-шаньской каменный сад
От крови
И от знамен алел.
Пятнадцать месяцев в нем подряд
Октябрьский ветер гудел.

Он шел с штыками наперевес
Дорогою Аю-Кеш,
Он рвался чрез рукопожатья и чрез
Тревожный шепот депеш.

Он падал, расстрелян, у наших ног
В колючий ржавый бурьян,

Он нес махорки синий дымок
И запевал «Шарабан».

Походная кухня его, дребезжа,
Валилась в приречный ил.
Ты помнишь его дыханье, Кульджа,
И тех, кто его творил?

По-разному убегали года.
Верблюды — видела ты? —
Вдруг перекидывались в поезда
И, грохоча, летели туда,
Где перекидывались мосты.

Затем здесь
С штыками наперевес
Шли люди, валясь в траву,
Чтоб снова ты чудо из всех чудес
Увидела наяву.

Вновь прогнан в пустыню
Шакал и волк.
Песков разрывая шелк,
Пришел и пятый стрелковый полк,
И двадцать четвертый полк.

Удары штыка и кирки удар
Не равны ль? По пояс гол,
Ими
Руководит комиссар,
Который тогда их вел.

И ты узнаешь, Кульджа: «Они!»
Ты всплескиваешь в ладоши, и тут
Они разжигают кругом огни,
Смеются, песни поют.

И ты узнаешь, Кульджа, — вон тот,
Руками взмахнув, упал,
И ты узнаешь

Девятнадцатый год
И лучших его запевал!

И ты узнаешь
Девятнадцатый год!
Высоким солнцем нагрет,
Недаром Октябрьский ветер гудёт,
Рокочет пятнадцать лет.

Над этой страной,
Над зарею встань
И взглядом пересеки
Песчаный шелк, дорогую ткань.
Сколько веков седел Тянь-Шань
И сколько веков пески?

Но не остынет слово мое,
И кирок не смолкнет звон.
Вздымастся дамб крутое литье,
И взята Кульджа в бетон.

Мы никогда не состаримся, никогда.
Мы молоды до седин.
О, как весела, молода вода,
Толпящаяся у плотин!

Волна — острей стального ножа —
Форелью плещет у дамб —
Второю молодостью Кульджа
Грохочет по проводам.

В ауле Тыс огневее лис
Огни и огни видны,
Сияет в лампах аула Тыс
Гроза ее глубины.

⟨1932⟩

87. ЕВГЕНИЯ СТЭНМАН

Осыпаются листья, Евгения Стэнман, пора мне
Вспомнить вёсны и зи́мы, и осени вспомнить пора.
Не осталось от замка Тамары камня на камне,
Не хватило у осени листьев и золотого пера.

Старых книг не хватило на полках, чтоб перечесть их,
Будто б вовсе не существовал Майн-Рид;
Та же белая пыль, та же пыльная зелень в предместьях,
И еще далеко до рассвета, еще не погас и горит
На столе у тебя огонек. Фитили этих ламп обгорели,
И калитки распахнуты, и не повстречаешь тебя.

Неужели вчерашнее утро шумело вчера, неужели
Шел вчера юго-западный ветер, в ладони трубя?

Эти горькие губы так памятны мне, и похоже,
Что еще не раскрыты глаза, не разомкнуты руки твои;
И едва прикоснешься к прохладному золоту кожи —
В самом сердце пустынного сада гремят соловьи.

Осыпаются листья, Евгения Стэнман. Над ними
То же старое небо и тот же полет облаков.
Так прости, что я вспомнил твое позабытое имя
И проснулся от стука веселых твоих каблучков.

Как лепетали они, когда ты мне навстречу бежала,
Хохоча беспричинно, и как грохотали потом
Средь тифозной весны у обросших снегами привалов,
Под расстрелянным знаменем, под перекрестным огнем.

Сабли накось летели и шли к нам охотно в подруги.
Красногвардейские звезды не меркли в походах, а ты
Всё бежала ко мне через смерть и тяжелые вьюги,
Отстраняя штыки часовых и минуя посты. . .

И в теплушке, шинелью укутавшись, слушал я снова,
Как сквозь сон, сквозь снега, сквозь ресницы гремят
соловьи.
Мне казалось, что ты еще рядом, и понято всё
с полуслова,
Что еще не раскрыты глаза, не разомкнуты руки твои.

Я рубил как попало, я знал, что к тебе прорубаюсь,
К старым вишням, к окну и к ладоням горячим твоим,
Я коня не удерживал больше, я верил, бросаясь
Впереди эскадронов, — что возвращусь невредим.

Я готов согласиться, что не было чаек над пеной,
Ни веселой волны, что лодчонку волной не несло,
Что зрачок твой казался мне чуточку меньше вселенной,
Неба не было в нем — позади от бессонниц светло.

Я готов согласиться с тобою, что высохла влага
На заброшенных веслах в амбарчике нашем, и вот
Весь июнь под лодчонкой ночует какой-то бродяга,
Режет снасть рыболовной артели и песни поет.

Осыпаются листья, Евгения Стэнман. Пора мне
Вспомнить вёсны и зи́мы, и осени вспомнить пора.
Не осталось от замка Тамары камня на камне,
Не хватило у осени листьев и золотого пера.

Грохоча по мостам, разрывая глухие туманы,
От Сибири к Ташкенту идут и идут поезда.
Через желтые зори, через пески Казахстана
В свежем ветре экспресса ты мчалась сюда.

И как ни был бы город старинный придирчив и косен, —
Мы законы Республики здесь утвердим и поставим
на том,
Чтоб с фабричными песнями этими сладилась осень,
Мы ее и в огонь, и в железо, и в камень возьмем.

Но в строительном гуле без памяти, без перемены
Буду слушать дыханье твое, и, как вечность назад,
Опрокинется небо над нами, и рядом мгновенно
Я услышу твой смех, и твои каблучки простучат.

⟨1932⟩

88. СЕРДЦЕ

Мне нравится деревьев стать,
Июльских листьев злая пена.
Весь мир в них тонет по колено.
В них нашу молодость и стать
Мы узнавали постепенно.

Мы узнавали постепенно,
И чувствовали мы опять,
Что тяжко зеленью дышать,
Что сердце, падкое к изменам,
Не хочет больше изменять.

Ах, сердце человечье, ты ли
Моей доверилось руке?
Тебя как клоуна учили,
Как попугая на шестке.

Тебя учили так и этак,
Забывши радости твои,
Чтоб в костяных трущобах клеток
Ты лживо пело о любви.

Сгибалась человечья выя,
И стороною шла гроза.
Друг другу лгали площадные
Чистосердечные глаза.

Но я смотрел на всё без страха, —
Я знал, что в дебрях темноты
О кости черствые с размаху
Припадками дробилось ты.

Я знал, что синий мир не страшен,
Я сладостно мечтал о дне,
Когда не по твоей вине
С тобой глаза и души наши
Останутся наедине.

Тогда в согласье с целым светом
Ты будешь лучше и нежней.

Вот почему я в мире этом
Без памяти люблю людей!

Вот почему в рассветах алых
Я чтил учителей твоих
И смело в губы целовал их,
Не замечая злобы их!

Я утром встал, я слышал пенье
Веселых девушек вдали,
Я видел — в золотой пыли
У юношей глаза цвели
И снова закрывались тенью.

Не скрыть мне то, что в черном дыме
Бежали юноши. Сквозь дым!
И песни пели. И другим
Сулили смерть. И в черном дыме
Рубили саблями слепыми
Глаза фиалковые им.

Мело пороховой порошей,
Большая жатва собрана.
Я счастлив, сердце, — допьяна,
Что мы живем в стране хорошей,
Где зреет труд, а не война.

Война! Она готова сворой
Рвануться на страны жилье.
Вот слово верное мое:
Будь проклят тот певец, который
Поднялся прославлять ее!

Мир тяжким ожиданьем связан.
Но если пушек табуны
Придут топтать поля страны —
Пусть будут те истреблены,
Кто поджигает волчьим глазом
Пороховую тьму войны.

Я призываю вас — пора нам,
Пора, я повторяю, нам

Считать успехи не по ранам —
По веснам, небу и цветам.

Родятся дети постепенно
В прибое. В них иная стать,
И нам нельзя позабывать,
Что сердце, падкое к изменам,
Не может больше изменять.

Я вглядываюсь в мир без страха,
Недаром в нем растут цветы.
Готовое пойти на плаху,
О кости черствые с размаху
Бьет сердце — пленник темноты.

⟨1932⟩

89—91. *СТИХИ МУХАНА БАШМЕТОВА*

1
ГАДАНЬЕ

Я видел — в зарослях карагача
Ты с ним, моя подруга, целовалась.
И шаль твоя, упавшая с плеча,
За ветви невеселые цеплялась.

Так я цепляюсь за твою любовь.
Забыть хочу — не позабуду скоро.
О сердце, стой! Молчи, не прекословь,
Пусть нож мой разрешит все эти споры.

Я загадал — глаза зажмурив вдруг,
Вниз острием его бросать я буду, —
Когда он камень встретит, милый друг,
Тебя вовек тогда я не забуду.

Но если в землю мягкую войдет —
Прощай навек. Я радуюсь решенью. . .
Куда ни брось — назад или вперед —
Всё нет земли, кругом одни каменья.

Как с камнем перемешана земля,
Так я с тобой... Тоску свою измерю —
Любовь не знает мер — и, целый свет кляня,
Вдруг взоры обращаю к суеверью.

(1932)

2

РАССТАВАНЬЕ

Ты уходила, русская! Неверно!
Ты навсегда уходишь? Навсегда!
Ты проходила медленно и мерно
К семье, наверно, к милому, наверно,
К своей заре, неведомо куда...

У пенных волн, на дальней переправе,
Всё разрешив, дороги разошлись, —
Ты уходила в рыжине и славе,
Будь проклята — я возвратить не вправе, —
Будь проклята или назад вернись!

Конь от такой обиды отступает,
Ему рыдать мешают удила,
Он ждет, что в гриве лента запылает,
Которую на память ты вплела.

Что делать мне, как поступить? Не знаю!
Великая над степью тишина.
Да, тихо так, что даже тень косая
От коршуна скользящего слышна.

Он мне сосед единственный... Не верю!
Убить его? Но он не виноват, —
Достанет пуля кровь его и перья —
Твоих волос не возвратив назад.

Убить себя? Все разрешить сомненья?
Раз! Дуло в рот. Два — кончен! Но, убив,
Добуду я себе успокоенье,
Твоих ладоней всё ж не возвратив.

Силен я, крепок, — проклята будь сила!
Я прям в седле, — будь проклято седло!
Я знаю, что с собой ты уносила
И что тебя отсюда увело.

Но отопрись, попробуй, попытай-ка,
Я за тебя сгораю со стыда:
Ты пахнешь, как казацкая нагайка,
Как меж племен раздоры и вражда.

Ты оттого на запад повернула,
Подставила другому ветру грудь...
Но я бы стер глаза свои и скулы
Лишь для того, чтобы тебя вернуть!

О, я гордец! Я думал, что средь многих
Один стою. Что превосходен был,
Когда быков мордастых, круторогих
На праздниках с копыт долой валил.

Тогда свое показывал старанье
Средь превращенных в недругов друзей,
На скачущих набегах козлодранья
К ногам старейших сбрасывал трофей.

О, я гордец! В письме набивший руку,
Слагавший устно песни о любви,
Я не постиг прекрасную науку,
Как возвратить объятия твои.

Я слышал жеребцов горячих ржанье
И кобылиц. Я различал ясней
Их глупый пыл любовного старанья,
Не слыша, как сулили расставанье
Мне крики отлетавших журавлей.

Их узкий клин меж нами вбит навеки,
Они теперь мне кажутся судьбой...
Я жалуюсь, я закрываю веки...
Мухан, Мухан, что сделалось с тобой!

Да, ты была сходна с любви напевом,
Вся нараспев, стройна и высока,
Я помню жилку тонкую на левом
Виске твоем, сияющем нагревом,
И перестук у правого виска.

Кольцо твое, надетое на палец,
В нем, в золотом, мир выгорал дотла, —
Скажи мне, чьи на нем изображались
Веселые сплетенные тела?

Я помню всё! Я вспоминать не в силе!
Одним воспоминанием живу!
Твои глаза немножечко косили, —
Нет, нет! — меня косили, как траву.

На сердце снег... Родное мне селенье,
Остановлюсь пред рубежом твоим.
Как примешь ты Мухана возвращенье?
Мне сердце съест твой одинокий дым.

Вот девушка с водою пробежала.
«День добрый», — говорит. Она права,
Но я не знал, что обретают жало
И ласковые дружества слова.

Вот секретарь аульного совета, —
Он мудр, украшен орденом и стар,
Он тоже песни сочиняет: «Где ты
Так долго задержался, джалдастар?»

И вдруг меня в упор остановило
Над юртой знамя красное... И ты!
Какая мощь в развернутом и сила,
И сколько в нем могучей красоты!

Под ним мы добывали жизнь и славу
И, в пулеметный вслушиваясь стук,
По палачам стреляли. И по праву
Оно умней и крепче наших рук.

И как я смел сердечную заботу
Поставить рядом со страной своей?
Довольно ныть! Пора мне на работу, —
Что ж, секретарь, заседлывай коней.

Мир старый жив. Еще не всё сравнялось.
Что нового? Вновь строит козни бий?
Заседлывай коней, забудь про жалость —
Во имя счастья, песни и любви.

⟨1932⟩

8

Я, Мухан Башметов, выпиваю чашку кумыса
И утверждаю, что тебя совсем не было.
Целый день шустрая в траве резвилась коса —
И высокой травы как будто не было.

Я, Мухан Башметов, выпиваю чашку кумыса
И утверждаю, что ты совсем безобразна,
А если и были красивыми твои рыжие волоса,
То они острижены тобой совсем безобразно.

И если я косые глаза твои целовал,
То это было лишь только в шутку,
Но, когда я целовал их, то не знал,
Что всё это было лишь только в шутку.

Я оставил в городе тебя, в душной пыли,
На шестом этаже с кинорежиссером,
Я очень счастлив, если вы смогли
Стать счастливыми с кинорежиссером.

Я больше не буду под утро к тебе прибегать
И тревожить твоего горбатого соседа,
Я уже начинаю позабывать, как тебя звать
И как твоего горбатого соседа.

Я, Мухан Башметов, выпиваю чашку кумыса, —
Единственный человек, которому жалко,

Что пропадает твоя удивительная краса
И никому ее в пыльном городе не жалко!

⟨1932⟩

92

Мню я быть мастером, затосковав о трудной работе,
Чтоб останавливать мрамора гиблый разбег и крушенье,
Лить жеребцов из бронзы гудящей, с ноздрями как розы,
И быков, у которых вздыхают острые ребра.

Веки тяжелые каменных женщин не дают мне покоя,
Губы у женщин тех молчаливы, задумчивы и ничего
не расскажут,
Дай мне больше недуга этого, жизнь, — я не хочу
утоленья,
Жажды мне дай и уменья в искусной этой работе.

Вот я вижу, лежит молодая, в длинных одеждах,
опершись о локоть, —
Ваятель теплого, ясного сна вкруг нее пол-аршина
оставил,
Мальчик над ней наклоняется, чуть улыбаясь,
крылатый...
Дай мне, жизнь, усыплять их так крепко — каменных
женщин.

Июнь 1932

93. ЕГОРУШКЕ КЛЫЧКОВУ

Темноглазый, коновой
Да темноволосенький,
Подрастай, детеныш мой,
Золотою сосенкой.

Лето нянчило тебя
На руках задумчивых,
Ветер шалый, зной губя,
Пеленал, закручивал.

Он на длинных веслах гнал
Струги свои ярые,
То лебедкой проплывал,
То летел гагарою.

Он у мамы на груди
Спал с тобой без просыпа,
Он и волосы твои
Бережно расчесывал.

Так не будь душою лют
И живи без тяготы.
Пусть улыбку сберегут
Губы твои — ягоды.

Ты расти с дубами в лад,
Вымни травы сорные,
Пусть глаза твои звенят,
Как вода озерная.

Подрастай, ядрен и смел,
Ладный да проказливый,
Чтобы соколом глядел,
Атаманил Разиным.

С моря ранний пал туман
У окошек створчатых.
Лето шьет тебе жупан
Из ветвей игольчатых.

Сине небо пьют глаза —
Чтоб вовсю напиться им!
«Шла с бубенчиком коза,
Била ос копытцами».

Темноглазый, коновой,
Чем тебя обрадовать?
Подрастет Егорка мой —
Станут девки взглядывать;

Целовать тебя взасос
Не одна потянется,

Будут спрашивать всерьез —
Как любви названьице.

Ну, а ты, им на беду,
Не куражась, простенько
Отвечай: растет в саду
Золотая сосенка.

Под метелью голубой
Жди дождя веселого:
Ведь мудрили над тобой
Золотые головы.

Взглянь лукаво из-под век,
Мир шумит поклонами.
Крестный твой отец весь век
Обрастал иконами.

Сказки спрятаны в ларьки,
Сединою по́виты,
Ты сорвешь с ларей замки,
Сказки пустишь по ветру.

И, чумея без чумы
И себя жалеючи,
Просим милостыни мы
У Егор Сергеича.

Подари ты, сокол, нам
Хоть одну улыбочку,
Отпусти ты по волнам
Золотую рыбочку.

Июнь 1932

94

Далеко лебяжий город твой —
За поветями и лебедою,
Ходит там кругами волчий вой,

Месяц плещет черною водою.
Далеко лебяжий город твой!

Расскажи, какой ты вести ждешь
И о чем сегодня загрустила?
Сколько весен замужем живешь,
Где твой смех и земляная сила?
Отчего ты прячешь в шалях дрожь —
Или о проезжем загрустила?

Далеко лебяжий город твой,
Далеко на речке быстрой — Лене.
Я на печь хочу к себе домой,
На печи сидеть, поджав колени.

Чтобы пели люди под гармонь,
Пели дрожжи в бочках и корытах.
Я хочу вернуть себе огонь
У кота в глазах полуоткрытых.

Я хочу вернуть мою родню,
Тараканий гул и веник банный.
Я во всем тебя теперь виню,
Да ни в чем не покажу желаний.

1932

95

Ничего, родная, не грусти,
Не напрасно мы с бедою дружим.
Я затем оттачиваю стих,
Чтоб всегда располагать оружьем.

1932

96. ВОСПОМИНАНИЯ ПУТЕЙЦА

Коршун, коршун —
Ржавый самострел,
Рыжим снегом падаешь и таешь!
Расскажи мне,

Что ты подсмотрел
На земле,
Покудова летел?
Где ты падешь, или еще не знаешь?
Пыль, как пламя и змея, гремит.
Кто,
Когда,
Какой тяжелой силой
Стер печаль с позеленевших плит?
Плосколиц
И остроскул гранит
Над татарской сгорбленной могилой.

Здесь осталась мудрая арыбь[1].
Буквы — словно перстни и подковы,
Их сожгла кочующая зыбь
Глохнущих песков.
Но даже выпь
Поняла бы надписи с полслова.
Не отыщешь влаги —
Воздух пей!
Сух и желт солончаковый глянец.
Здесь,
Среди неведомых степей,
Идолы —
Подобие людей,
Потерявших песню и румянец.
Вот они на корточках сидят.
Синие тарантулы под ними
Копят яд
И расточают яд,
Жаля птиц не целясь,
Наугад,
Становясь от радости седыми.
Седина!
Я знаю — ты живешь
В каменной могильной колыбели,
И твоя испытанная дрожь
Пробегает, как по горлу нож, —
Даже горы

---

[1] Арыбь — надпись.

За ночь поседели!
Есть такие ночи!

Пел огонь.
Развалясь на жирном одеяле,
Кашевар
Протягивал ладонь
Над огнем,
Смеялся:
«Только тронь!»
А котлы до пены хохотали.
И покамест тананчинский бог
Комаров просеивал сквозь сито,
Мастера грохочущих дорог
Раздробили на степной чертог
Самые прекраснейшие плиты.
. . .Шибко коршун по ветру плывет,
Будто улетает в неизвестность.
Рельсы
Тронув пальцами, — как лед, —
Говорит начальник:
«Наперед
Мы, товарищ, знали эту местность.
Вся она обведена каймой
Соляных озер
И гор белками,
Шастать невозможно стороной,
У дороги будет путь прямой.
Мы не коршуны,
Чтоб плыть кругами».

А в палатках белых до зари
На руках веселых поднимали
Песню
К самым звездам:
«На, бери!»
Улыбались меж собой:
«Кури, кури,
За здоровье нашей магистрали!»

Мы пришли
К невидимой стране

Сквозь туннели,
По мостам горбатым,
При большой, как озеро, луне,
В солнце,
В буре,
В пляшущем огне,
Счастье вверив песне и лопатам.
И когда, рыча,
Рванулся скреп,
По виску нацелившись соседу,
Рухнул мертвым тот,
Но не ослеп,
Отразив в глазах своих победу.
Смутное,
Как омут янтаря,
Пело небо над огнем привала.
Остывал товарищ,
Как заря
В сумеречном небе остывала.

Коршун, коршун —
Ржавый самострел,
Рыжим снегом падаешь и таешь.
Эту смерть
Не ты ли подсмотрел,
Ты, который по небу летел?
Падай!
Падай!
Или ты не знаешь?
Лжет твоя могильная арыбь,
Перстни лгут, и лгут ее подковы.
Не страшна
Нам медленная зыбь
Всех пустынь,
Всех снов!
И даже выпь,
Нос уткнувши, плачет бестолково.
Мертвая,
А всё ж рука крепка.
Смерть его
Почетна и легка.
Пусть века свернут арыби свиток.

Он унес в глазах своих раскрытых
Холод рельс,
Пески
И облака.

1932

97. ПУТЬ НА СЕМИГЕ

Мы строили дорогу к Семиге
На пастбищах казахских табунов,
Вблизи озер иссякших. Лихорадка
Сначала просто пела в тростнике
На длинных дудках комариных стай,
Потом почувствовался холодок,
Почти сочувственный, почти смешной, почти
Похожий на ломóть чарджуйской дыни,
И мы решили: воздух сладковат
И пахнут медом гривы лошадей.
Но звезды удалялись всё. Вокруг,
Подобная верблюжьей шерсти, тьма
Развертывалась. Сердце тяжелело,
А комары висели высоко
На тонких нитках писка. И тогда
Мы понимали — холод возрастал
Медлительно, и всё ж наверняка,
В безветрии, и все-таки прибоем
Он шел на нас, шатаясь, как верблюд.
Ломило кости. Бред гудел. И вот
Вдруг небо, повернувшись тяжело,
Обрушивалось. И кричали мы
В больших ладонях светлого озноба,
В глазах плясал огонь, огонь, огонь —
Сухой и лисий. Поднимался зной.
И мы жевали горькую полынь,
Пропахшую костровым дымом, и
Заря блестела, кровенясь на рельсах. . .
Тогда краснопутиловец Краснов
Брал в руки лом и песню запевал.
А по аулам слух летел, что мы
Мертвы давно, что будто вместо нас

Достраивают призраки дорогу.
Но всем пескам, всему наперекор
Бригады снова строили и шли.
Пусть возникали города вдали
И рушились. Не к древней синеве
Полдневных марев, не к садам пустыни —
По насыпям, по вздрогнувшим мостам
Ложились шпал бездушные тела.
А по ночам, неслышные во тьме,
Тарантулы сбегались на огонь,
Безумные, рыдали глухо выпи.
Казалось нам: на океанском дне
Средь водорослей зажжены костры.
Когда же синь и розов стал туман
И журавлиным узким косяком
Крылатых мельниц протянулась стая,
Мы подняли лопаты, грохоча
Железом светлым, как вода ручьев.
Простоволосые, посторонились мы,
Чтоб первым въехал мертвый бригадир
В березовые улицы предместья,
Шагнув через победу, зубы сжав.
. . . .
Так был проложен путь на Семиге.

1932

98. НА ПОСЕЩЕНИЕ НОВО-ДЕВИЧЬЕГО МОНАСТЫРЯ

Скажи, громкоголос ли, нем ли
Зеленый этот вертоград?
Камнями вдавленные в землю,
Без просыпа здесь люди спят.
Блестит над судьбами России
Литой шишак монастыря,
И на кресты его косые
Продрогшая летит заря.
Заря боярская, холопья,
Она хранит крученый дым,
Колодезную темь и хлопья
От яростных кремлевских зим.

Прими признание простое, —
Я б ни за что сменить не смог
Твоей руки тепло большое
На плит могильный холодок!
Нам жизнь любых могил дороже,
И не поймем ни я, ни ты,
За что же мертвецам, за что же
Приносят песни и цветы?
И всё ж выспрашивают наши
Глаза, пытая из-под век,
Здесь средь камней, поднявший чаши,
Какой теперь пирует век?
К скуластым от тоски иконам
Поводырем ведет тропа,
И чаши сходятся со звоном —
То черепа о черепа,
То трепетных дыханий вьюга
Уходит в логово свое.
Со смертью чокнемся, подруга,
Нам не в чем упрекать ее!
Блестит, не знавший лет преклонных,
Монастыря литой шишак,
Как страж страстей неутоленных
И равенства печальный знак.

1932

99. СТАРАЯ МОСКВА

У тебя на каждый вечер
Хватит сказок и вранья,
Ты упрятала увечье
В рваной шубе воронья.
Твой обоз, груженный стужей,
Растерял колокола,
Под одежею дерюжьей
Ты согреться не могла.
Всё ж в подъездах у гостиниц
Вновь, как триста лет назад,
Кажешь розовый мизинец
И ледяный синий взгляд.

Сохранился твой народец,
Но теперь уж ты вовек
У скуластых богородиц
Не поднимешь птичьих век.
Ночи глухи, песни глухи —
Сколь у бога немоты!
По церквам твоим старухи
Чертят в воздухе кресты.
Полно, полно,
Ты не та ли,
Что рвала куниц с плеча
Так, что гаснула свеча,
Бочки по полу катались,
До упаду хохоча?
Как пила из бочек пиво?
На пиру в ладоши била?
И грозилась —не затронь?
И куда девалась сила —
Юродивый твой огонь?
Расскажи сегодня ладом,
Почему конец твой лют?
Почему, дыша на ладан,
В погребах с мышами рядом
Мастера твои живут?
Погляди, какая малость
От богатств твоих осталась:
Красный отсвет от пожара
Да на птичьих лапах мост,
Да павлиний в окнах яро
Крупной розой тканый хвост.
Но боюсь, что в этих кручах,
В этих горестях со зла,
Ты, вдобавок, нам смогла
Мертвые с возов скрипучих
Грудой вывалить тела.
Нет, не скроешь, — их немало!
Ведь подумать — средь снегов
Сколько все-таки пропало
И лаптей и сапогов!
И пойдут, шатаясь, мимо
От зари и дотемна...
Сразу станет нелюдима

От таких людей страна.
Оттого твой бог овечий,
Бог пропажи и вранья,
Прячет смертные увечья
В рваной шубе воронья.

1932

100. КОНЬ

Замело станицу снегом — белым-бело.
Путался протяжливый волчий во́лок,
И ворон откуда-то нанесло,
Неприютливых да невеселых.

Так они и осы́пались у крыльца,
Сидят раскорячившись, у хозяина просят:
«Вынеси нам обутки,
Дай нам мясца, винца. . .
Оскудела сытая
В зобах у нас осень».

А у хозяина беды да тревоги,
Прячется пес под лавку —
Боится, что пнут ногой,
И детеныш, холстяной, розовоногий,
Не играет материнскою серьгой.

Ходит павлин-павлином
В печке огонь,
Собирает угли клювом горячим.
А хозяин башку стопудовую
Положил на ладонь —
Кудерь подрагивает, плечи плачут.

Соль и навар полынный
Слижет с губ,
Грохнется на месте,
Что топором расколот,
Подымется, накинет буланый тулуп

И выносит горе свое
На уличный холод.

Расшатывает горе дубовый пригон.
Бычьи его кости
Мороз ломает.
В каждом бревне нетесанном
Хрип да стон:
«Что ж это, голубчики,
Конь пропадает!
Что ж это — конь пропадает. Родные!» —
Растопырил руки хозяин, сутул.
А у коня глаза темные, ледяные.
Жалуется. Голову повернул.
В самые брови хозяину
Теплом дышит,
Теплым ветром затрагивает волоса:
«Принеси на вилах сена с крыши».
Губы протянул:
«Дай мне овса».

«Да откуда ж?! Милый! Сердце мужичье!
Заместо стойла
Зубами сгрызи меня. . .»
По свежим полям,
По луговинам
По-птичьи
Гриву свою рыжую
Уносил в зеленя!

Петухами, бабами в травах смятых
Пестрая станица зашумела со сна,
О цветах, о звонких пегих жеребятах
Где-то далеко-о затосковала весна.

Далеко весна, далеко, —
Не доехать станичным телегам.
Пело струнное кобылье молоко,
Пахло полынью и сладким снегом.

А потом в татарской узде,
Вздыбившись под объездчиком сытым,

Захлебнувшись
В голубой небесной воде,
Небо зачерпывал копытом.

От копыт приплясывал дом,
Окна у него сияли счастливей,
Пролетали свадебным,
Веселым дождем
Бубенцы над лентами в гриве!..

...Замело станицу снегом — белым-бело.
Спелой бы соломки — жисти дороже!
И ворон откуда-то нанесло,
Неприветливых да непригожих.

Голосят глаза коньи:
«Хозяин, ги-ибель,
Пропадаю, Алексеич!»
А хозяин его
По-цыгански, с оглядкой,
На улку вывел
И по-ворованному
Зашептал в глаза:
«Ничего...
Ничего, обойдется, рыжий.
Ишь, каки снега, дорога-то, а!»
Опускалась у хозяина ниже и ниже
И на морозе седела голова.

«Ничего, обойдется...
Сено-от близко...»
Оба, однако, из этих мест.
А топор нашаривал
В поленьях, чисто
Как середь ночи ищут крест.

Да по прекрасным глазам,
По карим
С размаху — тем топором...
И когда по целованной

Белой звезде ударил,
Встал на колени конь
И не поднимался потом.

Пошли по снегу розы крупные, мятые,
Напитался ими снег докрасна.
А где-то далеко заржали жеребята,
Обрадовалась, заулыбалась весна.

А хозяин с головою белой
Светлел глазами, светлел,
И небо над ним тоже светлело,
А бубенец зазвякал
Да заледенел...

1932

101

Я боюсь, чтобы ты мне чужою не стала,
Дай мне руку, а я поцелую ее.
Ой, да как бы из рук дорогих не упало
Домотканое счастье твое!

Я тебя забывал столько раз, дорогая,
Забывал на минуту, на лето, на век, —
Задыхаясь, ко мне приходила другая,
И с волос ее падали гребни и снег.

В это время в дому, что соседям на зависть,
На лебяжьих, на брачных перинах тепла,
Неподвижно в зеленую темень уставясь,
Ты, наверно, меня понапрасну ждала.

И когда я душил ее руки, как шеи
Двух больших лебедей, ты шептала: «А я?»
Может быть, потому я и хмурился злее
С каждым разом, что слышал, как билась твоя

Одинокая кровь под сорочкой нагретой,
Как молчала обида в глазах у тебя.
Ничего, дорогая! Я баловал с этой,
Ни на каплю, нисколько ее не любя.

1932

102

Не добраться к тебе! На чужом берегу
Я останусь один, чтобы песня окрепла,
Всё равно в этом гиблом, пропащем снегу
Я тебя дорисую хоть дымом, хоть пеплом.

Я над теплой губой обозначу пушок,
Горсти снега оставлю в прическе — и всё же
Ты похожею будешь на дальний дымок,
На старинные песни, на счастье похожа!

Но вернуть я тебя ни за что не хочу,
Потому что подвластен дремучему краю,
Мне другие забавы и сны по плечу,
Я на Север дорогу себе выбираю!

Деревянная щука, карась жестяной
И резное окно в ожерелье стерляжьем,
Царство рыбы и птицы! Ты будешь со мной!
Мы любви не споем и признаний не скажем.

Звонким пухом и синим огнем селезней,
Чешуей, чешуей обрастай по колено,
Чтоб глазок петушиный казался красней
И над рыбьими перьями ширилась пена.

Позабыть до того, чтобы голос грудной,
Твой любимейший голос — не доносило,
Чтоб огнями и тьмою, и рыжей волной
Позади, за кормой убегала Россия.

1932

103

Сначала пробежал осинник,
Потом дубы прошли, потом,
Закутавшись в овчинах синих,
С размаху в бубны грянул гром.

Плясал огонь в глазах саженных,
А тучи стали на привал,
И дождь на травах обожженных
Копытами затанцевал.

Стал странен под раскрытым небом
Деревьев пригнутый разбег,
И всё равно как будто не был,
И если был — под этим небом
С землей сравнялся человек.

1932

104

Я завидовал зверю в лесной норе,
Я завидовал птицам, летящим в ряд:
Чуять шерстью врага, иль, плескаясь в заре,
Улетать и кричать, что вернешься назад!

1932

105

Вся ситцевая, летняя приснись,
Твое позабываемое имя
Отыщется одно между другими.
Таится в нем немеркнущая жизнь:
Тень ветра в поле, запахи листвы,
Предутренняя свежесть побережий,
Предзорный отсвет, медленный и свежий,
И долгий посвист птичьей тетивы,
И темный хмель волос твоих еще.

Глаза в дыму. И, если сон приснится,
Я поцелую тяжкие ресницы,
Как голубь пьет — легко и горячо.
И, может быть, покажется мне снова,
Что ты опять ко мне попалась в плен.
И, как тогда, всё будет бестолково —
Веселый зной загара золотого,
Пушок у губ и юбка до колен.

1932

106. К ПОРТРЕТУ

Рыжий волос, весь перевитой,
Пестрые глаза и юбок ситцы,
Красный волос, наскоро литой,
Юбок ситцы и глаза волчицы.
Ты сейчас уйдешь. Огни, огни!
Снег летит. Ты возвратишься, Анна.
Ну, хотя бы гребень оброни,
Шаль забудь на креслах, хоть взгляни
Перед расставанием обманно!

1932

107

Я тебя, моя забава,
Полюбил, — не прекословь.
У меня — дурная слава,
У тебя — дурная кровь.
Медь в моих кудрях и пепел,
Ты черна, черна, черна.
Я еще ни разу не пил
Глаз таких, глухих до дна,
Не встречал нигде такого
Полнолунного огня.
Там, у берега родного,
Ждет меня моя родня:
На болотной кочке филин,

Три совенка, две сестры,
Конь — горячим ветром взмылен,
На кукане осетры,
Яблоновый день со смехом,
Разрумяненный, и брат,
И в подбитой лисьим мехом
Красной шапке конокрад.

Край мой ветренен и светел.
Может быть, желаешь ты
Над собой услышать ветер
Ярости и простоты?
Берегись, ведь ты не дома
И не в дружеском кругу.
Тропы все мне здесь знакомы:
Заведу и убегу.
Есть в округе непутевой
Свой обман и свой обвес.
Только здесь затейник новый —
Не ручной ученый бес.
Не ясны ль мои побудки?
Есть ли толк в моей родне?
Вся округа дует в дудки,
Помогает в ловле мне.

1932

108

Дорогая, я к тебе приходил,
Губы твои запрокидывал, долго пил.
Что я знал и слышал? Слышал — ключ,
Знал, что волос твой черен и шипуч.
От дверей твоих потеряны все ключи,
Губы твои прощальные горячи.
Красными цветами вопит твой ковер
О том, что я был здесь ночью, вор,
О том, что я унес отсюда тепло. . .
Как меня, дорогая, в дороге жгло!
Как мне припомнилось твое вино,
Как мне привиделось твое окно!

Снова я, дорогая, к тебе приходил,
Губы твои запрокидывал, долго пил.

1932

109

Когда-нибудь сощуришь глаз,
Наполненный теплынью ясной,
Меня увидишь без прикрас,
Не испугавшись в этот раз
Моей угрозы неопасной.
Оправишь волосы, и вот
Тебе покажутся смешными
И хитрости мои, и имя,
И улыбающийся рот.
Припомнит пусть твоя ладонь,
Как по лицу меня ласкала.
Да, я придумывал огонь,
Когда его кругом так мало.
Мы, рукотворцы тьмы, огня,
Тоски угадываем зрелость.
Свидетельствую — ты меня
Опутала, как мне хотелось.
Опутала, как вьюн в цвету
Опутывает тело дуба.
Вот почему, должно быть, чту
И голос твой, и простоту,
И чуть задумчивые губы.
И тот огонь случайный чту,
Когда его кругом так мало,
И не хочу, чтоб, вьюн в цвету,
Ты на груди моей завяла.
Всё утечет, пройдет, и вот
Тебе покажутся смешными
И хитрости мои, и имя,
И улыбающийся рот,
Но ты припомнишь меж другими
Меня, как птичий перелет.

1932

110. ПРОГУЛКА

Зашатались деревья. Им сытая осень дала
По стаканчику водки и за бесценок
Их одежду скупила. Пакгауз осенний!
Где дубленые шубы листвы и стволы
На картонной подметке, и красный околыш
Набок сбитой фуражки, и лохмы папах,
Деревянные седла и ржавые пики.

Да, похоже на то, что, окончив войну,
Здесь полки оставляли свое снаряженье,
И кровавую марлю, и боевые знамена,
И разбитые пушки!
А, ворон упал!
Не взорвать тишины.
Проходи по хрустящим дорожкам,
Пей печальнейший, сладостный воздух поры
Расставания с летом. Как вянет трава —
Ряд за рядом! Молчи и ступай осторожно,
Бойся тронуть плакучую медь тишины.
Сколько мертвого света и теплых дыханий живет
В этом сборище листьев и прелых рогатин!
Вот пахнуло зверинцем. Мальчишка навстречу
бежит...

1932

111

Не знаю, близко ль, далеко ль, не знаю,
В какой стране и при луне какой,
Веселая, забытая, родная,
Звучала ты, как песня за рекой.
Мед вечеров — он горестней отравы,
Глаза твои — в них пролетает дым,
Что бабы в церкви — кланяются травы
Перед тобой поклоном поясным.
Не мной ли на слова твои простые
Отыскан будет отзвук дорогой?
Так в сказках наших в воды колдовские
Ныряет гусь за золотой серьгой.

Мой голос чист, он по тебе томится
И для тебя окидывает высь.
Взмахни руками, обернись синицей
И щучьим повелением явись!

1932

112

Я сегодня спокоен,
ты меня не тревожь,
Легким, веселым шагом
ходит по саду дождь,
Он обрывает листья
в горницах сентября.
Ветер за синим морем,
и далеко заря.
Надо забыть о том,
что нам с тобой тяжело,
Надо услышать птичье
вздрогнувшее крыло,
Надо зари дождаться,
ночь одну переждать,
Фет еще не проснулся,
не пробудилась мать.
Легким, веселым шагом
ходит по саду дождь,
Утренняя по телу
перебегает дрожь,
Утренняя прохлада
плещется у ресниц,
Вот оно утро — шепот
сердца и стоны птиц.

1932

113

У тебя ль глазищи сини,
Шитый пояс и серьга,

Для тебя ль, лесной княгини,
Даже жизнь не дорога?
У тебя ли под окошком
Морок синь и розов снег,
У тебя ли по дорожкам
Горевым искать ночлег?
Но ветра не постояльцы,
Ночь глядит в окно к тебе,
И в четыре свищет пальца
Лысый черт в печной трубе.
И не здесь ли, без обмана,
При огне, в тиши, в глуши,
Спиртоносы-гулеваны
Делят ночью барыши?
Меньше, чем на нитке бусин,
По любви пролито слез.
Пей из чашки мед Марусин,
Коль башку от пуль унес.
Пей, табашный, хмель из чарок —
Не товар, а есть цена.
Принеси ты ей в подарок
Башмачки из Харбина.
Принеси, когда таков ты,
Шелк, что снился ей во сне,
Чтоб она носила кофты
Синевой под цвет весне.
Рупь так рупь, чтоб падал зво́нок
И крутился в честь так в честь,
Берегись ее, совенок,
У нее волчата есть!
У нее в малине губы,
А глаза темны, темны,
Тяжелы собачьи шубы,
Вместо серег две луны.
Не к тебе ль, моя награда,
Горюны, ни дать ни взять,
Парни из погранотряда
Заезжают ночевать?
То ли правда, то ль прибаска —
Приезжают, напролет
Целу ночь по дому пляска
На кривых ногах идет.

Как тебя такой прославишь?
Виноваты мы кругом:
Одного себе оставишь
И забудешь о другом.
До пяты распустишь косы
И вперишь глаза во тьму,
И далекие покосы
Вдруг припомнятся ему.
И когда к губам губами
Ты прильнешь, смеясь, губя,
Он любыми именами
Назовет в ответ тебя.

1932

114

Какой ты стала позабытой, строгой
И позабывшей обо мне навек.
Не смейся же! И рук моих не трогай!
Не шли мне взглядов длинных из-под век.
Не шли вестей! Неужто ты иная?
Я знаю всю, я проклял всю тебя.
Далекая, проклятая, родная,
Люби меня хотя бы не любя!

1932

115

Скоро будет сын из сыновей,
Будешь нянчить в ситцевом подоле.
Не хотела вызнать, кто правей, —
Вызнай и изведай поневоле.
Скоро будет сын из сыновей!

Ой, под сердцем сын из сыновей!
Вызолотит волос солнце сыну.
Не моих он, не моих кровей —
Как тоску я от себя отрину?

Я пришла, проклятая, к тебе
От полатей тяжких, от заслонок.
Сын родится в каменной избе
Да в соски вопьется мне, волчонок...

Над рожденьем радостным вразлад —
Сквозь века и горести глухие —
Паровые молоты стучат
И кукует темная Россия.

1932

116. ЛЮБИМОЙ

Елене

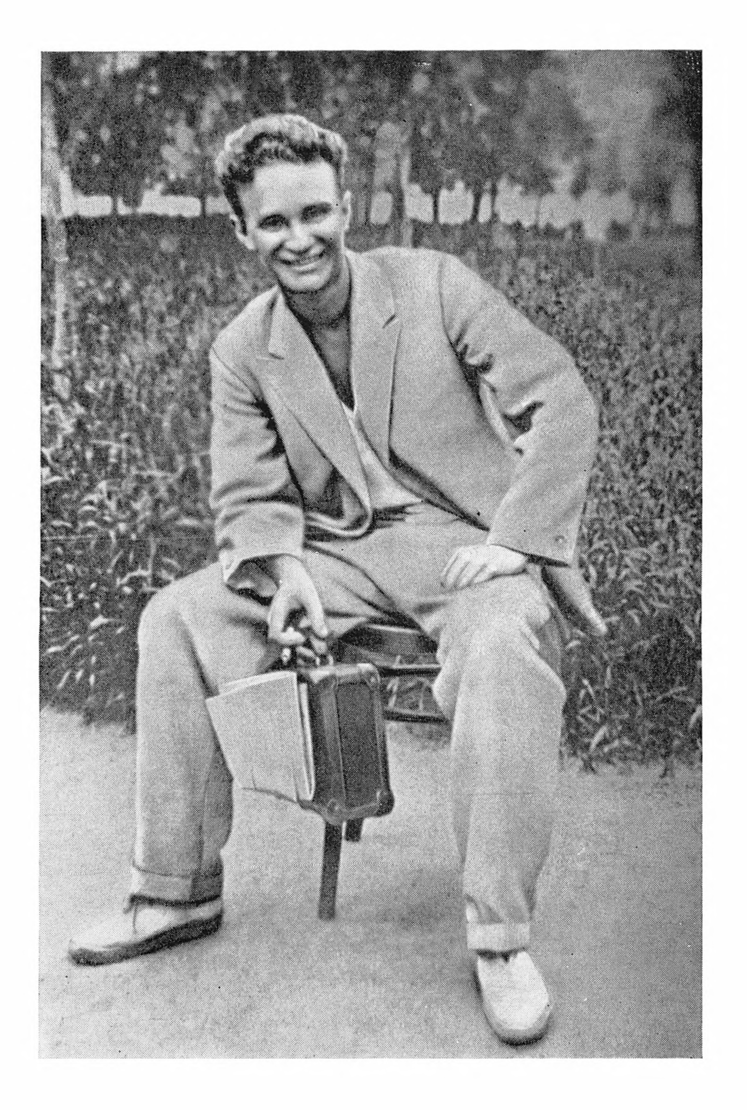
Слава богу,
Я пока собственность имею:
Квартиру, ботинки,
Горсть табака.
Я пока владею
Рукою твоею,
Любовью твоей
Владею пока.
И пускай попробует
Покуситься
На тебя
Мой недруг, друг
Иль сосед, —
Легче ему выкрасть
Волчат у волчицы,
Чем тебя у меня,
Мой свет, мой свет!
Ты — мое имущество,
Мое поместье,
Здесь я рассадил
Свои тополя.
Крепче всех затворов
И жестче жести
Кровью обозначено:
«Она — моя».

Жизнь моя виною,
Сердце виною,
В нем пока ведется
Всё, как раньше велось,
И пускай попробуют
Идти войною
На светлую тень
Твоих волос!
Я еще нигде
Никому не говорил,
Что расстаюсь
С проклятым правом
Пить одному
Из последних сил
Губ твоих
Беспамятство
И отраву.

Спи, я рядом,
Собственная, живая,
Даже во сне мне
Не прекословь.
Собственности крылом
Тебя прикрывая,
Я оберегаю нашу любовь.
А завтра,
Когда рассвет в награду
Даст огня
И еще огня,
Мы встанем,
Скованные, грешные,
Рядом —
И пусть он сожжет
Тебя
И сожжет меня.

1932





117

В степях немятый снег дымится,
Но мне в метелях не пропасть, —
Одену руку в рукавицу
Горячую, как волчья пасть,

Плечистую надену шубу
И вспомяну любовь свою,
И чарку поцелуем в губы
С размаху насмерть загублю.

А там за крепкими сенями
Людей попутных сговор глух.
В последний раз печное пламя
Осыплет петушиный пух.

Я дверь раскрою, и потянет
Угаром банным, дымной тьмой...
О чем глаз на́ глаз нынче станет
Кума беседовать со мной?

Луну покажет из-под спуда,
Иль полыньей растопит лед,
Или синиц замерзших груду
Из рукава мне натрясет?

⟨1933⟩

118. ТРОЙКА

Вновь на снегах, от бурь покатых,
В колючих бусах из репья,
Ты на ногах своих лохматых
Переступаешь вдаль, храпя,
И кажешь морды в пенных розах, —
Кто смог, сбираясь в дальний путь,
К саням — на тесаных березах
Такую силу притянуть?
Но даже стрекот сбруй сорочий
Закован в обруч ледяной.

Ты медлишь, вдаль вперяя очи,
Дыша соломой и слюной.
И коренник, как баня, дышит,
Щекою к поводам припав,
Он ухом водит, будто слышит,
Как рядом в горне бьют хозяв;
Стальными блещет каблуками
И белозубый скалит рот,
И харя с красными белками,
Цыганская, от злобы ржет.
В его глазах костры косые,
В нем зверья стать и зверья прыть,
К такому можно пол-России
Тачанкой гиблой прицепить!
И пристяжные! Отступая,
Одна стоит на месте вскачь,
Другая, рыжая и злая,
Вся в красный согнута калач.
Одна — из меченых и ражих,
Другая — краденая знать —
Татарская княжна да б…., —
Кто выдумал хмельных лошажьих
Разгульных девок запрягать?
Ресниц декабрьское сиянье
И бабий запах пьяных кож,
Ведро серебряного ржанья —
Подставишь к мордам — наберешь.
Но вот сундук в обивке медной
На сани ставят. Веселей!
И чьи-то руки в миг последний
С цепей спускают кобелей.
И коренник, во всю кобенясь,
Под тенью длинного бича,
Выходит в поле, подбоченясь,
Приплясывая и хохоча.
Рванулись. И — деревня сбита,
Пристяжка мечет, а вожак,
Вонзая в быстроту копыта,
Полмира тащит на вожжах!

⟨1933⟩

119. КАМЕНОТЕС

Пора мне бросить труд неблагодарный —
В тростинку дуть и ударять по струнам;
Скудельное мне тяжко ремесло.
Не вызовусь увеселять народ!
Народ равнинный пестовал меня
Для краснобайства, голубиных гульбищ,
Сзывать дожди и прославлять зерно.

Я вспоминаю отческие пашни,
Луну в озерах и цветы на юбках
У наших женщин, первого коня.
Которого я разукрасил в мыло.
Он яблоки катал под красной кожей,
Свирепый, ржал, откапывал клубы́
Песка и ветра. А меня учили
Беспутный хмель, ременная коса,
Сплетенная отцовскими руками.

И гармонист, перекрутив рукав,
С рязанской птахой пестрою в ладонях
Пошатывался, гибнул на ладах,
Летел верхом на бочке, пьяным падал
И просыпался с милою в овсах!..

Пора мне бросить труд неблагодарный...
Я, полоненный, схваченный, мальчишкой
Стал здесь учен и к камню привыкал.
Барышникам я приносил удачу.
Здесь горожанки эти узкогруды,
Им нравится, что я скуласт и желт.

В тростинку дуть и ударять по струнам?
Скудельное мне тяжко ремесло.
Нет, я окреп, чтоб стать каменотесом,
Искусником и мастером вдвойне.
Еще хочу я превзойти себя,
Чтоб в камне снова просыпались души,

Которые кричали в нем тогда,
Когда я был и свеж и простодушен.

Теперь, увы, я падок до хвалы,
Сам у себя я молодость ворую.
Дареная — она бы возвратилась,
Но проданная — нет! Я получу
Барыш презренный — это ли награда?
Скудельное мне тяжко ремесло.
Заброшу скоро труд неблагодарный —
Опаснейший я выберу, и пусть
Погибну незаконно — за работой.

И, может быть, я берег отыщу,
Где привыкал к веселью и разгулу,
Где первый раз увидел облака.
Тогда сурово я, каменотес,
Отцу могильный вытешу подарок:
Коня, копытом вставшего на бочку,
С могучей шеей, глазом наливным.

Но кто владеет этою рукой,
Кто приказал мне жизнь увековечить
Прекраснейшую, выспренною, мной
Не виданной, наверно, никогда?

Ты тяжела, судьба каменотеса.

25—26 января 1933

120

По́ снегу сквозь темень пробежали
И от встречи нашей за версту,
Где огни неясные сияли,
За руку простились на мосту.

Шла за мной, не плача и не споря,
По́д небом стояла как в избе.

Теплую, тяжелую от горя,
Золотую притянул к себе.

Одарить бы на прощанье — нечем,
И в последний раз блеснули и,
Развязавшись, поползли на плечи
Крашеные волосы твои.

Звезды Семиречья шли над нами,
Ты стояла долго, может быть,
Девушка со строгими бровями,
Навсегда готовая простить.

И смотрела долго, и следила
Папиросы наглый огонек.
Не видал. Как только проводила,
Может быть, и повалилась с ног.

А в вагоне тряско, дорогая,
И шумят. И рядятся за жизнь.
И на полках, сонные, ругаясь,
Бабы, будто шубы, разлеглись.

Синий дым и рыжие овчины,
Крашенные горечью холсты,
И летят за окнами равнины,
Полустанки жизни и кусты.

Выдаст, выдаст этот дом шатучий!
Скоро ли рассвет? Заснул народ,
Только рядом долго и тягуче
Кто-то тихим голосом поет.

Он поет, чуть прикрывая веки,
О метелях, сбившихся с пути,
О друзьях, оставленных навеки,
Тех, которых больше не найти.

И еще он тихо запевает,
Холод расставанья не тая,
О тебе, печальная, живая,
Полная разлук и встреч земля!

1933

121. ЛАГЕРЬ

Под командирами на месте
Крутились лошади волчком,
И в глушь березовых предместий
Автомобиль прошел бочком.

Война гражданская в разгаре,
И в городе нежданный гам, —
Бьют пулеметы на базаре
По пестрым бабам и горшкам.

Красноармейцы меж домами
Бегут и целятся с колен;
Тяжелыми гудя крылами,
Сдалась большая пушка в плен.

Ее, как в ад, за рыло тянут,
Но пушка пятится назад,
А в это время листья вянут
В саду, похожем на закат.

На сеновале под тулупом
Харчевник с пулей в глотке спит,
В его харчевне пар над супом
Тяжелым облаком висит.

И вот солдаты с котелками
В харчевню валятся, как снег,
И пьют веселыми глотками
Похлебку эту у телег.

Войне гражданской не обуза —
И лошадь мертвая в траве,
И рыхлое мясцо арбуза,
И кровь на рваном рукаве.

И кто-то уж пошел шататься
По улицам и под хмельком,
Успела девка пошептаться
Под бричкой с рослым латышом.

И гармонист из сил последних
Поет во весь зубастый рот,
И двух в пальто в овраг соседний
Конвой расстреливать ведет.

1933

122. ДОРОГА

Лохматые тучи
Клубились над нами,
Березы кружились
И падали, и,
Сбежав с косогора,
Текли табунами,
И шли, словно волны,
Курганы в степи.

Там к рекам спешила
Овечья Россия
И к мутной воде
Припадала губой,
А тучи несметные
И дождевые
Сбирались,
Дымились
И шли на убой.

Нам было известно —
На этой равнине,
За тысячи верст
От равнинной луны,
Лепечут котлы
И бушуют полыни,
И возле болотца
Стоят в котловине
На гнутых ногах
Над огнем таганы.

Оттуда неслись к нам
Глухие припевы

Далекой и с детства
Родной высоты,
И на стоянках
Скуластые девы
Для нас приносили
Оттуда цветы.

У этих цветов
Был неслыханный запах,
Они на губах
Оставляли следы,
Цветы эти, верно,
Стояли на лапах
У черной,
Наполненной страхом воды.

А поезд в смятеньи
Всё рвал без оглядок
Застегнутый наглухо
Ворот степей,
И ветер у окон
Крутился и прядал,
Как будто бы кто
Выпускал голубей.

У спутниц бессонница,
Спутанный волос,
Им шеи закат золотит,
И давно
В их пестрых глазах
Полстраны раскололось, —
Зачем они смотрят,
Тоскуя, в окно?

Но вот по соседству,
Стуча каблуками,
С глазами ослепшими,
Весел и пьян,
Гармонь обнимает
Кривыми руками

Далекой
Японской войны ветеран:

«Не радуйся, парень,
Мы сами с усами,
Настрой гармониста
На праздничный лад...»
...Мы ехали долго
Полями-лесами,
Встречая киргиз
И раскосых бурят...

А поезд всё рвет
Через зарево дыма,
Обросший простором и ветром,
В дыму,
И мир полосатый
Проносится мимо —
Остаться не страшно
Ему одному.

Затеряны избы,
Постели и печи.
Там бабы
Угрюмо терёбят кудель,
Пускает до облак
Гусей Семиречье
И ходит под бубны
В пыли карусель.

Огни загораются
Реже и реже,
Черны поселенья,
Березы белы,
Стоит мирозданье,
Стоят побережья,
И жвачку в загонах
Роняют волы.

И только на лавке
Вояка бывалый,
Летя вместе с поездом

В темень, поет:
«...Родимая мать,
Ты меня целовала
И крест мне дала,
Отправляя в поход...»

Кого же ты, ночь,
И за что обессудишь?
Кого же прославишь
И пестуешь ты?
А там, где заря зачинается,
Люди
Коряги ворочают,
Строят мосты.

Тревожно гудят
Провода об отваге,
Протяжные звуки
Мы слышим во мгле.
Развеяны по ветру
Красные флаги,
Весна утвердилась
На талой земле.

1933

123. ПЕСНЬ О ХЛАДНОКРОВЬИ

Я помню шумные ноздри скачек
У жеребцов из-под Куянды,
Некованых,
Горевых
И горячих,
Глаза зажигавших
Кострами беды,
Прекрасных,
Июльскими травами сытых,
С витыми ручьями нечесаных грив...
Они танцевали
На задних копытах
И рвали губу, удила закусив.

Тогда, обольщенные магарычами,
Коням тем, не знавшим досель седока,
Объездчики обнимали ногами
Крутые, клокочущие бока.
И всадник
С застывшей для выстрела бровью,
И конь — на дыбах,
На дыбах,
На дыбах!
Не ты ль, азиатское хладнокровье,
Смиряло ослепшую ярость в степях?
Не ты ли,
Презревшее злобу и силу,
Крутилось меж волчьих
Разинутых ям,
Кругами гнало жеребца по степям
И после его в поводу приводило,
Одетого в мыло, к хозяйским ногам?

Я помню и то,
Как, Британию славя,
Кэмширцы вели табуны голытьбы,
По-журавлиному ногу отставив,
Ловили на мушку их губы и лбы!
Кэмширцев на совесть, на деньги учили
Вести пулеметный сухой разговор,
Чтоб холодно в битвы кэмширцы ходили,
Как ходят штыки и ружейный затвор.
Тряслись от пожаров
И падали кровли,
Но зорок и холоден был караул, —
Тогда европейское хладнокровье
Глядело на нас
Из сощуренных дул.

Кругом по-вороньи засады расселись.
Вчера еще только
У злобы в плену,
Надвинулся враг,
Хладнокровно нацелясь
В окно сельсовета,
В победу,

В весну.
Он призван к оружью,
Он борется с нами,
Силен и прикидчив, лишившийся сил,
Он выучку получил у Краснова,
Он комиссаров! на козлах! пилил!
Он не жалел наших женщин,
Он вешал,
Рубил топорами и ждал своего, —
И вот он стоит
В припасенных одеждах
И просит, чтоб мы пощадили его:
Вот, мол, он нищ,
Он согласен, не прекословя,
С решеньем любым, ничего не тая...

Поучимся у врагов хладнокровью,
Пусть ходит любой,
Как затвор у ружья!
Сосчитаны время,
Движенье
И пули.
И многое спросится у сторожевых,
И каждый находится в карауле
У взрывчивых погребов
Пороховых.
Враг — под ружьем,
Он борется с нами,
Он хочет расправы любою ценой.
И, может быть, завтра
На шею Дмитрова
Наденут закрученный
Галстук пеньковый,
Намыленный сытой вонючей слюной.
— Ответят за казнь
Ваши шеи воловьи!
Ответных насчитано будет монет.
Да здравствует выдержка и хладнокровье,
Да здравствует солнце
И песни побед!

1933

124. АНАСТАСИЯ

> Почему ты снишься, Настя,
> В лентах, в серьгах, в кружевах?
> *(Из старого стихотворения)*

1

Не смущайся месяцем раскосым,
Пусть глядит через оконный лед.
Ты надень ботинки с острым носом,
Шаль, которая тебе идет.

Шаль твоя с тяжелыми кистями —
Злáя кашемирская княжна,
Вытканная вялыми шелками,
Убранная черными цветами, —
В ней ты засидишься дотемна.

Нелегко наедине с судьбою.
Ты молчишь. Закрыта крепко дверь.
Но о чем нам горевать с тобою?
И о чем припоминать теперь?

Не были богатыми, покаюсь,
Жизнь моя и молодость твоя.
Мы с тобою свалены покамест
В коробá земного бытия.

Позади пустынное пространство,
Тыщи верст — всё звезды да трава.
Как твое тяжелое убранство,
Я сберег поверья и слова.

Раздарить налево и направо?
Сбросить перья эти? Может быть,
Ты сама придумаешь, забава,
Как теперь их в дело обратить?

Никогда и ни с каким прибасом
Наши песни не ходили вспять, —

Не хочу резным иконостасом
По кулацким горницам стоять!

Нелегко наедине с судьбою.
Ты молчишь. Закрыта крепко дверь.
Но о чем нам горевать с тобою?
И о чем припоминать теперь?

Наши деды с вилами дружили,
Наши бабки черный плат носили,
Ладили с овчинами отцы.
Чтó мы помним? Разговор сорочий,
Легкие при новолунье ночи,
Тяжкие лампады, бубенцы...

Чтó нам светит? Половодье разве,
Пена листьев диких и гроза,
Пьяного попа благообразье,
В золоченых ризах образа?

Или свет лукавый глаз кошачьих,
Иль пожатье дружеской руки,
Иль страна, где, хохоча и плача,
Скудные, скупые, наудачу
Вьюга разметала огоньки?

2

Не смущаясь месяцем раскосым,
Смотришь ты далёко, далекó...
На тебе ботинки с острым носом,
Те, которым век не будет сноса,
Шаль и серьги, вдетые в ушко.

С темными спокойными бровями,
Ты стройна, улыбчива, бела,
И недаром белыми руками
Ты мне крепко шею обняла.

В девку переряженное Лихо,
Ты не будешь спорить невпопад —

По́д локоть возьмешь меня и тихо
За собою поведешь назад.

Я нарочно взглядываю мимо, —
Я боюсь постичь твои черты!
Вдруг услышу отзвук нелюдимый,
Голос тихий, голос твой родимый —
Я страшусь, чтоб не запела ты!

Потому что в памяти, как прежде,
Ночи звездны, шали тяжелы,
Тих туман, и сбивчивы надежды
Убежать от этой кабалы.

И напрасно, обратясь к тебе, я
Всё отдать, всё вымолить готов, —
Смотришь, лоб нахмуря и робея
И моих не понимая слов.

И бежит в глазах твоих Россия,
Прадедов беспутная страна.
Настя, Настенька, Анастасия,
Почему душа твоя темна?

8

Лучше было б пригубить затяжку
Той махры, которой больше нет,
Пленному красногвардейцу вслед!
Выстоять и умереть не тяжко
За страну мечтаний и побед.

Ведь пока мы ссоримся и ладим,
Громко прославляя тишь и гладь,
Счастья ради, будущего ради
Выйдут завтра люди умирать.

И, гремя в пространствах огрубелых,
Мимо твоего идут крыльца

Ветры те, которым нет предела,
Ветры те, которым нет конца!

Вслушайся. Полки текут, и вроде
Трубная твой голос глушит медь,
Неужели при такой погоде
Грызть орехи, на печи сидеть?

Наши имена припоминая,
Нас забудут в новых временах...
Но молчишь ты...

Девка расписная,
Дура в лентах, серьгах и шелках!

1933

125. РАССТАВАНЬЕ С МИЛОЙ

Чайки мечутся в испуге,
Я отъезду рад, не рад, —
Мир огромен,
И подруги
Молча вдоль него стоят.

Что нам делать? Воротиться?
День пробыть — опять проститься —
Только сердце растравить!
Течь недолго слезы будут,
Всё равно нас позабудут,
Не успеет след простыть.

Ниже волны, берег выше, —
Как знаком мне этот вид!
Капитан на мостик вышел,
В белом кителе стоит.

На одну судьбу в надежде,
Пошатнулась, чуть жива.

Ты прощай, левобережье —
Зеленые острова.

Волны кинулись в погоню,
Заблестел огонь вдали, —
Не с гитарой, не с гармонью,
А с баяном парни шли —
Звонким тысячным баяном,
Золотым, обыгранным,
По улицам, по полянам,
По зеленым выгонам.

Ты прощай, прощай, любезный,
Непутевый город Омск,
Через реку мост железный,
На горе высокий дом.
Ждет на севере другая,
Да не знаю только, та ль?
И не знаю, дорогая,
Почему тебя мне жаль.
Я в печали бесполезной
Буду помнить город Омск,
Через реку мост железный,
На горе высокий дом.
Там тебе я сердце отдал...

Впереди густой туман.
«Полным ходом-пароходом!» —
В рупор крикнул капитан.
И в машинном отделении
В печь прибавили угля.
Так печально в отдалении
Мимо нас бегут поля.

Загорелись без причины
Бакены на Иртыше...
Разводи пары, машина, —
Легше будет на душе!..

1933 (?)

126. ИРТЫШ

Камыш высок, осока высока,
Тоской набух тугой сосок волчицы,
Слетает птица с дикого песка,
Крылами бьет и на волну садится.

Река просторной родины моей,
Просторная,
Иди под непогодой,
Теки, Иртыш, выплескивай язей —
Князь рыб и птиц, беглец зеленоводый.

Светла твоя подводная гроза,
Быстры волны шатучие качели,
И в глубине раскрытые глаза
У плавуна, как звезды, порыжели.

И в погребах песчаных в глубине,
С косой до пят, румяными устами,
У сундуков незапертых на дне
Лежат красавки с щучьими хвостами.

Сверкни, Иртыш, их перстнем золотым!
Сон не идет, заботы их не точат,
Течением относит груди им
И раки пальцы нежные щекочут.

Маши турецкой кистью камыша,
Теки, Иртыш! Любуюсь, не дыша,
Одним тобой, красавец остроскулый.
Оставив целым меду полковша,
Роскошествуя, лето потонуло.

Мы встретились. Я чалки не отдам,
Я сердца вновь вручу тебе удары...
По гребням пенистым, по лебедям
Ударили колеса «Товар-пара».

Он шел, одетый в золото и медь,
Грудастый шел. Наряженные в ситцы,

Ладонь к бровям, сбегались поглядеть
Досужие приречные станицы.

Как медлит он, теченье поборов,
Покачиваясь на волнах дородных...
Над неоглядной далью островов
Приветственный погуливает рев —
Бродячий сын компаний пароходных.

Катайте бочки, сыпьте в трюмы хлеб,
Ссыпайте соль, которою богаты.
Мне б горсть большого урожая, мне б
Большой воды грудные перекаты.

Я б с милой тоже повстречаться рад —
Вновь распознать, забытые в разлуке,
Из-под ресниц позолоченный взгляд,
Ее волос могучий перекат
И зноем зацелованные руки.

Чтоб про других шепнула: «Не вини...»
Чтоб губ от губ моих не отрывала,
Чтоб свадебные горькие огни
Ночь на баржах печально зажигала.

Чтобы Иртыш, меж рек иных скиталец,
Смыл тяжкий груз накопленной вины,
Чтоб вместо слез на лицах оставались
Лишь яростные брызги от волны!

⟨1934⟩

127. ДРУГУ-ПОЭТУ

Здравствуй в расставанье, брат Василий!
Август в нашу честь золотобров,
В нашу честь травы здесь накосили,
В нашу честь просторно настелили
Золотых с разводами ковров.

Наши песни нынче подобрели —
Им и кров и прибасень готов.

Что же ты, Василий, в самом деле
Замолчал в расцвет своих годов?

Мало сотоварищей мне, мало,
На ладах, вишь, не хватает струн.
Али тебе воздуху не стало,
Золотой башкирский говорун?

Али тебя ранняя перина
Исколола стрелами пера?
Как здоровье дочери и сына,
Как живет жена Екатерина,
Князя песни русския сестра?

Знаю, что живешь ты небогато,
Мой башкирец русский, но могли
Пировать мы все-таки когда-то —
Высоко над грохотом Арбата,
В зелени московской и пыли!

По наследству перешло богатство
Древних песен, сон и бубенцы,
Звон частушек, что в сенях толпятся...
Будем же, Василий, похваляться,
Захмелев наследством тем, певцы.

Ну-ка спой, Василий, друг сердечный,
Разожги мне на́ сердце костры.
Мы народ не робкий и не здешний,
По степям далеким безутешный,
Мы, башкиры, скулами остры.

Как волна, бывалая прибаска
Жемчугами выстелит пути —
Справа ходит быль, а слева — сказка,
Сами знаем, где теперь идти.

Нам пути веселые найдутся,
Не резон нам отвращаться их,
Здесь, в краю берез и революций,
В облаках, в знаменах боевых!

⟨*1934*⟩

128. В ЗАЩИТУ ПАСТУХА-ПОЭТА

> Вот уж к двадцати шести
> Путь мой близится годам,
> А мне не с кем отвести
> Душу, милая мадам.

Лукавоглаз, широкорот, тяжел,
Кося от страха, весь в лучах отваги,
Он в комнату и в круг сердец вошел
И сел средь нас, оглядывая пол,
Держа под мышкой пестрые бумаги.

О, эти свертки, трубы неудач,
Свиная кожа доблестной работы,
Где искренность, притворный смех и плач,
Чернила, пятна сальные от пота.

Заглавных букв чумные соловьи,
Последних строк летящие сороки...
Не так ли начинались и мои
С безвестностью суровые бои, —
Всё близились и не свершались сроки!

Так он вошел. Поэзии отцы,
Откормленные славой пустомели,
Говоруны, бывалые певцы
Вокруг него, нахохлившись, сидели.

Так он вошел, смиренник. И когда-то
Так я входил, смеялся и робел, —
Так сходятся два разлученных брата:
Жизнь взорвана одним, другим почата
Для важных, может, иль ничтожных дел.

Пускай не так сбирался я в опасный
И дальний путь, как он, и у меня
На золотой, на яростной, прекрасной
Земле другая, не его родня.

Я был хитрей, веселый, крепко сбитый,
Иртышский сплавщик, зейский гармонист,

Я вез с собою голос знаменитый
Моих отцов, их гиканье и свист...

...Ну, милый друг, повертывай страницы,
Распахивай заветную тетрадь.
Твое село, наш кров, мои станицы!
О, я хочу к началу возвратиться —
Вновь неумело песни написать.

Читай, читай... Он для меня не новый,
Твой тихий склад. Я разбираю толк:
Звук дерева нецветшего, кленовый
Лесных орешков звонкий перещелк.

И вдруг пошли, выламываясь хило,
Слова гостиных грязных. Что же он?
Нет у него сопротивленья силы.
Слова идут! Берут его в полон!

Ах, пособить! Но сбоку грянул гогот.
Пускай теперь высмеивают двух —
Я поднимаюсь рядом: «Стой, не трогай!
Поет пастух! Да здравствует пастух!

Да здравствует от края и до края!»
Я выдвинусь вперед плечом, — не дам!
Я вслед за ним, в защиту, повторяю:
«Нам что-то грустно, милая мадам».

Бывалые охвостья поколенья
Прекрасного. Вы, патефонный сброд,
Присутствуя при чудосотворенье,
Не слышите ль, как дерево поет?..

⟨*1934*⟩

129

Опять вдвоем,
Но неужели,
Чужих речей вином пьяна,

Ты любишь взрытые постели,
Моя монгольская княжна!

Напрасно, очень может статься...
Я не дружу с такой судьбой.
Я целый век готов скитаться
По шатким лесенкам с тобой,

И слушать —
Как ты жарко дышишь,
Забыв скрипучую кровать,
И руки, чуть локтей повыше,
Во тьме кромешной целовать.

Февраль 1934

130. ШУТКА

Негритянский танец твой хорош,
И идет тебе берет пунцовый,
И едва ль на улице Садовой
Равную тебе найдешь.

Есть своя повадка у фокстрота,
Хоть ему до русских, наших, — где ж!..
Но когда стоишь вполоборота,
Забываю, что ты де-ла-ешь.

И покуда рядом нет Клычкова,
Изменю фольклору — каково!
Румба, значит. Оченно толково.
Крой впристучку. Можно. Ничего.

Стой, стой, стой, прохаживайся мимо.
Ишь, как изучила лисью рысь.
Признаю всё, что тобой любимо,
Радуйся, Наталья, веселись!

Только не забудь, что рядом с нами,
Разбивая острыми носами
Влаги застоялый изумруд,

По «Москве» под злыми парусами
Струги деда твоего плывут.

Март 1934

131. СТИХИ В ЧЕСТЬ НАТАЛЬИ

В наши окна, щурясь, смотрит лето,
Только жалко — занавесок нету,
Ветреных, веселых, кружевных.
Как бы они весело летали
В окнах приоткрытых у Натальи,
В окнах незатворенных твоих!

И еще прошеньем прибалую —
Сшей ты, ради бога, продувную
Кофту с рукавом по локоток,
Чтобы твое яростное тело
С ядрами грудей позолотело,
Чтобы наглядеться я не мог.

Я люблю телесный твой избыток,
От бровей широких и сердитых
До ступни, до ноготков люблю,
За ночь обескрылевшие плечи,
Взор, и рассудительные речи,
И походку важную твою.

А улыбка — ведь какая малость! —
Но хочу, чтоб вечно улыбалась —
До чего тогда ты хороша!
До чего доступна, недотрога,
Губ углы приподняты немного:
Вот где помещается душа.

Прогуляться ль выйдешь, дорогая,
Всё в тебе ценя и прославляя,
Смотрит долго умный наш народ,
Называет «прелестью» и «павой»

И шумит вослед за величавой:
«По стране красавица идет».

Так идет, что ветви зеленеют,
Так идет, что соловьи чумеют,
Так идет, что облака стоят.
Так идет, пшеничная от света,
Больше всех любовью разогрета,
В солнце вся от макушки до пят.

Так идет, земли едва касаясь,
И дают дорогу, расступаясь,
Шлюхи из фокстротных табунов,
У которых кудлы пахнут псиной,
Бедра крыты кожею гусиной,
На ногах мозоли от обнов.

Лето пьет в глазах ее из брашен,
Нам пока Вертинский ваш не страшен —
Чертова рогулька, волчья сыть.
Мы еще Некрасова знавали,
Мы еще «Калинушку» певали,
Мы еще не начинали жить.

И в июне в первые недели
По стране веселое веселье,
И стране нет дела до трухи.
Слышишь, звон прекрасный возникает?
Это петь невеста начинает,
Пробуют гитары женихи.

А гитары под вечер речисты,
Чем не парни наши трактористы?
Мыты, бриты, кепки набекрень.
Слава, слава счастью, жизни слава.
Ты кольцо из рук моих, забава,
Вместо обручального одень.

Восславляю светлую Наталью,
Славлю жизнь с улыбкой и печалью,
Убегаю от сомнений прочь,

Славлю все цветы на одеяле,
Долгий стон, короткий сон Натальи,
Восславляю свадебную ночь.

Май 1934

132. ЛЕДОВЫЙ КОРАБЛЬ

Шмидту

Когда в Чукотские дали
Несло «Челюскина» дым,
Мы снова тогда сказали:
«А все-таки победим!»

Мы вместе боролись, странствовали
Без отдыха и без сна,
И с мостика капитанского
Глядела вперед страна.

Пускай прошла миллионноустая
Молва, что корабль погиб, —
От места, где пал «Челюскин»,
По миру пошли круги!

Он так затонул, что миру
Глаза захлестнула рябь,
Он был морей бригадиром,
Покрытый славой корабль.

Мы волю к победе ширим...
Не оттого ль крепки
За веснами, за Анадырем
На льдинах большевики?

За гибелью и за бурями,
Где злая вода шумит,
Мы вместе с тобой закуривали,
Отто Юльевич Шмидт!

«Челюскин»! И след! И дым его!
И мир, глазища кругля,

Глядит на подвиг любимого
Нашего корабля.

На доблестного, советского,
Ходившего в дебри вьюг...
На крыльях Ляпидевского
Мы выручили подруг.

Им есть от чего согреться:
«Спокойствие, большевики!» —
На Север сормовский слесарь
Всматривается из-под руки.

Сквозь мглу и сиянье грозное:
«Спокойствие, большевики!» —
На Север смотрят колхозники,
На Север, из-под руки.

Они на крыльях вас вынесли —
Помогут стране своей,
Они не напрасно вырастили
Летчиков из сыновей.

Ими дороги вычерчены.
Трижды в снегах глухих
Мы выручили, мы выручили
Кровных братьев своих!

Выручили, чтоб снова
Шли мы вдоль их следов,
Выручили, как Димитрова
Мы из фашистских льдов!

Чтобы, от славы грузные,
Смерть покорив, прошли
Новые «Челюскины» —
Красные корабли!

Июнь 1934

133. ПЕСНЬ ПРОТИВ ВОЙНЫ

Война! Она готова сворой
Рвануться на страны жилье.
Вот слово верное мое:
Будь проклят тот певец, который
Поднялся прославлять ее!
Не фронтовой парадный выезд,
Не песен круговой разлет —
Она неслышно подойдет,
Рассадит язвы, очи выест
И обнажит безгубый рот.
Газ расползется непроворный, —
Война пойдет из мертвой тьмы
Холерой, тифом, оспой черной,
Смертельным воздухом чумы.
И на полях войны забытых
Я вижу в гулкой пустоте
Не те цветы, что под копыта
Бросали, ухмыляясь сыто,
А парня с пулей в животе.
Мы вспоминаем: в черном дыме
Бежали юноши! Сквозь дым!
И песни пели, и другим
Сулили смерть. И в черном дыме
Рубили саблями слепыми
Глаза фиалковые им!
Из биржевой всемирной драки
Всемирный возникал дележ —
И помним мы, как вошь во фраке
На нас в последние атаки
Нательную пускала вошь.
Тоску последнюю запрятав,
Сквозь окаянные года
Самару, Пермь, Тамбов, Саратов
Под орудийный взрыд раскатов
Везли на запад поезда.
И позабудешь, умолчишь ли
О том, как рано, до зари,
Молотобойцы-пушки вышли
И пулеметы-косари.
Они народ сгребали в кучи,
Косили так, как косят рожь,

Чтоб только племя проститучье
Банкиров, взгляд на бойню пуча,
Доходно кончило дележ.
Чтоб, в собственном купаясь сале,
От блюд жирели кровяных,
Чтоб легче в дансингах плясали
Под музыку подруги их!
Война! Она готова сворой
Рвануться на страны жилье.
Вот слово верное мое:
Будь проклят тот певец, который
Поднялся прославлять ее!
Заводов дым, полнеба кроя,
Как пушечный восходит дым,
И вновь гудки Магнитостроя
Взывают грозно: «Не хотим!»
Проходят ветры молодые,
И на восток наклонены
Штыки пшениц, штыки литые —
Защита верная страны.
И то же повторяют слово:
«Нет, не хотим! Не угрожай!»
И вслед им клонится сурово
Стальных колосьев урожай,
В котором молодость и сила,
Который не скосить в боях,
Который вся страна взрастила
На доблестных своих полях.
И крытый сталью, солнцем, славой
Танк, охраняя свой Народ,
Наперерез войне кровавой
По Красной площади ползет.
И, рокотом взрывая войны,
Проходит самолет, гудя.
И чуть лукаво и спокойно
Сощурены глаза вождя.
И если впрямь ударят грозы,
У нас от них заслоны есть,
Во славу домен и колхозов,
Во славу наших бомбовозов
Я подымаю эту песнь!

Июль 1934

134. ГОРОЖАНКА

Горожанка, маков цвет Наталья,
Я в тебя, прекрасная, влюблен.
Ты не бойся, чтоб нас увидали,
Ты отвесь знакомым на вокзале
Пригородном вежливый поклон.

Пусть смекнут про остальное сами.
Нечего скрывать тебе — почто ж! —
С кем теперь гуляешь вечерами,
Рядом с кем московскими садами
На высоких каблуках идешь.

Ну и юбки! До чего летучи!
Ситцевый буран свиреп и лют...

Высоко над нами реют тучи,
В распрях грома, в молниях могучих,
В чревах душных дождь они несут.

И, темня у тополей вершины,
На передней туче, вижу я,
Восседает, засучив штанины,
Свесив ноги бóсые, Илья.

Ты смеешься, бороду пророка
Ветром и весельем теребя...
Ты в Илью не веришь? Ты жестока!
Эту прелесть водяного тока
Я сравню с чем хочешь для тебя.

Мы с тобою в городе как дома.
Дождь идет. Смеешься ты. Я рад.
Смех знаком, и улица знакома,
Грузные витрины Моссельпрома,
Как столы на пиршестве, стоят.

Голову закинув, смейся! В смехе,
В громе струй, в ветвях затрепетав,
Вижу город твой, его утехи,

В небеса закинутые вехи
Неудач, побед его и слав.

Из стекла и камня вижу стены,
Парками теснясь, идет народ.
Вслед смеюсь и славлю вдохновенно
Ход подземный метрополитена
И высоких бомбовозов ход.

Дождь идет. Недолгий, крупный, ранний.
Благодать! Противиться нет сил!
Вот он вырос, город всех мечтаний,
Вот он встал, ребенок всех восстаний,—
Сердце навсегда мое прельстил!

Ощущаю плоть его большую,
Ощущаю эти этажи, —
Как же я, Наталья, расскажи,
Как же, расскажи, мой друг, прошу я,
Раньше мог не верить в чертежи?

Дай мне руку. Ты ль не знаменита
В песне этой? Дай в глаза взглянуть.
Мы с тобой идем. Не лыком шиты —
Горожане, а не кто-нибудь.

Сентябрь 1934

135. КЛЯТВА НА ЧАШЕ

Брата я привел к тебе, на голос
Обращал вниманье. Шла гроза.
Ядра пели, яблоко кололось,
Я смотрел, как твой сияет волос,
Падая на темные глаза.

Голос брата неумел и ломок,
С вихрями грудными, не простой —
Ямщиковских запевал потомок,
Ярмарочный, громкий, золотой.

Так, трехкратным подтвержденьем славной,
Слыханной и прочной простоты,

Тыщи лет торжествовавшей, явной,
Мы семьей сидели равноправной —
Брат, моя поэзия и ты.

Брат держал в руках своих могучих
Чашу с пенным, солнечным вином,
Выбродившим, выстоенным в тучах,
Там, в бочáгах облачных, шатучих,
Там, под золотым веретеном!

Брат рожден, чтоб вечно отражалась
В нем страна из гнева и огня,
Он — моя защита и родня,
Он — всё то, что позади осталось,
Всё, что было милым для меня.

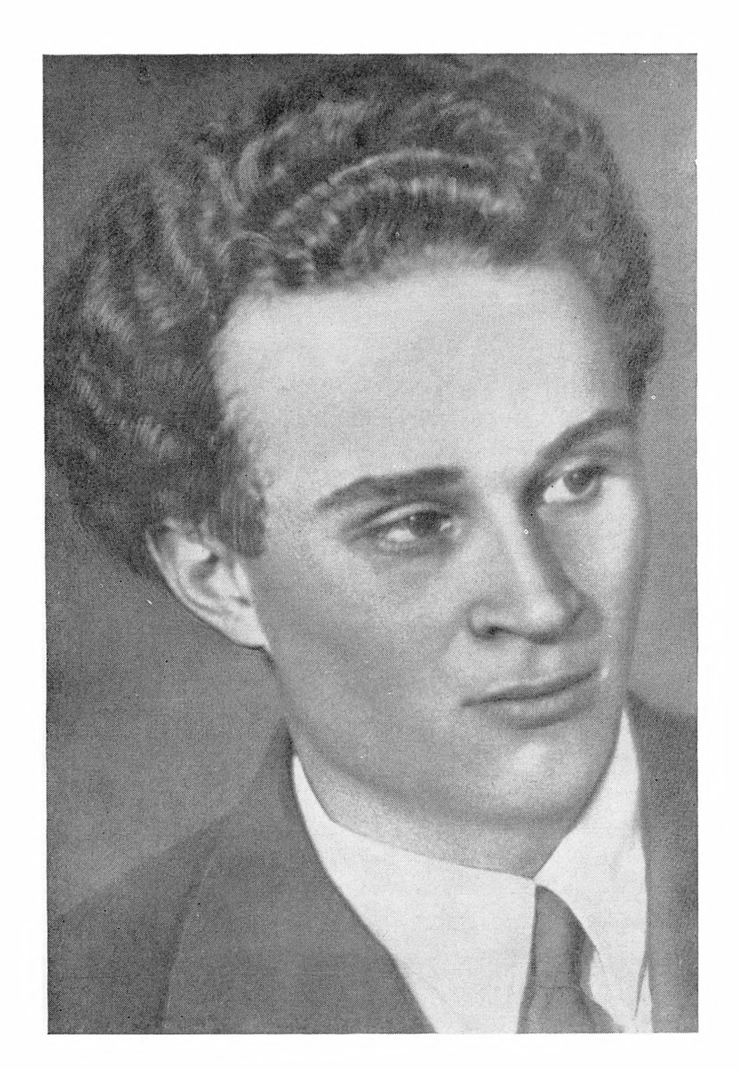
Чаша у тебя в руках вторая...
Ты ее поднимешь вновь и вновь,
Потому что, в круг нас собирая,
Вкруг нее, горя и не сгорая,
Навсегда написано: любовь.

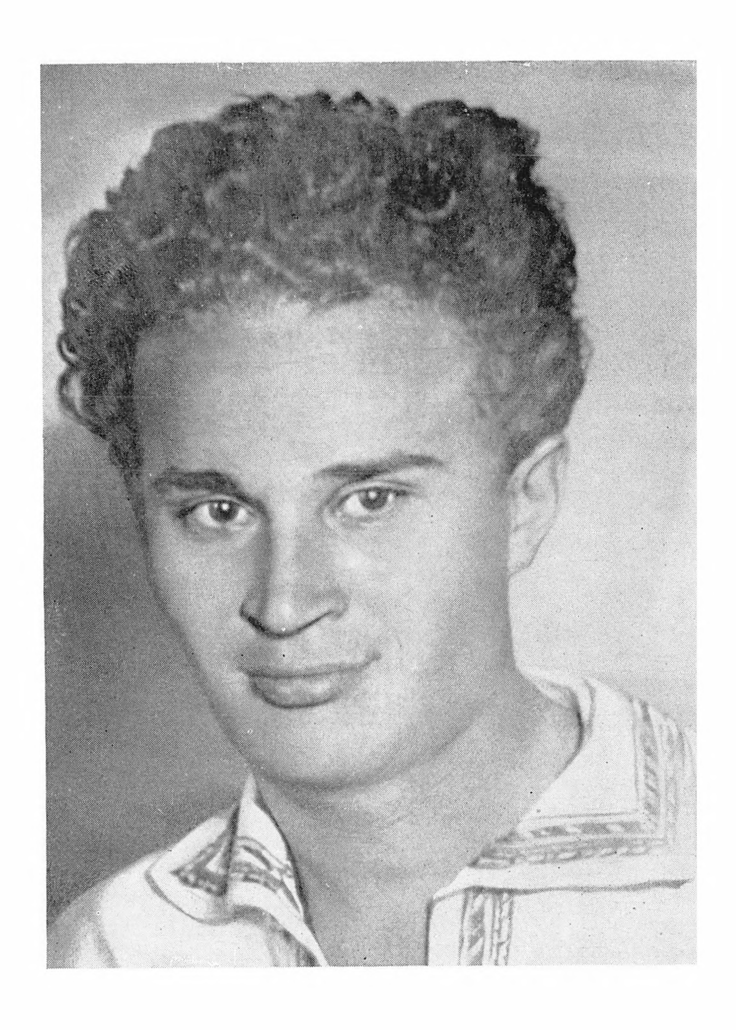
Как легко ты эту держишь тяжесть —
Счастие, основу, вечный свет!
Вот он бродит, пенясь и куражась,
Твой настой из миллионов лет!

Сколько рук горячих исходила
Эта чаша горькая, пока
И твоя в ней потонула сила?
Я ее, чтоб ты сильней любила,
Поцелую в мутные бока.

Я клянусь. На чем мне больше клясться?
Нет замены, верен твой сосуд —
Начиная плакать и смеяться,
Дети, им рожденные, теснятся,
Громко матерям соски сосут.

Ну, а я? На лица глядя ваши,
Радуюсь, скорблю, но на беду





Я средь вас, соратник ваш, без чаши...
Где ее, скажите мне, найду?

Я стою пред миром новым, руки
Опустив, страстей своих палач,
Не познавший песни и науки.
Позади — смятенье и разлуки,
Хрип отцовский, материнский плач.

Впереди, с отставшим не считаясь,
Часовые заняли места.
Солнце косо вылетит. Шатаясь,
Гибельная рухнет чернота.

Так смелей! Сомнения разрушу,
Вместе с ними, молодость, вперед!
Пусть я буду проклят, если струшу,
Пусть тогда любовь мою и душу,
Песнь мою гранатой разорвет!

1934

136. ПЕСЕНКА ДЛЯ КИНО

Выйди, выйди в утреннее море
И закинь на счастье невода.
Не с того ль под самою кормою
Разрыдалась синяя вода.

Позабыл, со мною не простился,
Не с того ль, ты видишь, милый, сам,
Расходился Каспий, рассердился,
Гонит Каспий волны к берегам.

Не укутать тонкой шалью плечи,
Не хочу, чтоб шторм не уставал,
Погляди, идет ко мне навстречу,
Запевает самый старый вал.

Я тебя не позабуду скоро,
Ты меня забудешь, может быть...

Выйди в море, — самая погода
Золотую рыбицу ловить.

1934

137. ПОСЛАНИЕ К НАТАЛИИ

Струей грохочущей, привольной
Течет кумыс из бурдюка.
Я проживаю здесь довольный,
Мой друг, и сча́стливый пока.

Судьбы свинчаткою не сбитый,
Столичный гость и рыболов,
Вдыхаю воздух знаменитый
Крутых иртышских берегов.

На скулах свет от радуг красных,
У самых скул шумит трава —
Я понимаю, сколь прекрасны
Твои, Наталия, слова.

Ты, если вспомнить, говорила,
Что время сердцу отдых дать,
Чтобы моя крутая сила
Твоей красе была под стать.

Вот почему под небом низким
Пью в честь широких глаз твоих
Кумыс из чашек круговых
В краю родимом и киргизском,
На кошмах сидя расписных!

Блестит трава на крутоярах...
В кустах гармони! Не боюсь!
В кругу былин, собак поджарых,
В кругу быков и песен старых
Я щурюсь, зрячий, и смеюсь.

И лишь твои припомню губы,
Под кожей яблоновый сок —

Мир станет весел и легок:
Так грудь целует после шубы
Московский майский ветерок.

Пусть яростней ревут гармони,
Пусть над обрывом пляшут кони,
Пусть в сотах пьяный зреет мед,
Пусть шелк у парня на рубахе
Горит, и молкнет у девахи
Закрытый поцелуем рот.

Чтоб лета дальние трущобы
Любови посетила власть,
Чтоб ты, мне верная до гроба,
Моя медынь, моя зазноба,
Над миром песней поднялась.

Чтобы людей полмиллиона
Смотрело, головы задрав,
Над морем слав, над морем трав
И подтвердило мне стозвонно,
Тебя выслеживая: прав.

Я шлю приветы издалёка,
Я пожеланья шлю... Ну что ж?
Будь здоро́ва и краснощека,
Ходи стройней, гляди высоко,
Как та страна, где ты живешь.

1934

138

Родительница степь, прими мою,
Окрашенную сердца жаркой кровью,
Степную песнь! Склонившись к изголовью
Всех трав твоих, одну тебя пою!
К певучему я обращаюсь звуку,
Его не потускнеет серебро,
Так вкладывай, о степь, в сыновью руку
Кривое ястребиное перо.

6 апреля 1935

139. ПОСВЯЩЕНИЕ Н. Г.

То легким, дутым золотом браслета,
То гребнями, то шелком разогретым,
То взглядом недоступным и косым
Меня зовешь и щуришься — знать, нечем
Тебе платить годам широкоплечим,
Как только горьким именем моим.

Ты колдовство и папорот Купала
На жемчуга дешевые сменяла —
Тебе вериг тяжеле не найти.
На поводу у нитки-душегубца
Иди, спеши. Еще пути найдутся,
А к прежнему затеряны пути.

Май 1935

140

Чтоб долго почтальоны не искали,
Им сообщу с предсумрачной тоской:
Москва, в Москве *4-я Тверская,*
Та самая, что названа *Ямской.*
На ней найди *дом номер 26*,
В нем, горестном, *квартира 10* есть.
О почтальон, я, преклонив колени,
Молю тебя, найди сие жилье
И, улыбнувшись *Вяловой Елене*,
Вручи письмо печальное мое.

Декабрь 1935
Рязань

141. ДЕМЬЯНУ БЕДНОМУ

Твоих стихов простонародный говор
Меня сегодня утром разбудил.
Мне дорог он,
Мне близок он и мил,

По совести — я не хочу другого
Сегодня слушать... Будто лемеха
Передо мной прошли, в упорстве диком
Взрывая землю...
Сколько струн в великом
Мужичьем сердце каждого стиха!

Не жидкая скупая позолота,
Не баловства кафтанчик продувной, —
Строителя огромная работа
Развернута сказаньем предо мной.
В ней — всюду труд, усилья непрестанны,
Сияют буквы, высятся слова.
Я вижу, засучивши рукава,
Работают на нивах великаны.

Блестит венцом
Пот на челе творца,
Не доблести ль отличье эти росы?
Мир поднялся не щелканьем скворца,
А славною рукой каменотеса.
И скучно нам со стороны глядеть,
Как прыгают по веткам пустомели;
На улицах твоя гремела медь,
Они в скворешнях
Для подружек пели.

В их приютившем солнечном краю,
Завидев толпы, прятались с испугу.
Я ясно вижу, мой певец, твою
Любимую прекрасную подругу.
На целом свете нету ни одной
Подобной ей —
Ее повсюду знают,
Ее зовут Советскою Страной,
Страною счастья также называют.

Ты ей в хвалу
Не пожалеешь слов,
Рванутся стаей соловьиной в кличе...
Заткнув за пояс все цветы лугов,
Огромная проходит Беатриче.

Она рождалась под несметный топ
Несметных конниц,
Под дымком шрапнели,
Когда, порубан, падал Перекоп,
Когда в бою
Демьяна песни пели!

Как никому, завидую тебе,
Обветрившему песней миллионы,
Несущему в победах и борьбе
Поэзии багровые знамена!

Май 1936

142. АКРОСТИХ

Ответь мне, почему давно
С тоской иртышской мы в разлуке?
Ты видишь мутное окно,
Рассвет в него не льет вино,
Он не протянет нам и руки.
Вино, которое века
Орлам перо и пух багрило...
Мы одиноки, как тоска
У тростникового аила.

1936

143. ЛИРИЧЕСКИЕ СТИХИ

1

Весны возвращаются! И снова,
На кистях черемухи горя,
Губ твоих коснется несурово
Красный, окаянный свет былого —
Летняя высокая заря.

Весны возвращаются! Весенний
Сад цветет —
В нем правит тишина.

Над багровым заревом сирени,
На сто верст отбрасывая тени,
Пьяно закачается луна —

Русая, широкая, косая,
Тихой ночи бабья голова...
И тогда,
Лучом груди касаясь,
В сердце мне войдут твои слова.

И в густых ресниц твоих границе,
Не во сне,
Не в песне — наяву
Нежною июньскою зарницей
Взгляд твой черно-синий
Заискрится, —
Дай мне верить в эту синеву!

Я клянусь,
Что средь ночей мгновенных,
Всем метелям пагубным назло,
Сохраню я —
Молодых, бесценных,
Дрогнувших,
Как дружба неизменных,
Губ твоих июньское тепло!..

2

Какая неизвестность взволновала
Непрочный воздух, облако души?
Тот аромат,
Что от меня скрывала?
Тот нежный цвет?
Ответь мне, поспеши!

Почто, с тобой идущий наугад,
Я нежностью такою не богат!

И расскажи,
Открой: какая сила,
Какой порой весенней, для кого

Взяла б
И враз навеки растопила
Суровый камень сердца твоего?

Почто, в тебя влюбленный наугад,
Жестокостью такою не богат!

В твои глаза,
В их глубину дневную
Смотрю — не вижу выше красоты,
К тебе самой
Теперь тебя ревную —
О, почему я не такой, как ты!

Я чувствам этим вспыхнувшим не рад,
Я — за тобой идущий наугад.

Восторгами, любовью и обидой
Давно душа моя населена.
Возьми ее и с головою выдай,
Когда тебе не по душе она.

И разберись сама теперь, что́ в ней —
Обида, страсть или любовь — сильней!

1936

144. ЖИВИ, ИСПАНИЯ!

Не покорившись стуже ледяной,
Осенних волн
Предсумрачному всхлипу,
Сзывали в бой
Наперекор Филиппу
Знамена гёзов,
Рея над страной.

Тогда свобода
Фландрией звалася,
Был дым костров,
Как зарево, тяжел,

И пепел
Черный, гибельный Клааса
Стучал в сыновье сердце. . .

Альба шел,
Толпу наемной сволочи вербуя,
По пашням
Завоеванной земли,
И, взволновав
Заливов
Гладь рябую,
Испанские шумели корабли.

Будь прокляты!
Проклятья не остыли. . .
Будь прокляты
На тысячу веков. . .
Те палачи народа,
Что тащили
На виселицы
Фландрских мужиков.

Свободы кровь
Горит
На грандских шпорах.
Будь проклята в тысячелетья та
Страна попов,
Ханжей
И живодеров,
Согбенных спин,
Застенков
И креста,

И все певцы,
Которые посмели
Восславить императорскую медь,
Грошовый блеск
Кровавого борделя
И мясников —
Как рыцарство воспеть.

Испания!
Не в волчьем кабальеро,

Что наших братьев
Вешал для примера,
На модной шляпе
Перья теребя,
И не в парадах
Примо де Ривера
Мы видим
И приветствуем тебя.

Нет!
Ты сияешь
Знаменем багровым
И, побеждая,
Бьешься до конца
У склонов Гвадаррамы
Под суровым,
Глухим дождем
Продажного свинца.

В сыновье сердце
Пепел бьет Клааса.
Великим освещенная огнем,
Свобода раньше
Фландрией звалася, —
Испанией
Теперь ее зовем!

И пусть грознее
В зареве бессонном,
Под посвист смерти,
Злой
И ледяной,
Наперекор
Наемным легионам
Знамена гёзов
Реют над страной!
Весь мир следит
За схваткой небывалой,
Мы зорко смотрим
В сторону твою, —
Свободы стяг,
Несокрушимый, алый,

И черви свастик
Встретились в бою!

Пусть Черный Гитлер
Черной тенью танка
Плечом к плечу с врагом
Вступает в бой,
И обещает —
Вождь мерзавцев! —
Франко
Им заплатить,
Испания, тобой!

Мужайся!
Ты
Не рухнешь от удара,
Ты в гневе масс,
В их мужестве живешь.
Борись!
Из подземелий Алькасара
Засевших там
Вытравливай, как вошь!
Ты победишь
Во что бы то ни стало!
Пускай не дрогнет
Верная рука, —
По правилам
Пусть судят трибуналы,
По правилам,
Как некогда Чека!

Вздымай прибой
Революционной бури,
К одной мечте
Все мысли обратив.
Нам слышен
Гордый голос
Ибаррури,
Весь сотканный из пламени
Призыв!

Он дорог нам!
Врагам — навеки страшен,

Ему смешон
И недоступен страх.
В дивизиях
Краснознаменных наших
Бойцы читают
Вести о фронтах:
О том, как у Авилы
В бой,
На приступ,
На юнкеров нацеливши
Штыки,
Испанские бесстрашно коммунисты
Ведут
Республиканские полки.
Как дочери
И жены ваши бьются,
Быть в стороне
Считая за позор,
Как пулеметом
Снайпер революций
Расстреливает гадину в упор.

Тебя кольцом тяжелым окружили
Деникины и Врангели твои,
Но им тебя
Не утопить в крови!

Бессмертная,
В своей уверясь силе,
Испания великих битв,
Живи!

1936

145. ПРОЩАНИЕ С ДРУЗЬЯМИ

Друзья, простите за всё — в чем был виноват,
Я хотел бы потеплее распрощаться с вами.
Ваши руки стаями на меня летят —
Сизыми голубицами, соколами, лебедями.

Посулила жизнь дороги мне ледяные —
С юностью, как с девушкой, распрощаться у колодца.

Есть такое хорошее слово — *родныя,*
От него и горюется, и плачется, и поется.

А я его оттаивал и дышал на него,
Я в него вслушивался. И не знал я сладу с ним.
Вы обо мне забудете, — забудьте! Ничего,
Вспомню я о вас, дорогие мои, радостно.

Так бывает на свете — то ли зашумит рожь,
То ли песню за рекой заслышишь, и верится,
Верится, как собаке, а во что — не поймешь,
Грустное и тяжелое бьется сердце.

Помашите мне платочком за горесть мою,
За то, что смеялся, покуль полыни запах...
Не растут цветы в том дальнем, суровом краю,
Только сосны покачиваются на птичьих лапах.

На далеком, милом Севере меня ждут,
Обходят дозором высокие ограды,
Зажигают огни, избы метут,
Собираются гостя дорогого встретить как надо.

А как его надо — надо его весело:
Без песен, без смеха, чтоб ти-ихо было,
Чтобы только полено в печи потрескивало,
А потом бы его полымем надвое разбило.

Чтобы затейные начались беседы...
Батюшки! Ночи-то в России до чего ж темны.
Попрощайтесь, попрощайтесь, дорогие, со мной, — я еду
Собирать тяжелые слезы страны.

А меня обступят там, качая головами,
Подпершись в бока, на бородах снег.
«Ты зачем, бедовый, бедуешь с нами,
Нет ли нам помилования, человек?»

Я же им отвечу всей душой:
«Хорошо в стране нашей, — нет ни грязи, ни сырости,
До того, ребятушки, хорошо!
Дети-то какими крепкими выросли.

Ой и долог путь к человеку, люди,
Но страна вся в зелени — по колени травы.
Будет вам помилование, люди, будет,
Про меня ж, бедового, спойте вы. . .»

1936

146

Снегири <взлетают> красногруды. . .
Скоро ль, скоро ль на беду мою
Я увижу волчьи изумруды
В нелюдимом, северном краю.

Будем мы печальны, одиноки
И пахучи, словно дикий мед.
Незаметно все приблизит сроки,
Седина нам кудри обовьет.

Я скажу тогда тебе, подруга:
«Дни летят, как по ветру листьё,
Хорошо, что мы нашли друг друга,
В прежней жизни потерявши всё. . .»

Февраль 1937

ПОЭМЫ

147. ПЕСНЯ О ГИБЕЛИ КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА

1

Что же ты, песня моя,
Молчишь?
Что же ты, сказка моя,
Молчишь?
Натянутые струны твои —
Камыш,
Веселые волны твои,
Иртыш!
Веселые волны твои
Во льду,
С песней рука в руку
По льду иду,
С ветром рука в руку
Скольжу-бегу:
«Белые березы росли
В снегу»,
С милой рука в руку
Смеюсь-бегу.
Перстнем обручальным
Огонь в снегу.
Теплый шепот слышит,
Дрожь затая,
Холодная-льдистая
Рука твоя.
Разве не припомнишь ты
Обо мне —

Ледяное кружево
На окне.
Голубь мертвым клювом
К окну прирос,
А пером павлиньим
Оброс мороз.

2

Я не здесь ли певал песни-погудки:
Сторона моя — зеленые дудки.
Я не здесь ли певал шибко да яро
На гусином перелете у Красного Яра?
Молодая жизнь моя бывала другою,
Раскололась бубенцом под крутой дугою.
Что ж, рассмейся, как тогда, не кори напраслиной,
Было тесно от саней на широкой масленой,
Были выбиты снега — крепкими подковами,
Прокатилась жизнь моя — полозами новыми.
Были песни у меня — были, да вышли
У крестовых прорубей, на чертовом дышле.
Без уздечки, без седла на месяце востром
Сидит бага-яга в сарафане пестром.
Под твоим резным окном крутят метели,
На купецкой площади — голуби сели.
Коль запевка не в ладу, начинай сначала,
Едет поп по улице на лошади чалой,
Идут бабы за водой, бегут девки по́ воду.
— По каким таким делам, по какому поводу?
Бегут девки по́ воду, с холоду румяные,
Коромысла на плечах — крылья деревянные.
Запевала начинай — гармонист окончит.
Начинай во весь дух, чтобы кончить звонче,
Чтоб на полном скаку у лохматой вьюги
На тринадцатой версте лопнули подпруги.

3

На моей на родине
Не все дороги пройдены.

Вся она высокою
Заросла осокою,
Вениками банными,
Хребтами кабаньими,
Медвежьими шкурами,
Лохматыми, бурыми,
Кривыми осинами,
Перьями гусиными!
Там четыре месяца
В небе куролесятся,
В тумане над речкою
Ходит Цыг с уздечкою,
И ведет тропа его
Лошадей опаивать.
Там березы хваткие
С белыми лопатками
Стоят и качаются,
Друг с другом прощаются.
Там живут по-нашему,
В горнях полы крашены,
В пять железных кренделей
Сундуки окованы,
На четырнадцать рублей
Солнца наторговано!
Ходят в горнях песенки
Взад-вперед по лесенке
В соболиных шапочках,
На гусиных лапочках.

Что ж тут делать, плачь не плачь,
Ось к хвосту привязана,
Не испит в ковше первач,
Сказка недосказана!

4

Тарабарили вплоть до Тары,
В Урлютюпе хлюпали валы,
У Тобола в болотах
Засели бородатые
Заса́дами.

А за сада́ми —
За синими овчинами — и луны́
Не рассмотришь
Из-под ладони. . .
Лесистый. Каменный. Полынный.
Диковинный край, пустынный.
Разве что под Кокчетавом верблюд
Кричит,
Разве что идут
Плоты по Усолке,
Разве что на них
Петушиные перья костров речных. . .
Да за Екатерининском у Тары
Волны разводят тары-бары,
Водяные бабы да Урлютюп
Слушают щучий хлюп.
На буксиры подняли якоря,
Молится украдкой Алтай,
И заря
Занимается над Алтаем.

«На гнедых конях летаем,
Сокликаемся,
Под седой горой Алтаем
Собираемся.
Обними меня руками
Лебедиными,
Сгину, сгину за полями
За полынными».

Уходили, уезжали казаки в поход
И пешком, и бе́гом,
И скоком, и опором,
Оставляли дома́. А у ворот
Оставляли жен с наговором.
Оставляли всё! Аргамаки
Плясали под седелышком тертым.
Уезжали казаки,
Оставляли казаки
Возле каждой жены
По черту.

5

— Кони без уздечек,
Пейте зарю,
Я тебя, касатка,
Заговорю.

Шляйся, счастье, пó миру
Нагишом,
Рассекай, осока,
Тоску ножом.

Бегай, счастье, пó миру
Босиком,
Рассекай, осока,
Темь тесаком.

Затуши, разлука,
Волчьи огни,
Кольцо, ворочайся,
А не тони.

Недруги, откликнитесь,
Если есть,
В белые березы
Уйди, болесть.

В горькие осины
Уйди, болесть,
Ни спать тебе, ни думать,
Ни пить, ни есть.

Расступись-раздайся
Надво, метель,
Нагревайся досыта,
Бабья постель.

Разбейся башкою
О тын, метель,
Застилай, как надо,
Люба, постель.

Застилай, забава,
Постель на двух,
Наволоки, пологи,
Лебяжий пух.

С утра до полночи
Горюй одна,
Не тряси подолами,
Мужья жена.

Засвечу те очи
Ранней звездой,
Затяну те губы
Жесткой уздой.

Закреплю заклятье:
Мыр и Шур,
Нашарбавар,
Вашарбавар,
Братынгур!

6

— Ты скажи-ка мне, сестра,
Чей там голос у тебя,
Чей там голос
Ночью раздавался?

— Ты послушай, родной брат,
Это — струны на разлад,
На гитаре
Я вечор играла.

— Ты скажи-ка мне, сестра,
Чья там сабля у тебя,
Чья там сабля
На стене сверкала?

— Ты послушай, родной брат,
Это — месяц на закат,

Закатался
Месяц серебристый.

— Ты скажи-ка мне, сестра,
Не настала ли пора,
Не пора ли
Замуж отправляться?

— Ты послушай, родной брат,
Дай пожить мне, поиграть,
Дай пожить мне,
Дай покрасоваться...

Ярки папахи, и пики остры,
Всходят на знамени черепа,
Значит, недаром бились костры
В черной падучей у переправ.
Что́ впереди? Победа, конец?
Значит, не зря объявлен поход,
Самый горячий крутой жеребец
Под атаманом копытом бьет.
Войско казачье — в сотни да вскачь.
С ветром полынным вровень — лети,
Черное дерево — кара́гач,
Камень да пыль на твоем пути!
Сотни да сотни, песни со свистом,
Песок на угорьях шершав и лыс,
Лебяжье, Черлак да Гусиная Пристань,
Острог-на-Березах да Тополев Мыс.

— Чтоб вольница
Ярмы на шею надела?
Штыки да траншеи —
Нашли чем пугать!
Иртышской вольнице —
Скот и наделы,
Иртышской вольнице —
Степь и луга!

А если не так,
Из-за кровного хлеба

Пику направь и пошли заряд.
Значит, недаром на целых полнеба
Тянется красным лампасом заря.

Эх, Иртыш, родна река,
Широка дорога,
Не мешает мужика
Пиками потрогать:
Понаехали сюда
С Самары да Рязани —
Кверху лаптем борода,
Тоже партизане.
Небо шашками дразня,
Сотни вышли в поле.
Одолеет кыргизня,
Только дай ей волю.

Сотни да сотни,
Песни со свистом,
Пролит на землю
Тяжелый кумыс.
Гладит винтовки Гусиная Пристань,
Шашками машет Тополев Мыс.

7

Торопи коней, путь далеч,
Видно вам, казаки, полечь.
Ой, хорунжий, идет беда,
У тебя жена молода,
На губах ее ягод сок,
В тонких жилках ее висок,
Сохранила ее рука
Запах теплого молока.
Черный ветер с Поречья дул,
Призадумался есаул:
То ль тоска, то ль звенит дуга,
Заливные плывут луга.
Пыль дорог еще горяча,
И коровы идут, мыча.

Вырезные трясут бубенцы
На конюшнях твои жеребцы.
Неизвестен путь и далеч,
Видно, вам, казаки, полечь!
Кто же смерти такой будет рад?
Повернуть бы коней назад
Через волны чужих пшениц
До привольных своих станиц.

У тебя кольцо горело
На руке.
О ту пору птаха пела
Вдалеке.

У тебя кольцо сияло
При луне.
О ту пору вспоминала
Обо мне.

О ту пору ты смотрела
Мне в лицо.
Покатилось, зазвенело
То кольцо.

Ты не хмурь крутые брови
Без пути.
Мне того кольца в дуброве
Не найти.

Там у берега лихого
Бьет волна.
Не добыть кольца златого
Мне со дна.

Развяжу шелко́вый пояс,
Не беда.
За кольцом нырну и скроюсь
Навсегда. . .

8

Красная Армия!
Бои, бои —
В цоканье сабель, пуль и копыт
Песни поют командиры твои,
Ветер знамен
Над тобою шумит.
Стелется низко тревожный шум,
Смолкли станицы по Иртышу.
Слушайте песню, песню о том,
Как по бурьяну, что черен и ржав,
Смерть пробегала с горячим штыком,
Рыжие зубы по-волчьи сжав.
В степь погляди — ни звезды, ни огня,
Слушай, товарищ, штык наклоня,
Кони подвешены на удила.
Слушайте, конники,
Стук сердец.
Чтобы республика зацвела,
Щедрой рукой посеем свинец.
Звезды погаснули и огни,
Саблею небо располосни.

Песня, как молодость, горяча,
Целятся в небо зубы коней,
Саблею небо руби сплеча,
Чтобы заря потекла по ней!

Гудок паровозный иль волчий вой?
Видишь, уже светло, часовой.
Видишь, уже над тобой рассвет,
Ветреный и огневой.
Видишь, рассвет над тобой, и нет
Лучше в мире его!
Утренний ветер в лицо подул.
Смирно, товарищ! На караул!

Через пески в золотой пыли
Красноармейские роты шли —
В ясные ночи, в синей пыли

Краснознаменные
Роты шли.

Голод, и смерть, и сон поборов,
Пели товарищи у костров:

«Вейся, пташка-вольница,
Птица-воробей.
Бей казачью конницу,
Анненковцев бей!

Кожана рубашечка,
Ма́ксим-пулемет.
Канарейка-пташечка
Жалобно поет.

Полымя-пожарище,
Гола степь и лес,
Мы прошли, товарищи,
Штык наперевес».

Голод, и смерть, и сон укротив,
Через пожары, снега и тиф,
Через пески в золотой пыли
Люди, как призраки, пели и шли.
В ясные ночи, в синей пыли
Падали, пели и снова шли.

Зла, весела и игрива
Смерть на ветру. Туман.
Морда коня и грива,
И над ней барабан.

Что́ ты задумал, ротный,
Что́ ты к земле прирос?
Лентою пулеметной
Перекрестись, матрос.

Видишь, в походной кружке
Брага темным-темна.
Будут еще подружки,

«Яблочко» и веснушки,
Яблони и весна!

Красная Армия!
Бои, бои!
В цоканье сабель, пуль и копыт
Песни поют командиры твои.
Ветер знамен над тобою шумит.
Голод, и смерть, и сон поборов,
Пели товарищи у костров.
Песня тогда приходила, как мать,
Через заставы к нам на привал,
Гладить ладонями и обнимать,
Долго глядеть в глаза запевал,
Голод, и сон, и смерть укротив,
Через пожары, снега и тиф.

«Как летела пава
Через сини моря,
Уронила пава
С крыла перышко.

Мне не жалко крыла,
Жалко перышка.
Мне не жалко мать-отца,
Жалко молодца. . ,»

9

Белоперый, чалый, быстрый буран,
Черные знамена бегут на Зайсан.
А буран их крутит и так и сяк,
Клыкастый отбитый волчий косяк.
Атаман, скажи-ка, по чьей вине
Атаманша-сабля вся в седине?
Атаман, скажи-ка, по чьей вине
Полстраны в пожарах, в дыму, в огне?
Атаман, откликнись, по чьей вине
Коршуном горбатым сидишь на коне?
Белогрудый, чалый, быстрый буран,
Черные знамена бегут на Зайсан.

Впереди вороны в тринадцать стай,
Синие хребтины, желтый Китай.
Позади, как пики, торчат камыши.
Полк Степана Разина и латыши.
Настигают пули волчий косяк,
Что же ты нахмурился, молчишь, казак?
Поздно коня свертывать, поди, казак,
Рассвет как помешанный пляшет в глазах.
Обступает темень со всех сторон,
Что побитых воронов — черных знамен.

10

Крапчатый тиф. Теплушка. Грязь.
— Ничего, братишка, молчи да влазь.
— Ничего, товарищи, живот на живот,
Всё, товарищи, заживет.
— Эй, ты, поручик, очисть вагон!
— Я не отвечаю на красный жаргон.
— Ты нам ответь, брита щека,
Ты нам ответь про Колчака.
Куда вы уехали, адмирал?
— Он к Иркутску с чехами уконал.
Полегли студенты
Под Омском, и мать. . .
— Позвольте интеллигенту
Переночевать!
У меня, товарищи, двенадцать ран,
На дворе, товарищи, буран, буран,
На дворе, товарищи, — капут,
Партизане белого ждут.

Далеко отсюдова Красный Яр,
За густыми вьюгами Павлодар,
За густыми вьюгами одни
Желтыми ромашками огни.
А над этой станицей пока
Проплывают круглые облака. . .
Поречье, Поречье — сизый Иртыш,
Голуби слетают с высоких крыш!
Поречье, Поречье — трое сыновей

Под уздцы выводят сытых коней.
Полоз, словно сабля,
Остер и крив.
Над крутыми шеями
Вьюги грив,
На ремни притянута — пляшет, туга,
Вырезная звонкая дуга!

Железная дивизия из-за реки,
Красными лентами мечены штыки.
Эх, пуля — так пуля, штык — так штык!
Отступай, товарищи, в тупик.

Из-за тына выскочил пулемет,
Конницу казацкую снимает влет.
Пушечка-сударыня, крепче бей,
Кружат над станицами стаи голубей.
Костер за заставами горел — потух.
С неба осыпаются помет да пух,
С неба осыпаются на луга
Ветреные, свежие снега!..

11

Ночь глухая, душная, ярая...
Укачала малого старая.
— Спи ты, мое дитятко,
Маленький-мал.
Далеко отец твой
В снегах застрял,
Далеко-далешеньки, вдалеке,
Кровь у твово батюшки на виске.
Спи ты, неразумное, засыпай,
Спи, дитё казацкое, баю-бай.
Я ли твою зыбочку посторожу,
Я ли тебе сказочку расскажу:

Синя вода утренняя, и небо си́не,
Шла купаться утречком бела гусыня.

Оправляла перышки,
Отряхивалась,
С ноги на ногу
Переваливалась.
А округ — мальчонки,
Голосенки звонки:
— Тега-тега-тега,
Иди к нам побегай!
— Не могу, мальчонки,
Больно ноги тонки...
Вон девки в окошках,
Те — в полусапожках.
Мне ж нельзя обуться,
А они смеются
Из-за занавески,
На ушах подвески,
А у ворот
Мужики.
Сапоги
На му-зы-ке.
«Я да ты, ты да я»,
Бо-рода-ты-я!

Широкая улица, далек бережок,
Торопись, гусыня, прибавь шажок.
Торопись, гусыня, прибавь шажок —
Узкие тропиночки, крутой бережок.

А у берега высока
Поднялась осока́,
Зелена, востра́,
Камышу сестра.
Плыла гусыня
Водой карасиной,
Огибала камень
Вместе с чебаками.
Пропустила мимо
Лысого налима.
Говорили три ерша:
— Ой, гусыня, хороша,
Белая, белая,

Белая, умелая,
Даром что старая,
Не сравнить с гагарою!..

12

Желтые пески, зеленые воды,
Да гусями белыми пароходы.
Да в низинных травах жирные птицы,
Да сытые и вольные казачьи станицы,
Да к гармоням старым новые припевки,
Да золотокожие жар-малина девки.
Степи, камни, острова, лески да озера
От тобольских мест к Усть-Каменогору.
Крой, гармони пестры,
                    крой, гармони звонки!
Понравился я нонче хорошенькой девчонке.

Щок, щок, щибащок,
Що такое, паря?
Курщавенький казащок
За мною ударил.

Не гордись, кулацкий сын, сапогами новыми,
Ой, напрасно кулачье бьет песок подковами:
«Што за нова власть така — раздела и разула,
Еще живы пока в станицах есаулы!
Ты скажи-ка, паря, мне, по какому праву
Окаянно кыргизье косит наши травы?»

Ты зелен, нехожен луг,
Травушка росиста,
Мой миленок по станице
Первым гармонистом.

Не желтей, не вянь, камыш,
Выстой под морозами,
Нонче славится Иртыш
Крепкими колхозами.

Мазал дегтем сапоги,
Нынче мажу ваксой,

Ездил в город с милой я,
Расписался в ЗАГС'е.

Пролегли в станицы к нам
Новые дороги,
А старые есаулы
Все сидят в остроге!

Желтые пески, зеленые воды
Да гусями белыми пароходы.
Сторонушка степная, речная, овражья,
Прииртышские станицы Черлак и Лебяжье.
Прииртышские станицы — золото закатное,
Округ Омска, Павлодара, округ Семьпалатного.

13

Поставили к стенке:
— Рота, пли!
— Тятенька, там сказочники пришли... —
...И впалили в парня пули подряд.
— Сказочники сказку там говорят. —
Но, еще опрежде, чем упасть,
Он кричал: «Свободы, хлеба, земли!
Добудем, товарищи, советскую власть!»
Да взаправду сказочники пришли,
Да взаправду песельники пришли!
Снимайте, ребята, с дверей засов,
Запускайте гармонию в семь голосов.
А на той гармони планки горят,
А у той гармони лады говорят.

14

В станице Бутяге
Хорош улов —
Четыре коряги
Да пять осетров.
А на Дикой Кочке
Еще лучшéй —

Две дырявых бочки
Да семь ершей.
У Козьего Броду
Всех превзошли —
Неводом в погоду
Из реки всю воду
Вы-чер-пали!
Чтоб мы замолчали,
Нас упреди,
Присказка вначале,
Сказ впереди.

15

Заседлал черт вьюгу,
Узду надел,
Копыта раздвинул,
Нá спину сел.
Ударил нагайкой
Вдоль спины —
Подскочила вьюга
До луны.
Ударил нагайкой
Второй раз —
Подскочила вьюга —
Звезды из глаз.
В третий раз ударил,
Свел удила —
Вьюга в белой пене
Плясать пошла.
Сбилась, скрутилась,
Расшибла лоб,
Угодил черт задницей
На сугроб.
Приморозил крепко,
К снегу прирос,
Спрятал за пазуху
Собачий нос.
Видит — дело плевое:
Ни водки испить,
Ни ведьмы полапать,

Ни закурить.
Сидел до рассвета черт,
А днем
Три красноармейца
Шли тем путем.
— Глядите, ребята, —
Первый говорит, —
— Никак хвост собачий
Из снега торчит? —
Второй отвечает:
— Ей-же-ей,
Откеда собаке
Середь степей? —
А третий подходит:
— Да это черт!
Вдобавок паршивый —
Третий сорт. —
Завязали черта
Они в мешок,
Затянули накрепко
Ремешок,
Перешли — протопали
Наискось степь,
Приходят в деревню
И — на цепь.
Сидит черт и лапой
Морду трет,
А кругом собрался
Колхозный народ.
Смотрят, удивляются,
Смеются: — Рад?!
Прыгал да допрыгался,
Попался, брат! —
Развел черт руками,
Мяучит: — Угу,
Оплошал, товарищи,
Завяз в снегу.
Нечего делать,
Смеяться что ж,
И у черта горе
Бывает тож. —
Сидит черт на цепи

И день и два
И мяучит жалостливые
Слова:
— Я, грит, безлошадный,
Лысый, кривой,
Я, грит, товарищи,
Парень свой.
Я, грит, к колхозу
И так, и так,
Я, грит, среди наших
Почти батрак.
Я, грит, безлошадный —
Вьюга была,
Да и та, паскуда,
Меня подвела! —
Чертова хитрость
Людям невдомек,
Выписывают черту
Колхозный паек.
Черт распинается,
Обут, одет:
— Бога, грит, товарищи,
Действительно нет!

Чего ж вы удивляетесь,
Язви вас?
На свете такое ли
Есть сейчас?
На свете такое ли
Есть теперь?
А была у мужа
Баба-зверь.
А он ее — палкой,
Она — батогом,
А он ее — плеткой,
Она — утюгом.
А он ее за дело,
Она его — зря.
Не знаем, за дело
Али-бо зря.
Она — в председатели,
Он — в писаря!

На него прошение
Ей несут.
А он ее — палкой,
Она — в нарсуд.
Заскрипели перья,
Пошла кутерьма:
Ей-то повышенье,
Ему — тюрьма.
Чего же вы гогочете,
Язви вас?
Подносите песельникам
Хлеб и квас.
Подносите сказочникам
Вина,
Упрошайте каждого
Пить до дна.
Чтобы чашку дó рту
Каждый донес,
Чтобы сказ про черта
Пелся всурьез.

А и начал он крутить
Да мутить народ,
А и начал он шмыгать
Взад и вперед:
— Мы, грит, не каторжные,
Это что ж,
Засевай пшеницу,
Овес и рожь.
Засевай пшеницу,
Овес и рожь,
Отдавай задаром,
Да это что ж?
Отдавай пшеницу,
Овес и рожь,
Содирай со тела
Двенадцать кож! —
А и начал он крутить
Да мутить народ.
А и начал он шваркать
Взад и вперед:
— Почему, откуда,

Как это так —
Для советской власти
Всякий — кулак?
Если три коровы
Да лошадок пять,
Почему б такого
В колхоз не взять?
А середь колхозу
Такие нашлись —
Сидят на карачках
И плачут: «Жи-исть!»
Сидят, смотрят грустно
И ноют: «Жи-и-сть!»
Да такое дело
Времем случись:
Задумал черт ночью
Чинить поджог,
Подпалил конюшни,
Чуть не убег,
Да поймали черта
Тогда мужики,
Кулацкого черта
Да в кулаки.
Да еще оглоблями
Со телег,
Да еще с размаху
Да ж. . . . в снег! . .

Эх, гармони пестрые,
Снегири,
Вот какие черти,
Черт побери!
Так не жди, хозяин,
Черт подери,
А такого черта
Сразу бери.
Бери за загривок
Побольней
Да гвоздём подборным
В пять саженей.
Эх, гармони звонкие,
Серебро,

Береги, хозяин,
Свое добро.
Береги, хозяин,
Добро свое
Кровное,
Колхозное,
Советскоё.

Под гармонь мы скажем,
Без всяких затей:
Наладится дело
Без чертей.
Раз вина не выпил —
Крепко стоишь,
Те ж, кто в чертей верит,
Получай шиш!..

16

А у нас колхозы
В златом хлебу,
А у наших коней
Звезды на лбу.
А ты что за чудная
Река — Иртыш?
В золотых колосьях
Вся ты горишь,
А те хлеба к Омску
Рекой потекут,
А те кони красных
Бойцов понесут.

Да у нас в совхозах
(Давно пора)
Уселись ребята
На трактора.
Иртыш, разговаривай,
Журчи быстрей,
Не видал ты раньше
Таких зверей?
Не на том ли тракторе

Маленький-мал
Поле с края до края
Перепахал?

И уже обвыкся
В наших ветрах
Норовистый красный
Широкий флаг.
А у нас по-новому
Теперь живут,
А у нас в колхозах
Девки поют:

«Я березу белую
В розу переделаю,
У мово у милого
Разрыв сердца сделаю.

А не сделаю разрыв,
Пойдем с милым на обрыв —
Иль в реке утопимся,
Иль в хлебах укроемся.

Все березыньки в тумане,
И река не пенится,
Милый ходит вокруг бани,
Ругается-сердится.

Милый, чо, милый, чо?
Милый, сердишься за чо?
Чо ли люди чо сказали,
Чо ли сам заметил чо?

На своем коне посадкой
Ты меня не удивишь,
Мне теперь увидеть сладко,
Что на тракторе сидишь.

Мы с тобою не в разладе,
Талисман убереги,

Подкулачник в палисаде,
Ты его не стереги.
Сама плетку закручу,
Сама лазать отучу. . .»

17

Круг по воде и косая трава,
Выпущен селезень из рукава.
Крылья сложив, за каменья одна
Птичьей ногой уцепилась сосна,
Клен в сапожки расписные обут,
Падают листья и рыбой плывут.
В степи волчище выводит волчат,
Кружатся совы, и выпи кричат.

В красные отсветы, в пламень костра
Лебедем входит и пляшет сестра.
Дарены бусы каким молодцом?
Кованы брови каким кузнецом?
В пламень сестра моя входит и вот
Голосом чистым и звонким поет.
Чьим повеленьем, скажи, не таи,
Заколосилися косы твои?
Кто в два ручья их тебе заплетал,
Кто для них мед со цветов собирал?

Кончились, кончились вьюжные дни.
Кто над рекой зажигает огни?
В плещущем лиственном неводе сад.
Тихо. И слышно, как гуси летят,
Слышно веселую поступь весны.
Чьи тут теперь подрастают сыны?
Чья поднимается твердая стать?
Им ли страною теперь володать,
Им ли теперь на ветру молодом
Песней гореть и идти напролом?

Синь солончак и звездою разбит,
Ветер в пустую костяшку свистит,

Дыры глазниц проколола трава,
Белая кость, а была голова,
Са́женная на саженных плечах.
Пали ресницы, и кудерь зачах,
Свяли ресницы, и кудерь зачах.
Кто ее нес на саженных плечах?
Он, поди, тоже цигарку крутил,
Он, поди, гоголем тоже ходил.
Может быть, часом, и тот человек
Не поступился бы ею вовек,
И, как другие, умела она
Сладко шуметь от любви и вина.
Чара — башка позабытых пиров —
Пеной зеленой полна до краев!

Песня моя, не грусти, подожди.
Там, где копыта прошли, как дожди,
Там, где пожары прошли, как орда,
В свежей траве не отыщешь следа.
Что же нам делать? Мы прокляли тех,
Кто для опавших, что вишен, утех
Кости в полы́нях седых растерял,
В красные звезды, не целясь, стрелял,
Кроясь в осоку и выцветший ил,
Молодость нашу топтал и рубил.
Пусть он отец твой, и пусть он твой брат,
Не береги для другого заряд.
Если же вспомнишь его седину,
Если же вспомнишь большую луну,
Если припомнишь, как, горько любя,
В зыбке старухи качали тебя,
Если припомнишь, что пел коростель,
Крепче бери стариков на прицел,
Голову напрочь — и брат и отец.
Песне о войске казачьем конец.
Руки протянем над бурей-огнем.
Песню, как водку, из чашки допьем,
Чтобы та память сгорела дотла,
Чтобы республика наша цвела,
Чтобы свистал и гремел соловей
В радостных глотках ее сыновей!

Переметная застава,
Струнный лес у Кокчетава.
По небу, по синему
Облака кудрявые бегут.

Струнный лес у Кокчетава,
Разожгла костры застава.
Гей, забава, слушай
Песню эту в тишине.

Другу вслед заулыбайся,
Своему отцу признайся,
Что руками белыми
Зануздала милому коня.

Своему отцу признайся,
Вдаль гляди и улыбайся,
Это кавалерия
По степи да с песнями идет.

(Версты — дело плевое,
Бей их, конь, подковою,
На врага сумей примчаться.
Что, девчонка, спрятала лицо?
Выходи полюбоваться,
Гей, иди полюбоваться
На красных бойцов.)

Примем, примем бой кровавый,
Стали вкруг страны заставой,
И пущай попробуют
Налетать на воинов враги!

Вкруг страны стоим заставой
И идем мы в бой кровавый,
Запевалы начали
Первыми противника рубить.

Заготовлены квартиры,
Ладный конь у командира —

Полквартала, пегий,
На копытах задних проплясал.

Ладный конь у командира,
Что ты взглядом проводила.
Твой дружок, чернявая,
Служит в девятнадцатом полку.

1929—1930

148. СОЛЯНОЙ БУНТ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. СВАДЬБА

Желтыми крыльями машет крыльцо,
Желтым крылом
Собирает народ,
Гроздью серебряных бубенцов
Свадьба
Над головою
Трясет.

Легок бубенец,
Мала тягота, —
Любой бубенец —
Божья ягода,
На дуге растет
На березовой,
А крыта дуга
Краской розовой,
В Куяндах дуга
Облюбована,
Розой крупною
Размалевана.

Свадебный хмель
Тяжелей венцов,
День-от свадебный
Вдосталь пьян.
Горстью серебряных бубенцов
Свадьба швыряется
В синь туман.

Девьей косой
Перекручен бич,
Сбруя в звездах,
В татарских, литых.
Встал на телеге
Корнила Ильич.
— Батюшки-светы! Чем не жених!

Синий пиджак, что небо, на нем,
Будто одет на дерево, —
Андель с приказчиком вдвоем
Плечи ему обмеривал.
Кудерь табашный —
На самую бровь,
Да на лампасах —
Собачья кровь.

Кони! Нестоялые,
Буланые, чалые...
Для забавы жарки
Пегаши да карьки,
Проплясали целый день —
Хорошая масть игрень:
У черта подкована,
Цыганом ворована,
Бочкой не калечена,
Бабьим пальцем мечена,
Собакам не вынюхать
Тропота да иноходь!
А у невестоньки
Личико бе-е-ло,
Глазыньки те-емные...
— Видно, ждет...
— Ты бы, Анастасьюшка, песню спела?

— Голос у невестоньки — чистый мед...
— Ты бы, Анастасьюшка, лучше спела?
— Сколько лет невесте?
— Шашнадцатый год.

Шестнадцатый год. Девка босая,
Трепаная коса,
Самая белая в Атбасаре,
Самая спелая, хоть боса.

Самая смородина Настя Босая:
Родинка у губ,
До пяты коса.
Самый чубатый в Атбасаре
Гармонист ушел на баса.

Он там ходил,
Размалина,
Долга-а
На нижних водах,
На басах,
И потом
Вывел саратовскую,
Чтобы Волга
Взаплески здоровалась с Иртышом.

И за те басы,
За тоску-грустёбу
Поднесли чубатому
Водки бас,
Чтобы, размалина,
Взаплески, чтобы
Пальцы по ладам,
Размалина,
В пляс:

Сапоги за юбкою,
Голубь за голубкою,
Зоб раздув,
Голубь за голубкою,
Сапоги за юбкою,
За ситцевой вьюгою,

Голубь за подругою,
Книзу клюв.
Сапоги за юбкою
Напролом,
Голубь за голубкою,
Чертя крылом.
Каблуки — тонки,
На полет легки,
Поднялась на носки —
Всё у-ви-дела!

А гостей понаехало полный дом:
Устюжанины,
Меньшиковы,
Ярко́вы.
Машет свадьба
Узорчатым подолом,
И в ушах у нее
Не серьги — подковы.

Устюжанины, мешанные с каргызом,
Конокрады, хлестанные пургой,
Большеротые, с бровью сизой,
Волчьи зубы, ноги дугой.

Меньшиковы, рыжие, скопидомы,
Кудерем одним подожгут што хошь,
Хвастуны,
Учес,
Коровья солома,
Спит за голенищем спрятанный нож.

А Ярко́вы — чистый казацкий род:
Лихари, зачинщики,
Пьяные сани,
Восьмерные кольца, первый народ,
И живут,
Станицами атаманя.

Девка устюжанинская
Трясет косой,

Шепчет ярко́вским девкам: — Ишь,
Выворожила, стерва,
Выпал Босой —
Первый король на цельный Иртыш.

Да ярко́вским что!
У них у самих
Не засиживалась ни одна:
Дышит легко в волосах у них
Поздняя, северная весна...

Пологи яблоновые у них.
Стол шатая,
Встает жених.
Бровь у него летит к виску,
Смотрит на Настю
Глазом суженным.
Он, словно волка, гонял тоску,
Думал —
О девке суженой.

Он дождался гульбы! И вот
Он дождался гостей звать!
За локоток невесту берет
И ведет невесту —
Плясать.

И ведет невесту свою
Кружить ее — птицу слабую,
Травить ее, лисаньку, под улю-лю
И выведать сырой бабою.

Зажать ее всю
Легонько в ладонь,
Как голубя! Сердце услышать,
Пускать и ловить ее под гармонь,
И сжать, чтобы стала тише,
Чтоб сделалась смирной.
Рядом садить,
Садовую, счастье невдалеке,
В глаза заглядывать,

Ласку пить,
Руку ей нянчить в своей руке.

— Ох, Анастасея... Ох, моя
Охотка! Роса. Медовая.
Эх, Анастасья, эх, да я...
Анастась!..
Судьба!
Темнобровая!

Я ли, алая, тебя бить?
Я ли, лю́бая, не любить?
Пошепчи,
Поразнежься,
Хоть на столько...
— Жениху!
С невестою!
Горько!

И Арсений Деро́в, старый бобер,
Гость заезжий,
Купец с Урала,
Володетель
Соленых здешних озер,
Чаркой машет, смеется:
— Мало!..

Он смеется мало, а нынче — в хохот,
Он упал на стол
От хохота охать.
Он невесте, невесте
Дом подарил,
Жениху подарил — вола,
Он попов поил, звонарей поил,
Чтобы гуще шел туман от кадил,
Чтобы грянули колокола.

Ему казаки — друзья,
Ему казаки — опора,

Ему с казаком
Не дружить нельзя:
Казаки —
Зашшитники
От каргызья,
От степного
Хама
И вора!

А к окну прилипли, плюща носы,
Грудой
У дома свален народ —
Слушать, как ушел на басы
Гармонист
Знаменитый тот,
Видеть, как Арсений Деров
Показывает доброту,
Рассудить,
Что жених,
Как черт, остробров,
Рассудить
Про невесту ту.

За́ полночь, за́ ночь...
Над станицей месяц —
Узкая цыганская серьга.
Лошади устали
Бубенцом звенеть...
За полночь, за ночь...
За рекой, в тальниках дальних,
Крякая,
Первая утка поднялась,
Щуки пудовые
По теплой воде
Начертили круги.
Сыпались по курятникам
Пух и помет,
И пошатывались
Петухи на нашестах,
Не кричали — зарю пили...
Свадебное перо

Ночь подметала,
Спали гости, которые не разошлись.

А жених увел невесту туда,
Где пылали розаны на ситце,
Да подушки-лебеди
В крылья не били,
Да руки заломанные,
Да такая жаркая
Жарынь-жара...

А на рассвете, когда табуны
Еще не кричали,
Не пели калитки,
Окна студеные были темны,
С дымных песков степной стороны
Дробно загрохотали кибитки.

Их окружали пыль и гром,
На лошадях
Разукрашенных,
В рыжем мыле,
Аткаменеры
Плясали кругом,
Падали к гривам и, над седлом
Приподнимаясь, небу грозили.

Красным лисьим мехом горя,
Их малахаи неслись, махая
Вялым крылом.
И неслась заря,
Красная, как их малахаи.

В первой кибитке
Хаджибергенев
Амильжан,
Хозяин,
Начальник, — он
Весь распух от жира и денег

И от покорной
Нежности жен:

У него в гостях не была худоба, —
Он упитан
От острых скул
И до пят.
На повозках кричат
Его ястреба,
И в степях
Иноходцы его трубят.

И у жен его
В волосах — рубли,
Соколиные перья — у сыновей,
Род его — от соколов и
От далеких,
Те-емных
Ханских кровей.

2. СГОВОР

Пал наутро первый
Крупный желтый лист,
И повеяло
Во дворы холодком.
Обронила осень
Синицы свист, —
Али загрустила
Она о ком?

А о ком ей грустить?
Птицы не улетели,
Весело дымятся
Лиственные костры,
Кружат
Ярмарочные карусели,
Режут воду шипом
Пенные осетры.

Али есть
Тоска о снегах, о зиме,

О разбойной той, когда между пнями
Пробегут березы по мерзлой земле,
Спотыкаясь, падая,
Стуча корнями?

Над крышей крашеной
Из трубы валит,
Падает подбитым коршуном
Дым.
Двор до половины
Навесом крыт,
Двор окружен бурьяном седым.

Там, в загонах дальних,
В ребрах оград,
Путами стреноженные
Волосяными,
Лошади ходят,
Рыбой скользят,
Пегие, рыжие,
Вороные!

Сена наметано до небес,
Спят в ларях
Проливные дожди овса,
Метится в самое небо
Оглобель лес,
И гудят на бочках
Железные пояса.

Устлан травой
Коровий рай,
Окружены их загоны
Долгим ревом.
Молоко по вымям их
Бьет через край,
Ходят они по землям
Ковровым.
Ходит хозяйство
По землям ковровым

Перед хозяином,
Перед Деровым!

Солнце играет
В листьях кленовых,
Солнце похаживает
На дворе,
Бьет по хребтам
Тридцатипудовых
Рыжих волов, звенит на подковах
И на гусином
Крупном
Пере.

Шибко ветер
Сыплет
Частой,
Мелкою дробью
В гусиный косяк,
Утлых гусят
И гусынь грудастых
В красных сапогах
Проводит гусак.

Дом стоит на медвежьих ножках,
Трубы глухи. Из труб глухих
Кубарем с дымом летят грехи,
Пляшут стерляди над окошком,
И на ставнях орут петухи.

Дом стоит на медвежьих ножках,
И хозяин, в красных сапожках
На деревянных гнутых ногах,
В облачных самоварных парах
Бьет ладонью о крытый стол,
Бьет каблуками в крашеный пол,
Рвет с размаху расшитый ворот
К чертовой матери! . . А за окном
Старый казацкий верблюжий город
С глиняной сопкой — одним горбом.

А во дворе
Гусак идет,
Стелет шею
И крылья,
Оберегает свой
Знатный род
И свое
Изобилье.

Низко над
Городом —
Облака,
Мешанные
Со снегами,
Но далека
Гроза,
Далека, —
Может быть,
За горами. . .

В горнице деровской
Казацкая знать,
На локоток опершись,
Дневует,
Светят лампады,
И божья мать
В блюдца на чай
Любовно дует.

Чайные глаза у нее,
Лик темнобров,
Строгая,
Чуть розовеют скулы,
Но загораживает
Деров
Божью мать: — Ясаулы!
Степняки,
Сторожа, на что ж
Наши крепости —
Наши славы, —
Курсаки, травяная
Мелкая вошь

Мутит бунт
И режет заставы?

Оспода,
На штандарте
Вашем — цари,
Ваши сабли
Не живы, что ли,
Чтоб могли
В степях дикари
Устюжаниных
Брать в дреколье?

И ярковских
Соколов брать?
Мы дождемся,
Когда кыргызы
Будут, мать
Твою в перемать,
На поповских
Парчовых ризах!

Кто владеет
Степной страной?
Нынче бунт соляной, —
Так что же,
Завтра будет
Бунт кровяной?
Соль в крови —
И железо тоже!

Сторожа-станишники!

Грызут усы
Сторожа. А Хаджибергенев
Головой качает:
— Джаксы. —
Он поджал
Под себя колени.

Он бежал
От степей,

Хвост поджав,
С долгой улыбкой
В глазах косых.
Правы есаулы,
Хозяин прав,
Хаджибергенев
Любит их!
Хаджибергенев
Знает
Их!
В сощурах глаз,
Ястребиных, карих, —
Сладковатый полынный дым,
Пламя ночных и полдневных марев
Азии нависает над ним.
Хаджибергенев знает:
Хозяин прав,
Соль — азрак тратур,
Прольется кровь.
Ведет от аулов
По гривам трав
Дорога, ни разу
Не заплутав,
Длинная, как
У атамана бровь.
Ой, джаман! [1]
Бежит сюда
Дорога, как лисица в степях, —
Там, в степях, кочует беда
На ворованных лошадях.
Там, в степях, хозяином — вор,
Пика и однозубый топор.
Он — свидетелем,
Он там был.
Глупые люди с недавних пор
Ловят на аркан
Казаков, как кобыл.
Трусы, рожденные
От трусих,
Берут казаков

[1] Джаман — плохо.

Почтеннейших там
За благородные
Кудри их,
Бьют их по благородным глазам,
Режут превосходнейшие
Уши им
И благородные
Уши те
Бросают
Презреннейшим псам своим,
По глупости и простоте.
Они за целых серебряных
Пять рублей
Не желают
Работать целый год.
Аллах, образумь! Аллах, пожалей
Глупый, смешной народ!
Хаджибергенев чувствует боль
В сердце за них, — они
Черпают всего лишь
Только соль,
Соль одну — круглые дни.
Они получают пять рублей
На руки в каждый год.
Аллах, образумь! Аллах, пожалей
Дикий, жадный
Народ! . .
Он отирает пот с лица.
Рука от перстней — золотая.
Идут, колышутся без конца
Его табуны к Китаю.
Ой-ё-ёй — идут табуны,
Гордость и слава его страны.
Овечьих отар пышны облака,
У верблюдов дымятся бока,
Град копыт лошадиных лют,
Машут хвосты, и морды ревут, —
Надо уберечь табуны. И вот
Он рукой отирает пот.
Надо надеть на народ узду
Крепче и круче,
Чем вначале,

Чтоб в соляном
И прибыльном льду
Люди работали
И молчали.
Тут Корнила Ильич Ярков,
Атаман станишный,
Слово берет, —
Он произносит его
Без слов,
Лаковый сапожок
Вынося вперед.
Хмель ишо гудит
У него в башке,
Бабий рот
Казака манит
Издалече,
Будто он держит
Еще в руке
Круглые и дрожжливые
Бабьи плечи.
Но из-под недвижных
Птичьих век
Яростный зачинался
Огонь. . .
Как руку невесты,
Нашла при всех
Рукоятку шашки
Ладонь.
И все уже видели:
Корнила Ильич
Все разговоры
Сгонит в табун
Долгим взглядом,
Затянет клич —
Плетью и саблей
Вытравить бунт. . .
Бунт!
Бунт!
Бунт!
Все уже знали:
Того и жди,
И нечего больше

Ждать.
Он — с регалиями
На груди —
Брови свои понесет
Впереди.
Саблю пустит порхать.
И, с глазами волчьих лун,
Мелкий смешок
В усах хороня,
Губы распластывает
Сразу: — Бунт?
Нечего говорить — на коня!

3. ГРАМОТА

Эти стаи привел на Иртыш Ермак,
Здесь они карагач на костры вырубали
И селились станицами возле зеленой волны,
Тынья, крепости называли по-рыбьи и птичьи, —
Так возникли Лебяжье, Черлак и Гусиная Пристань.

На буграх прииртышских поджарые кони паслись
Этих лыцарей с Яика, этих малиновых шапок,
Этих сабель свирепых и длинных пищалей,
И в Тоболе остались широкие крылья знамен,
Обгоревшие крылья, которыми битва махала.

К устью каменных гор они песни и струги вели:
Где стреляли по лебедю — там возникло Лебяжье,
Где осетр попадался обильно — Черлак возникал,
Где тяжелые гуси ломали осоку в полете —
Там Гусиная Пристань тын городила...

Ермак Тимофеич давал есаулам наказ,
Чтоб рубили дома казаки и ставили бани,
И брюхатили пуще баб завезенных,
И заставы покрепче держали на сопках дозорных,
Да блюли свои грамоты, власть и оружие.

Край богат. По Тоболу и дальше, в леса,
Собирай, словно ягоду, соболя, бей горностая,

Заводи неводами лисиц черно-бурых и красных.
Там на лбах у сохатых кусты костяные растут,
И гуляют вразвалку тяжелые шубы медвежьи.

Край обилен. Пониже, к пескам Чернолучья,
Столько птицы, что нету под нею песка,
И из каждой волны осетриные жабры да щучьи...
И чем больше ты выловишь — будет всё гуще и гуще,
И чем больше убьешь — остальная жирней и нежней.

А к Ишиму, к аулам, курган на курган,
И трава на траву, и луна на луну, и звезда
под копытом, —
Воеводство коровьего рева, курчавое море овечье,
Лошадиные реки, тяжелый кумыс в бурдюках,
Земли стонут от сытости, истосковавшись под ветром.

Край чужой. По ночам зачинается где-то тоска,
Стонут выпи по-бабьи, кричат по-кошачьи, и долго
Поднимаются к небу тревожные волоки волчьи.
Выдра всплещется. Выстрелит рядом пищаль,
Раздадутся копыта, — кочевники под боком были.

Край недобрый. Наклонишься только к ручью,
Только спешишься, чтобы подпругу поправить,
Тетива загудит, под сосок, в крестовину иль в глотку,
В оперении диком, шатаясь, вгрызется стрела, —
Степняки и дики и раскосы, а метятся ладно.

У Шаперого Яра на пузах они подползли,
Караульных прирезали, после ловили арканом,
Да губили стрелой, да с размаху давили конями,
Есаула Седых растянули крестом и везли
Три корзины ушей золоченому хану в подарок.

А до Яика сто перелетов гусиных —
В поворот бы, да шибко! И в свист — и назад.
Отгуляться за всё в кабаках даромшинных,
Да купцам повыламывать долгие руки покруче.
Там добыча полегче, чем эти пуды в осетрах.

Но купцы за широкой и дюжей спиной
Атаманского войска велись и радели,

И несли на подмогу цареву заступу и милость,
Подвозили припасы, давали оружью корма
И навстречу гонцам Ермаковым катили бочаги.

К устью каменных гор и Тоболу купцы подошли,
Подошли, словно к горлу, тряслись по дорогам товарным, —
Там, где сабля встречалась с копьем и щитами,
Крепко-накрепко встали лабазы, обмен и обман.

А станицы тянулись туда, где Зайсан и Монгол,
От зеленой волны и до черной тянулись и крепли,
Становились на травах зеленых, на пепле,
На костях, на смертях, и веселую ладили жизнь
Под ясачным хоругвем ночных грабежей и разбоя.

И когда не хватало станичникам жен привозных,
Снаряжались в аулы, чинили резню, табуны угоняли,
Волокли полонянок скуластых за косы по травам
И, бросая в седло, увозили к себе на тыны,
Там, в постелях пуховых, с дикарками тешились вволю.

Оттого среди русых чубатых иртышских станиц
Тут и там азиятские водятся скулы,
Узкий глаз азията и дугами гнутые ноги, —
Это кровь матерей поднимается исподволь в них,
Слишком красная, чтобы смешаться с другою.

Но купецкие люди своих не держали кровей,
Шибче крови степями купецкие деньги ходили,
Открывали дорогу в глубинную степь, к Атбасару,
Шли на юг и на север, искали в горах серебро,
И косили зверье, и людишек вповалку косили.

Вознесли города над собой — золотые кресты,
А кочевники согнаны были к горам и озерам,
Чтобы соль вырубать и руду и пасти табуны.
Казаков же держали заместо дозорных собак
И с цепей спускали, когда бунтовали аулы.

4. СБОРЫ

Коням строевым засыпали кормá
По старому чину,
Рядами.
На диво
Узда в серебре. Огневая тесьма
И синяя лента
Закручены в гривы:
И то вроде гульбища — масленой — гэ!
Плясать над ордой
Косоглазой — забава,
И в ленточной радуге,
Звездной пурге
Нагайкой — налево
И саблей — направо...
Ого, молодечество,
Выжечь с травой,
Повытоптать — начисто
Смуту в окружье!
Куражься да балуйся,
Ножик кривой,
Да пика кыргызская —
Тоже оружье!
По старому чину
Жены седлали
Коней!
Бровишки насупив зло,
Старая Меньшикова
В кашемировой шали
Вышла старому
Ладить седло,
Старому свому
Покрепче, потуже
Подпругу тянула рукой костяной.
Надо — и под ноги
Ляжет мужу,
Коли ему
Назвалась женой.

Меньшиковская
Рыжая семья —

Двадцать подсолнухов подряд, —
Меньшиков и его сыновья
Хлещут чай и тихо гудят.
Младший сын завистней всех:
— Чо ето приплетать голытьбу,
Курам — в смех,
Рыбам — в смех!
Чо ли не ладно нам
Без помех
Сотней одной
Наводить гульбу?
Тожа, подумаешь!
Что за вояки!
Босых — берут,
Сирых — берут.
Во, погоди,
Только утка крякнет,
Баба ль натужится, — убегут. —
А меньшиковское дите
У отцовских плеч:
— Батька, ба, пошто эти сабли?
Куда собирашься?
— Кыргызов жечь.
— А пошто?
— По то, что озябли.
— А ты бы им шубы?
— Не хватит шуб. —
Дите задумалось: «Ую-ю!
Так ты увези им дедов тулуп,
Мамкину шаль и шубу мою!»

А у крепости начинались трубы,
Стучали копыта, пыль мела,
Джигитовали, кричали: «Любо!»
Булькали железной водой
Удила.
Род за родом шли на рысях,
Смаху плетью стелились махом,
Остановившись, глазом кося,
Кланялись есаульским папахам.
    «Ей, да не ходи
    Смотреть, забава, скачку.

Ты напрасно, любушка,
Д' не прекословь,
Если не слюбились
Мы с тобой,
Казачка,
Если закатилась
Ранняя
Любовь. . .»

Тут же разбились на сотни
И — в круг.
Смолкнули, приподнялись на коленях.
Треснуло, развернувшись, знамя,
И вдруг
Выехал казначей!
Ходаненов!
Дал атаману честь
И — айда!
Выплясал дробь,
Не срываясь
С места.
Лошадь под ним —
Не лошадь,
Беда!
Вся разукрашена,
Как
Невеста.
Дал Ходаненову
Голос бог.
Дал ему
Голоса
Сколько мог.
А Ходаненов
К гриве
Прилег
И затрубил,
Что гоночный
Рог:
— Казаки! . . Нехристи!
Царя! Супротив!
Не допустим!
Братья!

С нами вера! —
...Чуть покачивались
Птицы грив.
Кто-то ворчал:
— Какого х...
Мылится?
Деньги считал бы... ать! —
Кто-то рядом
Сказал: — Молчать!..
— Казаки! Без жалости!
Блюсти дисциплину!
Нас не жалеют,
И их —
Пора!.. —
И сразу на всю
Крепостную
Равнину
Грузно перекатилось:
— Ура!
— Ура-а-а!

Из переулка, войску
Навстречу,
Вынесла таратайка
Попа, —
Сажень росту, парчовые плечи,
Бычий глаз,
Борода до пупа.
Поп отличный,
Хороший поп,
Нет второго
Такого в мире,
Крестит на играх,
Смеючись,
Лоб —
Тяжелою
Двухпудовой гирей.
Конокрадов жердью бил,
Тыщу ярмарок открыл,
Накопил силищу бычью,
Окрестил киргизов тыщу.
Ввек не сыскать

Другого такого.
Слова его — как
В морду подкова.
Он стоит — борода до пупа.
Ввек не сыскать
Такого попа.
Он пошел,
А за ним —
Весь чин,
Выросший
В чаду
Овчин
И кончин.
Дьякон Шугаев
С дьяволом
В глотке,
Пономарь,
Голубой
От чесотки,
Конокрад,
Утекший
Где-то в леса...

Грянули!

С левого клироса голоса:
— ...Благочестивое воинство! —
Поп пошел
Мимо воинства
Шагом твердым,
Пригоршней
Сыпал
Святой рассол
На казаков,
На лошажьи морды.
Кони сторонились
От кропильницы
Молча, —
Они не верили
Ни воде, ни огню.
Волчий косяк
Поповской сволочи

Благословлял
Крестами
Резню.
Кони отшатывались
От убоя,
Им хотелось
Теплой губою
Хватать в конюшенной
Тьме овес,
Слушать утро
У водопоя
В солнце
И долгом гуденье ос.
Глухо раскачивалось кадило —
Зыбка, полная
Красных углей,
Цепью гремела,
Кругом ходила
И становилась
Всё тя-я-желей. . .
И попы, по колено в дыму,
Пахнувшем кровью,
Тоской и степью,
Шли и шли по кругу тому,
Пьяные от благолепья.
— Го-о-споди!
— Н-но! . . —
Атаман Ярков
Спешился, пал,
Прильнул к кресту.
Смолкнули. — Аа-рш! —
Из-под подков
Ропот убежал на версту.

Люди текли,
И на травах мятых
Поп, сдвигая бровей кусты,
В жарком поту,
В парчовых латах,
Ставил на сотнях
Крестом кресты.
И последний, с ртом в крови,

Шашкой
Над головой гуляя,
Меньшиков гаркнул:
— Благослови
На гульбу!
— Благословляю.

Так и стояли они, густой
Ветер поглатывая осенний
Ртами, кривыми от песнопений,
Серебряный дьякон и поп золотой.

А сотни
Уже по степи текли
В круглой,
Как божья земля, пыли.
В бубны били,
Роняли звезду
На солончаковом
Твердом льду.
Песней с их стороны подуло:
«И на эту орду
Я вас сам поведу,
А за мною пойдут
Есаулы».

Шли они
Средь солончаковых льдин,
В крепкий косяк
Востроносый слиты,
Не разрываясь,
И только один
Выскочил,
Крутясь на одном копыте.
Он долго петлял,
Не мог пристать,
Вырванный из пик городьбы,
Будто нарочно показывал стать,
Становя коня на дыбы.

5. СТЕПЬ

Тлела земля
Соляной белизною,
Слышался дальний
Кизячный пал,
Воды
Отяжелевшего зноя
Шли, не плеща,
Бесшумной волною,
Коршун висел-висел —
И упал.
Кобчик стрельнул
И скрылся, как не был.
Дрофы рванулись,
Крылом гудя,
И цветы,
Уставившись в небо,
Вытянув губы,
Ждали дождя.
Степь шла кругом
Полынью дикой,
Всё в ней мерещились:
Гнутый лук,
Тонкие петли арканов, пики,
Шашки
И пальцы скрюченных рук.
Всё мелькали
Бордовые кисти,
Шелковые, нагрудные, и
Травы стояли
Сухи, когтисты,
Жадно вцепившись
В комья земли.
Травы хотели
Жить, жить!
И если б им голос дать,
Они б, наверно,
Крикнули: «Пить,
Пить хотим,
Жить хотим,
Не хотим умирать!

Жить нет сил,
Умирать не в силах
В душном сне песчаных перин».
И лишь самбурин-трава
На могилах
Тучнела, косматая, самбурин.
Много могил!
Забыв об обиде,
О степях, о черемушнике густом,
Землю грызут безгубым ртом
И киргизы, зарытые сидя,
И казаки,
Растянувшись пластом.
Больно много
Могил кругом легло.
Крепок осенью тарантулов яд,
Руки черные карагачу назад
Судорогою свело.
Суслики, чумные, свистят.
Суслики за лето стали жирны,
Поглупели от сытости и жары,
Скоро заснуть они должны
В байковом рукаве норы.
Скоро мокрый снег упадет. . .

Первый суслик скользнул вьюном,
Свистом
Оповестил свой народ:
— Впереди белая пыль идет,
Позади люди идут табуном.

Не до песни. Чубы помокрели.
Лошади ёкают, в поту, в паутах.
Чертова пыль вроде метели,
Седла под задницами — не постели,
Земля качается, как на китах.
На удилах, на теплой стали —
Пенный жемчуг лошадиной слюны.
Лошади фыркают — знамо, устали.
Ой, в степях дороги длинны! . .
Тут бы ночь догнать

Ды в туманы,
Хоть в прохладу, коль не в кровать.
Федька Палый настиг атамана:
— Таман, а мне бы по. . .ть?
— У Шапера пойдем в разбивы,
Там и дождешься, нно-о! У меня!
А то, если надо, — рядом грива,
Лучше приладься и крой с коня. . . —
Хохотнули. Чья-то плеть
Свистнула. — Ну, ежели туда
Да доберемся, баб не жалеть!
Баба — она ядовитей. Н-дда!
Гей! — Поддакнули. Снова плеть.
Злоба копилась
Вместе с слюной.

Солнце шло от них стороной,
Степь начинала розоветь.
Пах туман парным молоком,
На цыпочки
Степь приподнялась,
Нюхала закат каждым цветком,
Луч один пропустить боясь.
У горизонта безрукие тучи
Громоздились, рушились, плечи скосив,
Вниз, как снега, сползали с кручи
В дым, в побагровевший обрыв.
И казалось — там, средь туманов,
Мышцы напрягая, не спеша,
Тысячи быков и великанов
Работают, тяжело дыша.
А Шапер пополз навстречу скоро,
Косами маревыми повит,
Перекутав в угарный морок
Земляные титьки свои.
Ой, в степях пути далеки!
Хорошо в траву лечь!
Здесь костры лохматые казаки
Затеплили богу заместо свеч.
Заместо причастья хлебали щи,
Заместо молитвы грели в мать:

— Нам чего рассиживаться?
— Молчи!
Подождешь замаевать!
— Нече ждать!

— Есаулы,
Братцы-казаки,
От Шапера дальше
Ведем поход.
Я половину веду, однако,
Меньшиков остальных
Поведет!
— А что же, можна-а!
— Корнило Ильич!
— Нам желанно!
— Любо, желанно!
— Пусть ведет нас
Рыжий сыч!
— Под Меньшикова!
— Под атамана!
И когда разбивались,
Перекличку вели,
Делили доблести и знамена,
Спорили о корысти,
Как лучше аул Джатак,
Аул беспокойный, у купецкой соли,
Выжечь начисто,
Вырвать ему горячие ноздри,
Поделить добро и угнать.
Ой, да угнать — пыль оставить!
Так начинали обход...

Так начинали обход...
Меньшикову дали вперед
Вымчать. И он, седой,
Пестрый от рыжины, старый,
Гремя тяжелой уздой,
Повел красу Атбасара.
        Он держал
        Свою награду,
        Под ним конь

Ступал как надо,
Оседал
На задни ноги,
Не сворачивал
С дороги.
Он их вел
По травам бурым,
По седым
Полынным шкурам,
Через дымные
Огни,
По курганам,
По крови!

Он их вел, заломив папаху,
Распушив усы густы,
Подбоченившись, и от страху
От него бежали кусты.
Он их вел через мертвые кости,
Через большую тоску степей,
Будто к лысому черту в гости,
Старый сластень, рыжий репей.
Из-под ладони смотрел на закат:
Там горел, пылал вертоград,
Красное гривастое пламя плясало
И затихало мало-помалу.
Рушились балки, стены! Летели
Полные корзины искр. Блестело окно. . .
Через крутьбу огневой метели
Дым повалил. Стало темно.

6. СОЛЬ

Ты разгляди эту стужу, припев
Неприютной
И одинокой метели,
Как на лысых, на лисьих буграх, присмирев,
Осиротевшие песни
На корточки сели.

Под волчий зазыв, под птичий свист,
На сырую траву, на прелый лист.

Брали дудку
И горестно сквозь нее
Пропускали скупое дыханье свое:
— Ай-налайн, ай-налайн...[1] —
А степь навстречу шлет туман,
Мягкорукий, гиблый: — Джаман! джаман! —
А степь навстречу пургой, пургой:
— Ой, кайда барасен?
Ой-пу-урмой!

Ой-пур-мой!..

Некуда деваться — куда пойдешь?
По бокам пожары — и тут, и там.
Позади — осенний дождь и падеж.
Впереди — снег
С воронами пополам.
Ой-пур-мой...
Тяжело зимой.
Вьюга в дороге
Подрежет ноги,
Ударит в брови,
Заставит лечь,
Засыплет снегом
До самых плеч!

Некому человека беречь.

Некому человека беречь.
Идет по степи человек,
Валится одежда с острых плеч...
Скоро полетит свистящий снег,
Скоро ему ноги обует снег...
Скоро ли ночлег? Далеко ночлег.
А пока что степь, рыжа-рыжа,
Дышит полуденной жарой,
В глазах у верблюда
Гостит, дрожа,
Занимается

[1] Моя милая, моя милая.

Странной игрой:
То лисицу выпустит из рукава,
То птицу,
То круглый бурьяна куст.
Вымерла без жалоб,
Молчит трава,
На смертях замешанный, воздух густ.
Стук далек, туп. Зной лют.
Небо в рваных
Ветреных облаках.
Перекати-поле молча бегут,
Кубарем летят,
Крутясь на руках.
Будто бы кто-то огромный, немой,
Мертвые головы катает в степи.

Человек идет,
От песни прямой,
Перед встречами, перед степью самой.
Человек поет: — Сердце, терпи! —
Там далеко — аул.
В пыли аул потонул
У соляного
Льда.
— Сердце, терпи!

Беда!
Муялды, Баян-Коль, Кара-Коль,
Рыжая рябь песка.
Бела соль, не сладка соль.
Чиста соль. Горька! Горька!
Чиста соль — длинны рубли.
Работают на соли
Улькунали, Кишкинтайали,
Джайдосовы. Горька соль.
Плывут, плывут степные орлы
Прямо на Каркаралы.
Ноги белы, юрты круглы.
Черна вода Кара-Коль.
Степь от соли бела.
Соль хрустит на зубах.

Соль на щеках
Румянцы зажгла.
Соль горит на губах.
Бела соль, страшна соль,
Прилипчива, как тоска.
Муялды, Баян-Коль, Кара-Коль.
По колено песка.
Сначала тряпичные дуаны
Собирали вокруг народ,
Кричали в уши своей страны:
— Горе идет!
— Горе идет!
Ветер волосы им трепал.
— Горе! — Молчал народ.
Голод к ушам страны припал
И шептал: — Горе идет.
— Горе! — отвечали ему аксакалы.
Страшна соль,
Как седина бела,
Близка зима, лето пропало,
В степь убежал мулла.
Тощи груди у женщин,
Нет молока,
Ни пригоршни хлеба нет,
Дорога к весне
Далека, далека,
Узка, словно волчий след.
Казачий дозор
Порол святых,
Солью сдабривал порку, а где
Ловили беглых, держали их
Долгий час в соленой воде.
— Скушно, — беседовали казаки, —
Держи косоглазых здесь.
Бабы отсюдова далеки,
А бабы что ни на есть. . . —
У есаула — досада, зло,
Сиди да хлещи кумыс.
Давеча пять киргиз пришло,
Мнутся и смотрят вниз.
— Вам чего?
— Курсак пропал,

Нет ни хлеба, ни одеял.
— Хлеба нет!

Киргиз в ответ:
— Хлеба нет — работа нет... —
Взяли в плети. Удалось,
Сволочи! Вашу мать!
Вместо хлеба, чтобы жралось,
Соль заставили жрать.

Наутро всё пошло как надо,
Работа пела на полном ходу.
— Чтоб не найти
На киргиза слада!
Го! Потуже тяни узду!.. —
Покрикивали десятники:
— Пшел, пшел!
Лошадь нашто-е, се одно... —
И людей многоногий потный вол
Тянет соляные глыбы. Но
Только полдень у костров, в ста
Шагах от черной воды,
Сел на корточки аул Джатак,
В круг
Сомкнув
Голов ряды.
Женщины медной, гулкой кожи,
В чувлуках,
Склонившие лбы.
На согнутых спинах у них, похоже,
Вместо детей сидели горбы.
Тысяча отцов, отирая пот
Ладонью, другую прижав к груди.
Перебирая белое пламя бород,
Аксакалы впереди.
Плыл и плыл полуденный дым.
Молчал Джатак
В соляной петле.
Молча сидел под небом родным,
Под ветром родным,
На родной земле.
Десятники не поняли: — Эй, эй!

Поднялись! Начинай работу! Чо вы!
Некерек!
Пошевеливайся живей!
Поднимайсь! .. —
И сбились на полуслове...
Кто-то залопотал темно и быстро.
Джатак качнулся и отвечал,
Будто упала летучая искра
И подожгла сухой завал.
Кто-то мешал молитвы, проклятья.
Джатак
Покачивался,
Сидя на траве,
И отвечал на глухое заклятье:
— Йе, йе, йе... —
И вдруг гортанно, долго сзади
Женщины завыли: — О-о-о-оо! —
Рвали волос травяные пряди,
Острыми ногтями
Вцепившись в лицо.
— О-о! — И отцы им вторили: — Йе! —
И степь повторяла: — О-оо-оо! —
Это раскачивалось
На пыльной траве,
Ноги поджав, горе само.
Десятники схватились. Пряча хвост,
Ноги в руки и ковыляя — айда! —
Первый прибежал
На казацкий пост:
— Киргизы затосковали! Беда!
— Беда? Сами бедовые! .. —
Коротки сборы.
Есаул оглядел сбор свысока
И всадил коню гремучие шпоры
В теплые, нагулянные бока.
Казаки подлетели вьюгой слепой,
Кони танцевали, разгорячась,
Боком ходили перед толпой.
Есаул выехал: — Подымайсь! .. —
Но аул всё сильней и сильней
Пел и качался, качался и пел.
Женщины бросали

Под копыта коней
Кричащие камни детских тел.
Остановив коня в повороте,
Есаул приподнялся на стременах: — Дикари!
Чего бунтуете?
Чего орете?
Начисто перепорю! Говори! .. —
В передних рядах, медноскулый,
Скуднобородый, вырос старик.
Он протянул ладонь над аулом.
Аул покачнулся,
Взвыл
И затих.
— Начальник,
Мир тебе.
Ты сыт и рыж.
Мы, собаки светлоглазых людей,
Просим в пыли, начальник,
Пойми ж,
Что соль эта —
Хитрый, горький злодей.
Соль изъела сердце мое. —
Качнулся аул: — Йе, йе, йе! ..
— Начальник, ты мудр,
Золотоплеч.
Владеет нами
Племя твое.
Соль —
Отвратительнейшая вещь.
Мы отвращаемся от нее.
Качнулся аул: — Йе, йе, йе! ..
— Начальник, мы готовы молчать;
Мы черны,
Как степные карагачи.
Ты бел, как соль,
Ты не молчи,
Не заставляй нас
Соль добывать,
Лучше конями нас
Растопчи.
Приятно и мудро слово твое.
— Йе, йе, йе! ..

— Соль, страшнее
Всяких неволь,
Держит нас на цепи.
Мы не желаем
Черпать соль!
Оставь нас
В нашей степи!
Соль страшнее
Всяких неволь,
Мы завидуем
Вашим псам.
Если нужна тебе,
Мудрый, соль,
То черпай ее,
Начальник, сам,
Работа твоя, желание твое.
— Йе, йе, йе! ..

Есаул побагровел,
Раздулся от злобы: — Я?!
Этак? Начисто перебьем! .. —
В самую гущу
Двинул конем,
Саблею
Перекрестил старика плашмя.
Лошади по пузо вошли в толпу,
Каждый казак протоптал тропу,
Взвизгнула плеть в руке,
Но тут
Женщина в чувлуке
Повисла вдруг на луке:
— Эй! .. Атанаузен!! . — Вслед за ней
Остальные
Рванулись
Из-под подков,
Кучами
Облепили коней,
Стаскивали
С седла седоков.
Хрипя, вырывали из рук клинки,
Били,
Не видя ни глаз,

Ни лица.
Это горе само подняло кулаки,
Долго копившееся в сердцах.
Женщина рвалась к есаулу,
Глаза ища
Его
Ненавистные:
— Ба-а-ай-бича! .. —
Двое вырвались, спасая себя
От смерти. Ложась на висок,
Они скакали, воздух рубя
Плетями наискосок.

Наутро в степь собирался аул,
На верблюжьи горбы грузя
Кошмы и скарб. Ветер дул
Возле озера, толпясь и грозя.
Стойбище опустело,
Мало-помалу
Сужались песчаной зыби круги.
Степь отступала и отступала,
Вслушиваясь в верблюжьи шаги.
Муялды, Баян-Коль, Кара-Коль,
Бела соль, не сладка соль.

Плывут, плывут степные орлы
Прямо на Каркаралы.
Ноги белы, юрты круглы,
Черна вода Кара-Коль...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

7. «СРАЖЕНИЕ» У ШАПЕРА

Кто видал,
Как вокруг да около
Коршун плавает
И, набрав высоту,
Крылья сложит,

Падает с клекотом,
Когти вытянув на лету?
Захлебнется дурная птица
Смертным криком,
Но отклик глух,
И над местом, где пал убийца,
Долго носится
Белый пух.

Увидали кочевники — нет путей:
Тыщи их,
Но нечем сразиться.
В ливне сабель,
Пик
И плетей
Казаки налегали
Лютей и лютей,
Дикошары, багроволицы,
Выпучив глаза
И губы скосив,
Ничего не видя
Перед собою.
Им запевала
Над пляской грив
Хриплая труба разбоя.
Им запевала в уши кровь,
Сладкая пробегала
По спинам мурашка,
И мелькали в разбеге
То зубы,
То бровь,
То копыто,
То вострая шашка.
Не домчав в перехлестанном гике
(Гай-да!), разом
Спустили курки.
И передних взяли
На пики,
Как на играх
С трухой мешки.
Сабли заработали: куда ни махни —
Руки,

Головы,
Глотки и спины.
Сабли смеялись — знали они,
Что сегодня —
Их именины.
Откормленные, розовые,
Еще с щенячьим
Рыльцем, казачата —
Я те дам! —
Рубили, от радости
Чуть не плача,
По черным, раскрытым,
Орущим ртам.
Меньшиков устал,
Глядя по усам,
Шашкой своей
Высекать огонь.
От крови
Красноногий сам,
И под ним
Краснобокий конь.
Он Устюжаниным крикнул: — Ишь,
Какая выдалась
Работа, брат!
Как ты здесь
С киргизом наговоришь?
Бьешь его
По темени —
Не умират!.. —
Устюжанины
Резали наголо,
Подбирали пиками
То, что бегло.
Федька Палый
Видит: орет тряпье —
Старуха у таратаек, —
Слез с коня
И не спеша пошел на нее,
Весело пальцем к себе маня:
— Байбача, отур,
Встречай-ка нас
Да не бойся, старая!.. —

Подошел — и
Саблей ее весело
По скулам — раз!
Выкупались скулы
В черной крови...
Старуха, пятясь, пошла, дрожа
Развороченной,
Мясистой губой.
А Федька брови поднял: — Што жа,
Байбача, што жа с тобой?.. —
И вдруг завизжал —
И ну ее, ну
Клинком целовать
Во всю длину.
Выкатился глаз
Старушечий, грозен,
Будто бы вспомнивший
Вдруг о чем,
И долго в тусклом,
Смертном морозе
Федькино лицо
Танцевало в нем.
Рядом со знатью,
От злобы косые,
Повисшие на
Саблях косых,
Рубили
Сирые и босые
Трижды сирых
И трижды босых.
И у них наделы
Держались на том,
И у них скотина
Плодилась на том,
И они не хотели
Своим хребтом —
А чужие хребты
Искать кнутом.
— Б-е-й!.. —
Григорий Босой было
Над киргизской девкой
Взмахнул клинком, —

Прянула
Вороная кобыла,
Отнесла, одетая в мыло...
Видит Григорий Босой: босиком
Девка стоит,
Вопить забыла...
Лицо потемнело,
Глаза сле́пы,
Жалобный светлозубый оскал.
Остановился Григорий:
Где бы
Он еще такую видал?
Где он встречал
Этот глаз поталый?
Вспомнились:
Сенокос,
Косарей частокол...
И рядом с киргизской девкой встала
Сестра его, подобравши подол,
Говаривала:
«Стомился, Гришка?» —
Зазывала под стог
Отдохнуть, присесть.
Эта!
Киргизская Настя!
Ишь ты,
Тоже, гляди, так и бра́тья есть.
— Бе-ей!.. —
Корнила Ильич вразброс
Вымахал беркутом над лисой:
— Чо замешкался, молокосос?
Руби,
Григорий
Босой! —
Шашка зазвенела вяло,
Зашаталась, как подстреленный на бегу.
Руки опустив,
Девка стояла...
— Атаман?!
— Руби!
— Не могу... —
Да Корнила Ильич

Потемнел от крови,
Ощетинился всей своей сединой,
У переносицы
Встретились брови,
Как две собаки перед грызней.
— Руби, казак!
— Атаман, нельзя...
— В селезня,
В родителей,
В гроб!
Голытьба! Киргизам
Попал в друзья!.. —
И раскроил, глазами грозя,
Григорию плетью лоб.

(Сабля!)

Был атаман —
И не был.
Безнадельный,
Хромой
Смел посметь...
И упал атаман,
И в ясное небо
Перерезанной глоткой
Стал смотреть.
Не увидеть больше
Ни жены, ни дома...
Ходит смерть козырем с плеча!
Так довелось Григорию Босому
Уходить Корнилу Ильича.
У таратаек же шла расправа —
Летали стаи плетей,
Бунтовщиков валили на травы,
Били до полусмерти, а те
Только поднимали руки:
— Не тронь!.. —
Но не упасет от убийц ладонь,
И ходил разбой — кулаки в бока,
Подмигивая глазом рябым.
А кой-где
Уже стлался сизый дым

Костров и тонкий дым табака.
И уже начинали шутки ходить,
Кровью от них попахивало: — И-и,
Я на него шашкой, стало быть,
А он кулаками, братцы мои!
«У проторенной дорожки
Закуривай козьи ножки».
«У рябого милую
Отберу я силою».
«Есть у милой сторожа,
Опричь острого ножа».
«Ну, кака́-никака́ песня,
А лучше драки,
Кака́-никака́ мила
Лучше собаки. . .»
«. . .Пылают, светают
На яру костры,
Белы гуси
В воде плещутся».
(Подпевалы:
«Загоняй гусей во двор».)
«Было у казака
Три красы сестры,
Смиренны растут:
Ой, не натешатся!»
(Подпевалы:
«Береги, казак, сестер!»)
«Ой, да смиренны растут. . .»
Тут же рядом,
Свернув сапоги калачом,
Мастерится ходок по загадам,
Перемигиваясь с плечом:
— Сто двадцать одеж,
А поверху — плешь,
Посоли да съешь, —
Угадай-потешь:
Чо тако?
— Под зеленым гарусом
Висит красным ярусом. . .
Чо тако?
Чо тако? . .
Гармонь затряслась,

Далеко-о
Отдались ее лады-лады:
— Росла у воды,
Да ушла в сады,
Чо тако?
«Смиренны были,
Ой, обманные...»
Караванные курганы дороги...
Пахнет караванная
Ночь зимой:
Ой-пур-мой!..

А Корнила Ильич
Лежит немой,
Дырявой рогожей
Закрыты ноги,
Зарезанный,
Ничему не рад,
Царевой службы саженные мощи.
Знамя царево
Над ним полощет,
На груди медали
Тихо блестят,
И, словно поп
По церкви пустой,
Ходит над ним месяц
От тучи к туче...
Так вот и лежит,
Простясь с маетой,
Усопший раб
На телеге шатучей.
Так вот лежит!
И когда рассвет
Лучища
Вытянет по степи,
Ты не раскроешь
С треском
Глаз своих, нет!
Не расправишь
Черствые кости.
И такая будет
Большая роса,

И такой на заре
Гусей перелет,
И набьется ветер
Тебе в волоса,
И такое
Россия
Вдруг запоет,
Что уж лучше
И не вставать атаману.
И такой полетит
Широкий лист,
И такого жизнь
Напустит туману
Утром рождений,
Любви,
Убийств!
Так вот лежи!
Слепошарый вояка,
Ты — убивавший —
Убит, убит.
Ты не услышишь,
Как утка закрякает
И селезень
Вслед за ней прошумит.
Ты не услышишь,
Как в теплом дыме
Зари, сквозь холодок и теплынь,
Друзья твои,
С руками такими ж,
Девок киргизских
Потащат в полынь.

Ты лежишь,
Ни о чем не споря,
Ничего не желая
Больше знать.
И если
На карачках
Киргизское горе
Подползет
И в глаза тебе
Будет плевать,

Ты смолчишь,
Не поднимешь
Мертвой руки,
Заслуживший
Награду такую сам,
И медленно будут
Ползти плевки
От мертвых скул
К сивым усам.
И зáдолго до того,
Как в каменной
Церкви
Поплывет по рукам
Безвесельный гроб,
И, от натуги
Лицо исковеркав,
Заупокойную
Грянет поп,
И дюжинами
Волчьи свечи
Зажгутся
Возле Христовых ног,
И слезы уронит
Человечьи
Мать твоя
В припасенный платок.
Тебе зажжена
Панихида волчья,
Сеявшему десятины мук...
Мир
Останку
Царевой сволочи,
Мир
Праху
Твоему!

Спеленали веревками
Гришу Босого,
На телеге сидит он,
Супя глаз, —
Так сидят
На привязи совы

Ярмарочные,
Вывезенные напоказ.
Спеленали веревкой
Босого Гришу,
На телеге сидит он,
Супя взгляд, —
Так на ярмарках
В Заиртышье
На побитых ворах
Шапки сидят.
Смотри, казак!
Степь широка-а-а,
Жестока степь,
Ой, жестока-а-а!
Далеко-о-о,
Возле травяного песка,
От станиц в леса
Уходит река-а-а.
Далеко у реки
Станицы птичьи,
Солнце через реку
Ходит вброд.
Сынка дожидается
Матка с отличьем,
А сын к ней
С петлей на шее придет,
И хворобой
Выщипанные брови
Отец нахмуря,
В глаза поглядит,
И целый ушат
Потемневшей крови
Плеснет ему
В дряхлые щеки стыд.
Ой, стыд,
Ой, стыд Босого породе!
С головы до ног
Огадил отца.
...А возле телеги
Меньшиковы ходят,
По-волчьи смеются,
Ку-ра-жа-тся.

— Чо говорить!
Голытьбу голытьба
За версту видит.
Этот не первый...
Чо с ним
Канителиться, пра, —
Взять ба
Да и прирубить
Босяцкую стерву!.. —
И разворачивали кисеты,
Мимо колючий пустив дымок.
Ветер же,
Будто нарочно
Гретый,
Легкий и махонький,
Как мотылек.

К вечеру
Потянулись домой,
Но позади
Нету добычи.
Кто поживится
Киргизской сумой?
Хоть пограбить —
И славный обычай!
Ленты повыплетались из грив,
Цепкие
Расползались саксаулы, —
Шли впереди,
Башку заломив,
Меньшиков
И с ним есаулы.
Вслед за ними —
Сам атаман,
На кибитке,
С глоткой черной,
Сотен
Раскинутый караван,
Черствых копыт
Перестук упорный...
А позади
То шагом,

А то бегом,
Взнузданный
Хмурыми матюгами,
Гришка тек за кобыльим хвостом,
Часто всхлипывая сапогами.

8. ГУЛЬБИЩЕ

Подымайся, песня, над судьбой,
Над убойной
Треснувшею
Снедью, —
Над тяжелой
Колокольной медью
Ты глотаешь
Воздух голубой.
И пускай
Деревья бьются
В стекла,
Пляшет в бочках
Горькое вино,
Бычьей кровью
Празднество намокло, —
Звездами
Хмелеть тебе дано.
И пускай
Гуляет по осокам
Рыба стрельма,
Птица огнестрел, —
Ты, живая,
В доме многооком
Радуйся,
Как я тебе велел.
Есть в лесах
Несметный
Цвет ножовый,
А в степях
Растет прострел-трава
И татарочник круглоголовый...
Смейся,
Радуйся,

Что ты жива!
Если ж растеряешь
Рыбьи перья
И солжешь,
Теряя перья, ты, —
Мертвые
Уткнутся мордой
Звери,
Запах потеряв,
Умрут цветы.

— Где ты был,
Табашный хахаль?
Не видала
Столько дней!
Из ружья
По уткам
Ахал
Иль стерег
В лугах
Коней?
У коня
Копыта сбиты,
Пыль
На сбруи серебре,
Жемчуг,
Сеянный сквозь сито,
На его горит
Бедре.
— Не ласкай
Рукой ослаблой
И платочком
Не махай!
Я в походе
Острой саблей
Сек киргизский
Малахай!
(А киргизы,
Прежде чем
Повалиться,
Пошатывались
В последний раз,

И выкатывались
На лицах
Голубые орехи глаз.)
Сёк киргизов
Под Джатаком,
А когда
Мы шли назад,
Ветер — битая собака —
Нашим песням
Выл не в лад.
(Песня!
Сердце скреби
Когтями.
А киргизы,
Когда он их сёк,
Все садились
С черными ртами
Умирать
На желтый песок.)

Сначала,
Наклонив
Рогатые лбы,
Пошли быки,
И пошли дубы.
Потом пошли
Осетры на блюдах,
Белопузая нельма,
Язь
И хранившаяся
Под спудом
Перелитая медом
Сласть.
Светлый жир баранины,
Мясо
Розоватых
Сдобных хлебов,
Хмеля скопленные запасы
В подземельях погребов.
Пива выкипень ледяная,
Трупы пухлых
Грибов в туесках.

Кожа
Скрученная,
Сквозная,
Будто грамота, на окороках,
Ладен праздник
Коровьими лбами
И румянцами
Бабьих щек!
Кошки с блещущими зубами
Возле рыбьих
Урчат кишок.
И собаки,
За день объевшись,
Языками,
Словно морковь,
Возле коновязей
Почерневших
Лижут весело
Бычью кровь.
Лишь за этой
Едой дремучей
Люди двинулись —
Туча тучей.
Сарафанные карусели,
Ситец,
Бархат
И чесуча, —
Бабы, за руки взявшись,
Пели
И приплясывали, свища,
Красотой бесстыжей
Красивы,
Пьяны праздничною кутерьмой,
Разукрашенные на диво
Рыжей охрою
И сурьмой.
(А казаки-мужья,
В походе том
Азиаткам
Задрав подол,
Их отпробовали
И с хохотом

Между ног
Забивали кол.)
Вслед за бабами
Парни,
Девки
В лентах,
В гарусе
Для красы.
Сто гармоний
Гремят запевки!

И, поглаживая усы,
Позади их
Народ старшинный,
Все фамилии и имена:
Хвастовство,
Тяжба,
Матершина,
Володетельность,
Седина.
Им почет, почет,
Для них мед течет.
О них слава
Ходит,
Что смелы
В походе,
Им все сбитни
Сбиты,
Ворота
Раскрыты,
Сыновья их тешатся на дворах,
Дочери качелей пужаются: «Ах!»
А качели
Гу-у-дят,
Как парус в бурю,
Ветер щеки хлещет
Острей ножа, —
Парень налегает,
Глазища
Щуря,
Девка налегает,
Вовсю визжа.

И саженная плаха
Нараспев
Начинает зыбать,
Кренясь неловко.
Парень зубы скалит,
Как волк, присев,
Девка, словно ангел,
Висит на веревках.
И — раз!
И веревочная
Тетива
Выпустила стрелы
С пением
Длинным.
Девка уносится
Вверх чуть жива
И летит оттуда
С хвостом павлиньим.
И — два!
И, птичий
Вытянув клюв,
Ноги кривые
Расставив шире,
Парень падает,
Неба глотнув,
Крылья локтей
Над собой топыря.
Мир под ними
Синь и глубок,
Остановиться
Оба не в силе,
Ноздри раздулись,
Волос измок,
И зрачки
Глаза застелили!

Так от качелей
К реке и рощам,
От реки
К церквам
Празднество шло,
Так оно

Крепостную площадь
Хмелем и радугой
Подожгло.
И казалось,
Что на Поречье
Нет пудовых
Литых замков,
Нет глухой
Тоски человечьей.
И казалось,
Что бабы — свечи
С пламенем
Разноцветных платков.
И казалось —
Облачной тенью
Над голосами
И пылью дорог,
Чуждый раздумию
И сомненью,
Грозно склонился
Казацкий бог.
Вот он — от празднества
И излишка
Слова не может сказать ладóм,
И перекатывается отрыжка —
Тысячепудовый
Сытый гром.
Ходят его чубатые дети
Хлестко под кровом
Его голубым.
Он разрешает — гроз володетель —
Кровь и вино
Детям своим!

— Казаки!
(Под Ходаненовым
Пляшет конь.)
Враг отечества
И Атбасара
Вами разбит, казаки.

(Гармонь.)

В битве
Возле Шаперого Яра
Доблестно...
Пал...
Атаман...
Ярков!..—
В землю ударили
Всплески подков.
И пошли круги
По толпе,
Будто бы ветер
Подрезал шапки.
Скоро и вечер
Подоспел.
Он разобрал
Людей по охапке,
Он их нес
В дома и сады,
В зарево
Праздничного бессонья...
Улицы перекликались,
Словно лады
Заночевавшей в кустах
Гармони.
От ворот к воротам ходил
Старый хмель,
Стучался нетвердо,
И если женщин
Не находил,
То гладил в хлевах
Коровьи морды.
Он потерял
Кисет с табаком,
Фуражку с кокардой,
Как оглашенный,
Сопровождаем
Тенью саженной
И не задумываясь
Ни о ком,
Шел желтоглазый,
Чумной,
Казенный.

Он плевать хотел на дела
Людей и ветров,
Шумящих окрест,
На то, что церковь
Стоит бела
И над ней —
Золотой
Сияет крест,
На то, что
Ему бы надо зваться
Хозяином...
Воздух пах
Кожей девическою,
Задыхаться
Девки начали
На сеновалах — впотьмах.
И чудились
Их ноги босые,
Тихий смешок перед концом,
И ухажеров
Брови косые,
Губы, сдобренные винцом.
Старому хмелю
Их не надо-о-о
Белогрудых цапать, —
Ему теперь
Осталась
Только одна услада:
Ввалиться — ага! —
В закрытую дверь,
Поднять хозяина,
Чтобы он сам,
От бабы отхлынув,
Потный, голый,
Поднес еще раз
К измокшим усам
С питьем развеселым
Ковшик тяжелый.
Чтоб под усталый
Собачий лай,
Рясу
Располосовав

О заплоты,
Пузом осел
Отец Миколай
И захлебнулся
Парной блевотой:
— Го-о-споди...
(Два жирных
Пальца в рот.)
В-в-ерую в тя...
(До самой гортани.)

Две ноги —
И на них живот
И золотого креста блистанье.

И из соседнего
Окна
То ли свет,
То ли горсть зерна,
И ходят
В окне том, топоча
По полу
Каблуками литыми,
Над свечками,
Что пошире меча,
Танцоры,
Хватившие первача,
Обросшие
Махорочным дымом.
И бабы,
Руки сломив в локотке,
Плывут в окне — тяжелые павы.
Там хвост петушиный
На половике,
Там полные рты
И горсти забавы.
А ну еще!
Еще и еще!
Щелканье. Свист...
Дорого-мило!
А ну еще,
Еще

Вперещелк,
Чтоб как волной
Выносило!
А ну еще
Напоследок
Взмахни,
Гульбище, подолом стопудовым
Осени,
Погасившей огни,
Черным деревьям,
Лунам багровым!
А ну!
Еще!
(Киргизы спят
В ковыле, в худом,
Сплошь побиты.)
Еще и еще!
Сто раз подряд
Ноги в пол стучат,
Как копыта.

И только где-то
У Анфисы-вдовы,
На печке скорчившись,
Сын юродивый,
Качая
Рыжий кочан головы,
С ночью шепчется:
— Диво...—
Он, как большой
Черноротый птенчик,
Просит жратвы
И, склонившись вниз,
Слушает д-о-о-лго
Божий бубенчик,
Который тут же
Рядом повис.

9. АРСЕНИЙ ДЕРОВ

Что же Деро́в, —
Он других поранее
Край этот хлебный
Облюбовал,
И недаром
Его поманивал
Зеленоголовый
Иртышский вал.
На Урале купечество
Крепко встало
Над угрюмой
Хребтовою крутизной, —
Как пожары и грозы,
Шли капиталы,
Подминая Урал,
Горбатый, лесной.
Что ж,
Арсений Деров
Сватался к дочке
Воротилы яицкого —
Не пошла, —
Золотом у нее
Оттянуты мочки
И приданого
Полподола.
Туго в ту пору
К Дерову шли,
Хоть и радел
И забыл про отдых,
Звонкие,
Оспенные рубли
И ассигнации
В райских разводах.
Он забыл, забыл
Про девический смех,
Про клубы
Багровой, душной сирени,
И ему не осталось
В мире утех
Никаких, кроме тех! На поту!

Сбережений!
Он держал их,
Как держат камень в руке,
Как рогатину
Держат перед берлогой.
И ему уже
Виделась вдалеке
Фирма,
Посланная от бога!
Затаился и ждал
Смекала, лобан,
И когда заскрипели
Счастья ступеньки,
Он одернул сюртук
И пошел ва-банк,
На иртышские волны
Поставив деньги.
И его понесла
В медвежьих шкурах
Трактом
От заработков и знакомств
Пара
Заиндевелых
Каурых
Собственных
Через Тюмень и на Омск.
В самую глушь
Он себя запрятал,
Тысячный
Накрутил оборот,
И для него, Дерова,
Курбатов
По Иртышу пустил пароход.
И «Святой Николай»
С «Товар-пáром»
Дьяконским «внемли»
Ширили рев,
Славили
Ярмаркам и базарам:
«Славься вовек,
Арсений Деров!»
В сотни тысяч

Выросли тыщи,
Ставил ва-банк
И убил, — с того ль
Был он, Арсенька,
Смолоду нищим,
Встал на соли —
Соляной король.
Встал на соли
На Иртыше,
На Ишиме,
Грабил ладóм,
Строил ладóм,
Был возвеличен
Между другими
И в Атбасаре
Вымахал дом.
Дом!
Домище!
О трех половинах,
Темный, тяжелый в крестцах, —
Ничего!
Там на взбитых горой
Перинах
Счастье погащивало его.
Счастье его —
От горькой земли,
От соляного
Того приплода,
От Улькунали,
Кишкинтайали...
Пять рублей
На голову шли,
Тыщи несла
Голова доходу.
И уже
Под Урлютюпом
Румяные слепцы
Пели ему в честь
С прибасами сказы
Про завоеванные солонцы,
Про его, короля, лабазы:

«Слава, слава накопителю
Арсению Ивановичу!»
И губернатор Готтенбах
Сказал про него
(Так огласили):
— Держится на таких головах,
Господи благослови, Россия.

После гульбища
Дождь ударил,
Расстелил по небу
Мех заячий.
Пасмурно стало
В Атбасаре —
Целое утро
Дождь хозяйничал,
Ветреный, долгий.
В самую рань,
В зорю галочью,
Красную до́ крови,
Метлы шатались
У темных бань,
Бились в окна
Березы мокрые.
У Дерова же золотел
В сумеречную хмарь
На столе
Самовар, гудел,
Всем самоварам
Сущим —
Царь.
На ночь вчерась
После празднества
Пьяные сказочники
Привели
Сказку к нему
И, с вымыслом
Дразнясь,
Дерова́ тешили
Как могли:
— ...В городе Атбасаре
Кобылица

Поймана на аркан,
А на той кобылице парень
Целый день
Торчит на базаре —
То ли русский, то ли цыган.
Попона не вышита, бедна,
Заломана папаха.
Рожа красная без вина,
Сатинетовая рубаха.
По-русски матерится,
По-цыгански торгуется,
А под ним кобылица
Пляшет, волнуется.
В городе Атбасаре
Бабы ладные на базаре,
Румяные, белые,
Словно дыни спелые,
Со сладкой утробою,
От любви потяжливые.
А кто их отпробывает?
А кто их обхаживает?
А их отпробывают мужья,
А их обхаживают друзья!
В городе Атбасаре
Продают гусей на базаре,
А те, что не проданы,
В траве за огородами
В крепки крылья хлопают,
Бойкой ножкой топают,
Собралися и кричат:
«Замели наших ребят!..» —
Оборвал хозяин,
Послал спать
На двор, в саманки,
Пустомель,
Долго потянулся
И позвал: — Мать,
Дремлется что-то,
Стели постель... —
А на самом рассвете
В дожде косом
Пожаловали гости —

Станичная сила:
Меньшиков,
Усы разводя,
Как сом,
Ярковы
И прочие воротилы.
И супруга Дерова,
Олимпиада,
Прислуг шугнула,
Серьгой бренча.
Гостей улыбкой встретив как надо,
Всех оделила
Глаз прохладой
И заварила
Фамильный чай.
Вынесла в вазах витых варенье
Самых отборных,
Крупных клубник,
Пахших лесом,
Овражной тенью...

Ягодной кровью
Цвел половик,
В старых шкафах
Гремела посуда,
На сундуках
Догорала медь,
Чинно она
Рассадила блюда
И приказала им
Смирно сидеть.
Кушанья слушались.
Только гусь
Тужился, пух
И — треснул от жира.
А за окном
Мир
Долила грусть,
Дождь в деревах
Поплескивал сирый.
Так начинался день середа.

И неспроста
По скатерти белой
Хозяйка (видно, добытый
Со льда)
Плыть пустила
Графин запотелый.
На Олимпиаде
Душегрейка легка,
Бархат вишенный,
Оторок куний,
Буфы шелковые
До ушка,
Вокруг бедер
Порхает тюник.
И под тюником
Охают бедра.
Ходит плавно
Дерова жена,
Будто счастьем
Полные ведра
Не спеша
Проносит она.
Будто свечи
Жаркие тлятся,
Изнутри освещая плоть,
И соски, сахарясь, томятся,
Шелк нагретый
Боясь проколоть.
И глаза, от истом
Обуглясь,
Чуть не спят...
Но руки не спят,
И застегнут
На сотню пуговиц
Этот душный
Телесный клад.
Ей бы в горесть
Тебе, раскол,
Жить с дитем в руках
На иконе.
Села. Ласковая.
Локоть на стол.

И щекой легла
На ладони.

Олимпиада

Сонный день. Осень...

Меньшиков

О-осень.

Олимпиада

Афанасий Степаныч,
Пирога-а...

Меньшиков

Можно.

Олимпиада

Рюмку с холода.

Меньшиков

Скосим.

Олимпиада

Приятная ли?

Меньшиков

Ага.

Олимпиада

Гости, потчевайтесь.

Есаулы

Что жа,
Что жа!

Меньшиков

Ну и пирог,
Ну и пирог,
Ну и жена у тебя —
Гладкокожая,
Арсений Иваныч, густой медок!

Деров

Ишь ты...
Ты на бабу не зарься.
Баба —
Полный туес греха,
В бабе сквозняк, атаманы.

Олимпиада

Арся!

Есаулы

Х-хо!
Ха!
Х-ха!

Деров

Баба —
Что дом,
Щелистый всюду,
Ночью ж она
Глазастей совы,
Только доверься
Бабьему блуду,
Была голова —
И нет головы.

Олимпиада

Будто...

Деров

Пример-от этому близок:
Слышал я —
Может, и не беда, —
Падким сделалось
На киргизок
Наше казачество, оспода!
Слышно,
Из-за этого
Из-за товара
Голову
Обронил атаман.

(За версту, не более,
От Атбасара
Гром хромал — степей Тамерлан,
Божьи горсти
Дождя летели,
Падали тучи
Вниз лицом.)

Деров

Поговорим, казаки,
О деле —
О Григории — свет Босом.

Меньшиков

Босые?
Разве это порода?

Ярков

Выщипы!

Тычинин

Кошмы!

Есаулы

Безродные!
Сброд!

Меньшиков

Сорный народ,
Беспамятный...

Есаулы

Сроду!
Сроду беспамятный!

Меньшиков

Со-орный народ...

Деров

Седни одна голова
Скатилась,
Завтра остатние

Береги.
То ли не щастье
Считать за милость,
Если да вольницу —
Да в батоги!
Как яйцо облупят,
Только взяться!
Пойдут с топорами,
Пойдут с косой,
Будут киргизы
Вольницей зваться,
А государить —
Гришка Босой.
Вот те щастье!
Дрянь дело, дрянь...
На вилы подымут,
Петлей удушат.
Под бок пустили
Гостить Рязань,
Самару и Пермь — соленые уши.
Киргизам резню бы!
Резню бы!

Олимпиада

У-ужас!..

Деров

Народ-от нежалостлив,
Бит
И дик.
Подумают, встанут
И, понатужась,
Возьмут казаков
За самый кадык.

Меньшиков

Не бывать!

Деров

Берегись, сосед!

Меньшиков

Не бывать!

Деров

А вдруг да будет,
А вдруг вас, допрощиков,
На ответ?
А вдруг вас
Киргиз на пику
Добудет?
И пойдут, Афанасий Меньшиков,
Твои кони
От крепких загонов,
Пылью пыля,
Разномастные,
С золотом на попоне...
Чьи здесь земли?

Есаулы

Наша земля!
Наша земля!
Наша, наша!

Меньшиков

Если надо, то отстоим,
Саблями
Всю, степную, вспашем,
Пиками выбороним!
Дело хочу говорить!

Есаулы

Дело!
Дело!

Меньшиков

Ты, Арсений Иваныч,
Шибко прав.
Мы порешили,
Что время приспело
Наш,
Нутряной,

Показывать нрав.
Мы не робки —
Четырежды в силе —
Вожжи
Намотаны на руках.
Мы промежду собой
Порешили
Кончить Босого —
Босым на страх!

Олимпиада

Ах!

Деров

Без суда?

Меньшиков

Станицей всей!
Всем казачеством,
Всем есаульством!
(Ой, Деров,
Сиди, не сутулься,
Иль тяжело
Голове твоей?
Ходят глаза,
Как рыбы в воде,
Ходят руки по столу,
Ходят губы,
Смех стекает по бороде.)

Деров

Ну бы прикончили
Гришку, ну бы...

Меньшиков

И конец!

Деров

А власть и закон?

Меньшиков

Властно иль нет
Прикончить заразу?

Деров

Пойман
И связан вами,
Но он
Всё же подлежит
Суду и приказу.
Суд наш правый
С ним решит.
Суд решит,
И, где бы он ни был,
Будет Босой
Цепями пришит
К нарам в тюрьме
Иль пущен на небо.

Ярков

Нам бы кончить...

Деров

За-ла-ди-ли!
А по-моему, всё ж
Вот лучше как:
Ты его, Меньшиков,
На баржу — и пошли
В Омск,
В кандалах,
Погостить, голубчика.

Тычинин

Кончить бы...

Есаулы

Кончить!
Кончить!

Деров

И-и-их,
Поберегите
Петлю и плети, —
У нас в России
Кончает таких
Сам — государь

Александр Третий.
Мы с ним
Имеем думу одну,
В его соседстве
Мы не ослабли,
Мы охраняем
Эту страну —
Закон охраняет наши сабли.

Меньшиков

Ладно, закон,
Он, конечно, ладно...
Пошто ж он пройдет
Мимо наших рук?
Чтобы другим
Бунтовать неповадно,
Надо ж Босому
Сделать каюк.
С грамотой!
Всей станицей!

Деров

Смотри.

Меньшиков

Мы всей управой
Дело то сладили,
Чтобы назавтра же,
До зари,
Гришка погуливал
На перекладине.

Деров

Дело ваше!

Меньшиков

Мы в ответе!
(Дождь по лывам хлестал вразброс,
В окна
Рогатые лезли ветви,
Угли сыпались на поднос.)

Что ж,
Арсений Иваныч, кончать?..

Ярков

Нам бы...

Олимпиада

Пей, остывает чай-то,
Весь измотался...

Деров

Спасибо, мать.

Меньшиков

Кончить, что ли, Иваныч?

Деров

Кончайте!..

ЧАСТЬ ТРЕТЬ

10. КАЗНЬ

Дед мой был
Мастак по убою,
Ширококостный,
Ладный мужик.
Вижу,
Пошевеливая
Мокрой губою,
Посредине двора
Клейменый бык
Ступает,
В песке копытами роясь,
Рогатая, лобастая голова...
А дед
Поправляет на пузе
Пояс
Да засучивает рукава.

— Ишь ты, раскрасавец,
Ну-ка, ну-ка...
Тож, коровий хахаль,
Жизнь дорога! —
Крепко прикручивали
Дедовы руки
К коновязи
Выгнутые рога.
Ласково ходила
Ладонь по холке:
— Ишь ты, раскрасавец,
Пришла беда... —
И глаза сужались
В веселые щелки,
И на грудь
Курчавая
Текла борода.
Но бык,
Уже учуяв,
Что слепая
Смерть притулилась
У самого лба,
Жилистую шею
Выгибая,
Начинал крутиться
Вокруг столба.
Он выдувал
Лунку ноздрями,
Весь —
От жизни к смерти
Вздрогнувший мост.
Жилы на лопатках
Ходили буграми,
В два кольца свивался
Блистающий хвост.
И казалось,
Бешеные от испуга,
В разные стороны
Рвутся, пыля,
Насмерть прикрученные
Друг к другу —
Бык слепой

И слепая земля,
Но тут нежданно,
Весело,
Люто,
В огне рубахи,
Усатый, сам
Вдруг вырастал
Бычий Малюта
С бровями,
Летящими под небеса.
И-эх!
И-эх!
Силушка-силка,
Сердцу бычьему перекор, —
В нежную ямку
Возле затылка
Тупомордым обухом
Бьет топор.
И на бок рушится,
Еще молодой,
Рыжешерстный,
Стойкий, как камень,
Глаза ему хлещет
Синей водой,
Ветром,
Упругими тростниками.
Шепчет дед:
— Господи, благослови... —
Сверкает нож
От уха до уха, —
И бык потягивается
До-олго... глухо...
Марая морду
В пенной крови.

(Рассвет, седая ладья луны, соборный крест блестит, из колодцев вода, вытекая, над ведрами гнется. Стучат батожками копыт табуны. Два голоса встретились. Оглашена улица ими. Гремят колодцы. Рассвет. И гнутой ладьей луна, и голос струей колодезной гнется.)

Девка

Ты, дядя, откудова?

Казак

Кокчетавской станицы.

Девка

По облику глядя, дак ярковский, чо ли?

Казак

Ярковский и есть.

Девка

А! Ну, так я побегу.

Казак

Куда в рань такую?

Девка

Не слышал рази?
Седни
Возле Усолки
Наши
Гришку Босого
Кончают...

(Тихо. Кони ноздрями шумят. Розовый лес и серый камень, росой полонен любой палисад, девка бежит, стуча каблучками. Берег туманен. Сейчас, сейчас! Первый подъязок клюнет на лесу, выкатив кровью налитый глаз, зов повторит петух под навесом.)

1-й пьяный

Ну ладно, повесьте, повесьте,
Сукины сыны, вот я весь тут.

2-й пьяный

Совершенная правда.
Никто нам пить запретить не может.

(Сейчас, сейчас! Раскрыты ворота, и лошади убегают туда, где блещет иконною позолотой еще не проснувшаяся вода. Как будто бы волны перебирали ладони невинных улыбчивых дев, сквозили на солнце и прятались в шали, от холода утреннего порозовев. Стоит в камыше босоногое детство и смотрит внимательно на поплавок. О, эти припевы, куда же им деться от ласк бессонных и наспанных щек!)

А делают это вон как:
Яме
Перекрестили
Лесинами пасть.
Сплелись лесины
Над ней ветвями,
А яма молчит
И просит —
Упасть.
На тех лесинах
Сороки сидели,
На тех лесинах
Зимы седели,
Их трогали ночь
И утренний дым,
Туман об них
Напарывал пузо, —
А тут аркан
Приладили
К ним,
С петлей на конце
Для смертного груза.
Прибежала
Здришная женка Седых —
Заспанная,
Только что
С-под одеяла,
К яме толкнулась:
— Куды?
— Сюды.
— Батюшки!
Неужто же запоздала?
— Успешь, — утешали, —
Годи, успешь... —
К яме
Старый выслуга:
— Люди!
(По-вороньи клоня
Буграстую плешь.)
А не мелка ли такая
Будет?
— Ого! —

Папахой скрыл седину,
Провел
Устюжанин сердитоскулый
Пузатую,
Чуть живую жену.
Кругом шепоток:
— На сносях.
Ра-азду-ло... —
Других не тесня,
Пришли Ярковы,
Чубов распустив
Золотой ковыль.
Народ зашумел:
— Босые! —
И снова:
— Меньшиковы!
— Меньшиковы!
— Меньшиковы!
Всё начальство,
Вся знать
При шпорах:
Шесть колец,
Семь колец,
Восемь колец.
Только! И сызнова
Долгий шорох:
— Босые, Босые...
— Босой-отец!
Женка Седых:
— А где же Гришка? —
Ей враз
Похохатывали:
— Ишь ты, что ж!
Гришке, брат,
Гробовая, брат, крышка!
Гришка, брат, будет,
Коли подождешь... —
Таратайка.
Иноходь.
Хаджибергенев!
— Аман-ба! В дороге —
Четыре дня. —

Пайпаки
Шлепают о колени.
Плывут в глазах
Два жирных огня.
Пока бунт —
Не улажено много дел:
Слушал
Робкое жен
Дыханье,
В темной, круглой
Юрте сидел,
С пальцев слизывал
Жир бараний.
— Аман-ба!
Повесят? Закон суров! —
Он не слышал в степях
Об этом приказе...
— Деров!
— Где Деров?
— Деров, Деров! —
И вот он встал
Хозяином казни.
И вот он встал,
Хищный, рябой,
На хрупком песке,
На рябой монете,
Вынесенный
Криворукой судьбой,
Мелкотравчатый плут
И главарь столетья,
Ростовщик,
Собиратель бессчетных душ,
Вынянченный
На подстилках собачьих.
В пиджаке,
Горбоносый, губернский муж,
Волочащий
Тяжелые крылья удачи.
На медлительных лапках
Могучая тля,
Всем обиженным — волк,
Всем нищим — братец,

Он знал —
По нему
Не будут стрелять,
И стоял,
Шевеля брелками,
Не пятясь.
Он оглядывал свой,
Взятый в откуп,
Век,
Чуть улыбчиво
И немного сурово —
Это сборище
Потных тел, и телег,
И очей...
— Арсений Иваныч, готово! —
И машина пошла...
Саблями звеня,
Караул напустил
Конского пляса
В быстрых выплесках
Сабельного огня,
Кровяных
Натеках лампасов.
И станица рванулась —
Эй, эй! — вперед,
Тишины набирая,
Шалея, —
Устюжаниных
Карий род,
И Ярковых
Славимый род,
И Босых
Осрамленный род,
Рот открывши, вытянув шеи.
И машина пошла.
И в черной рясе
Отец Николай
Телеса пронес,
И —
Вслед за ним
Беленый затрясся
На телеге Гришка: простоволос,

Глаза притихшие...
Парень-парень!
Губы распущены...
Парень-парень!
Будто бы подменили — зачах...
(Только что
Пыль золотая
В амбаре
Шла клубами
В косых лучах.
Только что еще
Лежал на боку,
Заперт,
И думал о чем-то тяжко,
Только что
Выкурил табаку
Последнюю горестную затяжку —
Сестрицын дар...)
— Становись! Становись!
(Только что вспомнил
Дедову бороду...
Мать за куделью...
И жись — не в жись!
Ярмарку.
Освирепевшую морду
Лошади взбеленившейся.
Песню.
Снежок.
Лето в рогатых,
Лохматых сучьях,
Небо
В торопящихся тучах...
Шум голубей.
Ягодный сок.
Только что — журавлиный косяк...
Руки свои
В чьих-то слабых...
Мысли подпрыгивали
Так и сяк,
Вместе с телегою на ухабах.
Страх-от, поди,
Повымарал в мел...)

С телеги легко
Оглядывать лица.
Что же? (Собрались все!)
Оглядел:
Деров...
Устюжанин...
Попы...
Сестрица...
Яма!
Яма, яма-я...
Моя?! Н-не надо!
(Смертная,
Гибельная прохлада,
Яма отдаривала
Холодком.
Кто-то петлю
Приладить затеял?)
А Ходаненов —
Царь грамотеев —
Вытек
Неторопливо, шажком.
— Грамоту читают!
— Слушай!
— Слушай!
— Родовую Книгу!
— Дедовский Слух! —
Набивались слова
Темнющие в уши,
Словно дождь
В дорожный лопух.
И казначеем
Грозней и грозней
Над книгою растворенною
Качало.
Буквы косило,
Но явственно в ней
Красное
Проступало начало:

Ходаненов

«...И когда полонили сотню возле Трясин
И трясли их, нещасных, от Лыча до Чуя,

Он бежал из-под смерти босым, есаул,
Из поема в поем, от росы до росы,
И от этого лыцаря вышли Босые...
...Двадцать три есаула. Но род захудал —
Кровь мешалась...»

Голос

Что ж позоришь!

Голоса

Было, было!

Голос

Не было дела!

Голоса

Были дела!
(Грамота в бубны глухие била,
Бубнила,
Бубнила,
Бубни-ла!)

Ходаненов

«...Сын Босого
Григорий, второго отдела казак,
Присягал на кресте, шел в царевое
правое войско,
Но отцам своим в горесть...»

Поворачивал листы
Грамотей
Тяжело.
Он стоял в середине
Дремучего края,
И пространство кругом
Кругами текло,
Плавниками
И птичьим крылом
Играя.
Побережьем,
Златые клювы подняв,
Плыли церкви-красавицы

По-лебяжьи,
Дна искали
Арканные стебли купав,
Обрастали огнем
Песчаные кряжи.
Туча шла над водой —
Темнела вода,
Туча берегом шла —
Мрачнела дорога.
На шестах
Покачивались невода —
Барахло речного,
Рыбьего бога.
Рыбы гнулись,
Как гнутся
Звонкие пилы,
Чешуя на ветру
Крошилась, светла...
(Грамота в бубны
И в бидла била,
Бубнила,
Бубнила,
Бубни-ла!)

Ходаненов

«...Атаман им прикончен. И Гришку Босого,
Бунтаря и ослушника, вражью зашшиту,
Сам старшинный совет порешил порешить».
(Гришка!
Только что
Выпугнул из соломы
Застоявшийся
Нежный холод зари,
Слышал чей-то
Смешок знакомый.)

Ходаненов

Говори!..
(Говори, говори!
Но слова...)

— Подвигайся к яме! —
(...Клочьями шерсти
Слинявших шкур,
Пьяными
Багровыми шишаками
Дикого репья
Полезли в башку.)
Мир ускользал,
Зарывая корму
В пену деревьев,
В облака...
Жить кому?
Умирать кому?
Мир уходил,
Осев на корму,
В темень и солнце
От казака.
— Дайте уступ! —
Казаки!
Сестрица!
(Кого
Отыскать глазами,
Кого?)
Поп,
Сжав в пятерне
Золотую птицу,
Медвежьей тенью
Пошел на него.
И, вдруг ослабев,
Плечами плача,
Гришка
(Под барабанный стук)
Губами доверчивыми,
По-телячьи,
Медленно потянулся
К кресту.
— Осподи!
Ма-а-а-мынька! —
Шатнулся сбор.
Крылышки подломив,
Анастасия
Пала,

Будто по темю топор,
Люто забилась,
Заголосила:
— Ой, не надо братца!
Гришенька!
Ми-и-лай!
(Но ее подхватили.)
Сердце мое! . . —
(Всё дальше и дальше
Относило
Плач ее
И хохот ее.)
И она уже не видела,
Как Деров
Платком махнул палачей артели,
И в тишине
Пыхтящей,
Без слов,
Гришке на шею
Петлю надели.
И она уже не слышала:
Закричал.
(Мо-ол-чи!)
И народ повалил
На ямину густо,
Сапоги мелькнули,
И хрящи
Сразу лопнули
С легким
Хрустом.

А на сеновале
Уродец короткорукий
За девкой ходил —
Кобель за сукой:
— Я тебе, говорит,
Ленты куплю,
Я тебе, говорит,
Серьги куплю.
Я тебя, говорит,
Люблю,
Меня, говорит,

Не повесят,
Не бойся:
У мово отца —
Станица за поясом.
Мне пора жениться —
Двадцатый год...
А девка посмеивается
И поет:
«Заседлал Степан конягу,
Попросил огня,
Цигарку закуривал,
Глядел на меня:
— Говорила давеча,
Что любишь меня?..
— Ты седлай, Степан, конягу,
Нá тебе огня,
Цигарку закуривай,
Не пытай меня.
— Говорила давеча,
А прошло два дня.
— Я тебя тогда любила,
А теперь прощай, —
Положила тебе в сумку
Махорку и чай.
Я теперь люблю другого,
Прощай, не серчай!

— Ты меня тогда любила,
А теперь — прощай?
Положила на дорогу
Махорку и чай?
Ну так что ж, люби другого,
Прощай, не серчай! —
Заседлал Степан конягу,
Попросил огня,
Цигарку закуривал,
Глядел на меня:
— Говорила ж давеча,
Что любишь меня?..
— Ну, на что ты, Степка,
Путаешь дела?
Раз такой нескладный,

Взяла да ушла.
Подумаешь тоже —
Взяла да ушла...»

11. ПЛАКАЛЬЩИЦЫ

Ты, Корнила Ильич,
До самых скул,
До бровей
В сырой земле потонул!
Нанятые плакальщицы,
Последние няни
Мертвого дитяти, плачут, —
Вспоминают, нанятые,
Об атамане.
Рядят покрасивше
Душу казачью,
Чтобы в рай раскрылись
Пошире двери,
Чтобы не просы́пались
Ангелов перья.
Нанятые плакальщицы,
Стешка и Сашка,
Шажком отступают,
Стукают лбом,
Бьют себя по сытым
Грудям и ляжкам,
Землю оглаживают
Животом.
И Стешка,
Искусная в тонкой работе,
Хмурая,
Не выбиваясь из сил,
Крутится и крутится
На тонкой ноте,
Будто вышивает
Розой подстил.

Стешка

«Расколись, береза,
От сухоты,

Полетите на небо,
Птицы и кусты.
Чтобы тебя, шашку,
Сломала плеть,
Чтобы тебе, смерти,
Самой мереть!..»

Сашка тоже складна,
Тож умела, —
Голос на подъемах
Скрипуч,
Тяжел, —
Ноги расшаперив,
Низко присела,
Слезы, что полтины,
Собирает в подол.

Сашка

«Чтобы подохли
Твои воры-вороги,
Руки бы у них поотвалились,
Головы бы у них пораскатились.
Да чьи тебя руки вынянчили?
Да чьи тебя груди выкормили?
Да кто тебя только
Жи-и-ить учил?..»

Стешка

«Чтобы тебе, лебедь,
Столько пера,
Сколько он оставил
Людям добра.
Чтобы тебе, нечисть,
Столько рогов,
Сколько он оставил
Семье врагов.
Чтобы тебе столько
Буранов, дуб,
Сколько он отпробовал
Бабьих губ».

Сашка

«Сгорай, шелк-батист,
Всё имушшество,
Пропадай, конь, на полном скаку.
Пропадай, конь, на полном скаку,
Захлеснись, баржа,
На полном ходу.
Ты почто, смерть,
Таких отбираешь?
Ты почто, смерть, дубы ломаешь,
А сорняк-траве расти даешь?»

Стешка

«Пропадает тополь
В самом соку,
Выпадают волосы
По волоску.
Ищет тебя месяц,
Ночь, в саду.
Без тебя мы в темени,
В холоду.
Ничего-то месяцу
Не найти,
Закатились глазыньки
Дитяти».

Сашка

«Ты почто, смерть, совьим глазам
Смотреть даешь, глядеть даешь,
На сокольи глаза
Пятаки кладешь?»

Стешка

«Чтобы тебе столько
Буранов, дуб,
Выбили из гребня
Заглавный зуб,
Выбили из гребня
Заглавный зуб,
Отрезали шашкой
Заглавный чуб.

А тому бы зубу
Смерть прикусить,
А того бы чуба
Вовек не развить.
Отворяйся, небо,
Рассыпь снега,
Замети метелями
Свово врага,
Замети метелями
Свово врага,
Ты раздень их, ворогов,
Донага».

Сашка

«Он ли не был
К людям
Жа-а-лостлив?..»

Так, две выпи,
В траву уткнув
Жалобой и мукой
Набитый клюв,
Нанятые плакальщицы
Выли
На рытой лопатой,
Сапогом примятой,
Неотзывчивой
К горестям тем
Могиле.

А луна косыми тенями шла,
Будто подымалась
Сгореть дотла,
Сеяла в березах густой мороз.
И пену Ишим
Нес и нес,
И тоску Ишим
Нес и нес,
И песню — сердит — Ишим
Холодил
Волной, холодней удил.

12. МУГОЛ

Кто разглядит
Эту стужу, припев
Неприютной и одинокой
Метели?
Как на лысых,
На лисьих
Буграх присмирев,
Осиротевшие песни
На корточки сели.

Под волчий зазыв,
Под птичий свист,
На сырую траву,
На прелый лист,
Брали дудку
И горестно
Сквозь нее
Пропускали скупое
Дыхание свое:
— Ай-налайн, ай-налайн, ай-налайн...

А степь навстречу —
Пургой, пургой:
— Ой, кайда барасен?
Ой-пурмой? —
А по степи навстречу —
Гиблый туман:
— Некерек!
— Бельмейм!
— Джаман, джаман!

Там, на небе,
Аллах богат —
Из лисиц
Сшивает закат,
Посыпает башку
Золой,
Колет руки себе

Иглой.
И певцы
На песке рябом
Душат узкие шеи
Домбр:
— Будь ты дважды
И трижды
Проклята,
Соль!
И еще раз
Будь ты
Проклята,
Соль!
И еще раз
Будь ты
Проклята,
Соль!
Дождевую воду
Сосущая,
Соль!
Напитавшая
Землю и стебли,
Соль!
(Так слагаются песни
Последней тоски, —
Не она ли,
Чьи ласки
И горести грубы,
Подставляет
Упругие волчьи соски!
К ним, горячим,
Протянутся жадные губы.)
— Будь ты
Каждым рожденьем
Проклята,
Соль!
И еще раз рожденьем
Проклята,
Соль!
Иссушившая землю
И стебли, соль!
Целовавшая руки

И губы,
Соль!
(Так рождаются ветры
И гаснут вдали,
Стонет гулкое сердце земли
Под ногами,
Под луной!
Словно счастье,
Скользят ковыли,
Но пески наступают,
Сужаясь кругами.)
— Лисий узкий след связал
Сердце твое
С сердцем моим!
От твоей юрты
К моей юрте
Пролетает
Коршуном дым.
О!О!О!
От твоей юрты!
К моей юрте!
(Так в безветрии
Смеют озера
Шуметь
О морях, кочевавших
Пустыней когда-то.
Так, задев мимоходом
Намокшую ветвь,
Лисье, рыжее солнце
Уходит в закаты.)
— Будь ты проклята
Днями и ночью,
Соль!
Разлучившая руки любимых,
Соль!
Разлучившая
Счастье с народом,
Соль!
Разлучившая
Зиму и весны,
Соль!

И первый приехавший
Говорит:
— Там,
Возле Мугола,
Соли нет,
Крысы идут
По тем местам,
И чума, чума
За крысами вслед.
Валятся люди
Там на кошму,
И в глазах у них
Пляшет страх:
Черную байбичу —
Чуму —
Выслали
Нас сжигать
На кострах!

И второй приехавший
Говорит:
— Тут —
Соль
И острый русский
Сапог,
А возле Денгиза
Джут, джут,
И скот
Подыхать от голода
Лег.
До смерти остались
Одни вершки, —
Мы жить хотим
И ползем.
Мы съели
Дохлых коней кишки
И пальцы свои грызем!

Но караван
На длинных ногах пошел
Курганами —
Вверх, вниз,

В желтую страну
Му-у-гол,
Страну пастухов
Денгиз.
И мелькало
В гривах песков
Черное Кара-Коль,
И оставалась далеко
Позади него соль, соль..
И вот уже
Первая крыса Азии
Насторожила седой ус,
В острых зубах
Хороня заразу,
С глазами холодных,
Быстрых бус.
Бурая, важная,
Пригнула плечи
И — ринулась,
Темнее теней.

И крысы пошли
Каравану навстречу,
Лапками перебирая за ней.

ЭПИЛОГ

— Над большими ветвями,
Над косыми тенями
Солнце стоит.

Нет Дерова!
Нами убит!

Солнцем украшено
Наше знамя, —
Нет Деровых!
Убиты нами!
(Пой, Джейдосов!
Недаром, недаром
Ты родился

Средь пург и атак,
Наседал
Средь последних пожаров
На последних казаков
Джатак.
Он их гнал.
И косматые пики,
Словно клюва отмщенье, неслись,
Словно молодость,
В звездах и гике,
Словно новое
Право на жизнь!
Он их гнал
По дорогам пробитым,
Смерть на смерть,
По треснувшим льдам
И стрелял из винтовок
По сытым,
По трусливым
Казацким задам!)
— Над большими ветвями,
Над косыми тенями
Солнце стоит.
Нет Яркова!
Нами убит!
Проклята кровь его
Трижды нами.
Солнцем украшено
Наше знамя!
(Пой, Джейдосов!
Просторней просторных
Ветров летних
Свободы разгон, —
Не забыть
Этих горестных, черных,
Убегавших к Зайсану знамен!
Там, в хребтинах Зайсана, поранен,
Умер, стало быть,
Умер — и вся,
Скулы в иней одев, Устюжанин,
По-лошажьи глазами кося.
Там, в Зайсане,

Средь пьяных, как бредни,
Перетоптанных вьюгой снегов
Грузно Меньшиков
Сгинул последний
И последний
Хорунжий Ярков!)
— Те, кто борется
Вместе с нами,
Становитесь под солнце,
Под наше знамя!
(Пой же, пой!
На тебя — человека —
Смотрит издали
Каменный гнет.
Революция!
Ты ли — от века
И голов и сердец пересчет?
Пой, Джейтак!
Ты не малый — великий,
Перекраивай души и жизнь.
Я приветствую грозные пики,
Что за жизнью ярковской гнались!
То искали
Голодные сытых
В черном зареве смерти,
В крови.
И теперь, если встретишь несбитых,
Не разглаживай брови — дави!)
— Боевое слово,
Прекрасное слово,
Лучшее слово
Узнали мы:
РЕВОЛЮЦИЯ!

1932—1933

149. ЛЕТО

1

Поверивший в слова простые,
В косых ветрах от птичьих крыл,
Поводырем по всей России
Ты сказку за руку водил.
Шумели Обь, Иртыш и Волга,
И девки пели на возах,
И на закат смотрели до-о-лго
Их золоченые глаза.
Возы прошли по гребням пенным
Высоких трав, в тенях, в пыли,
Как будто вместе с первым сеном
Июнь в деревни привезли.
Он выпрыгнул, рудой, без шубы,
С фиалками заместо глаз,
И, крепкие оскалив зубы,
Прищурившись, смотрел на нас.
Его уральцы, словно друга,
Сажали в красные углы,
Его в вагонах красных с юга
Веселые везли хохлы.
Он на перинах спал, как барин,
Он мылся ключевой водой,
В ладони бил его татарин
На ярмарке под Куяндой.
Какой пригожий!
                    А давно ли

В цветные копны и стога
Метал январь свои снега,
И на свободу от неволи
Купчиху-масленицу в поле
Несла на розвальнях пурга!
Да и запомнится едва ли
Средь всяческих людских затей,
Что сани по ветру пускали,
Как деревянных лебедей?
Но сквозь ладонь взгляни на солнце —
Весь мир в березах, в камыше,
И слаще, чем заря в оконце,
Медовая заря в ковше.
Когда же яблоня опала?
А одуванчик? Только дунь!
Под стеганые одеяла
К молодкам в темень сеновала
Гостить повадился июнь.
Ну, значит, ладны будут дети —
Желтоволосы и крепки,
Когда такая сладость в лете,
Когда в медовом, теплом свете
Сплетает молодость венки.
Поверивший в слова простые,
В косых ветрах от птичьих крыл,
Ты, может, не один в России
Такую сказку полюбил.
Да то не сказка ль, что по длинной
Дороге в травах, на огонь,
Играя, в шубе индюшиной,
Без гармониста шла гармонь?
Что ель шептала: «Я невеста»,
Что пух кабан от пьяных сал,
Что статный дуб сорвался с места
И до рассвета проплясал!

2

Мы пьем из круглых чашек лето.
Ты в сердце вслушайся мое,
Затем так смутно песня спета,
Чтоб ты угадывал ее.

У нас загадка не простая...
Ты требуй, вперекор молве,
Чтоб яблони сбирались в стаи,
А голуби росли в траве.
Чтоб на сосне в затишье сада
Свисала тяжко гроздь сорок —
Всё это сбудется, как надо,
На урожаи будет срок!
Ну, а пока не стынет в чашке
Зари немеркнущая гладь,
Пока не пробудилась мать,
Я буду белые ромашки,
Как звезды в небе, собирать.
Послушай, синеглазый, — тихо...
Ты прошепчи, пропой во мглу
Про то монашье злое лихо,
Что пригорюнилось в углу.
Крепки, желтоволосы дети,
Тяжелый мед расплескан в лете,
И каждый дождь — как с неба весть.
Но хорошо, что горечь есть,
Что есть над чем рыдать на свете!

8

Нам, как подарки, суждены
И смерти круговые чаши,
И первый проблеск седины,
И первые морщины наши.
Но посмотри на этот пруд —
Здесь будет лед, а он в купавах,
И яблони, когда цветут,
Не думают о листьях ржавых.
Я снег люблю за прямоту,
За свежесть звезд его падучих
И ненавижу только ту
Ночей гнилую теплоту,
Что зреет в задремавших сучьях.
Так стережет и нас беда...
Нет, лучше снег и тяжесть льда!
Гляди, как пролетают птицы,

О Боже, не трожь прудов и лебедей!

~~Там в лесу [illegible]~~

Там, откуда к нам беда
Шла, лучше снег и тяжесть льда!
Глядя, как ~~[illegible]~~ пролетают птицы
Друг друга за крыло держа
~~Скажи~~ Ответь мне мне, куда нам скрыться
От тех, что пахнут дрожа
От хитрого ее лица?

Послушай, у строгого синего
В лесу веселом и густом
На самом дне ночи павлиньей
Прекраснейший я знаю дом
С крылечком узким вместо лампы
С окном зеленым вместо глаз
Его цветов чудесный запах
Еще доносится до нас
От ветра целый мир в поклонах.
Вы люди знаете, умеешь ты
Что шиллерные цветы
Растут не только на платьях
Их рисовал не человек
По запросам их мозг рвал.
И если падал ранний снег
Они цветки не одели
На павах, на ковре цветы
На белых конях Кафаристана
В плену ~~[illegible]~~
В плену заречников облака
О, как он любил нам

Друг друга за крыло держа.
Скажи, куда нам удалиться
От гнили, что ползет, дрожа,
От хитрого ее ножа?
Послушай, за страною синей,
В лесу веселом и густом,
На самом дне ночи павлиньей
Приветливый я знаю дом.
С крылечком узким вместо лапок,
С окном зеленым вместо глаз,
Его цветов чудесный запах
Еще доносится до нас.
От ветра целый мир в поклонах.
Все люди знают, знаешь ты,
Что синеглазые цветы
Растут не только на иконах.
Их рисовал не человек,
Но запросто их люди рвали,
И если падал ранний снег,
Они цвели на одеяле,
На шалях, на ковре цвели,
На белых кошмах Казахстана,
В плену затейников обмана,
В плену у мастеров земли.
О, как они любимы нами!
Я думаю: зачем свое
Укрытое от бурь жилье
Мы любим украшать цветами?
Не для того ль, чтоб средь зимы
Глазами злыми, пригорюнясь,
В цветах угадывали мы
Утраченную нами юность?
Не для того ль, чтоб сохранить
Ту необорванную нить,
Ту песню, что еще не спета,
И на мгновенье возвратить
Медовый цвет большого лета?
Так, прислонив к щеке ладонь,
Мы на печном, кирпичном блюде
Заставим ластиться огонь.
Мне жалко, — но стареют люди. . .
И кто поставит нам в вину,

Что мы с тобой, подруга, оба,
Как нежность, как любовь и злобу,
Накопим тоже седину?

4

Вот так калитку распахнешь
И вздрогнешь, вспомнив, что, на плечи
Накинув шаль, запрятав дрожь,
Ты целых двадцать весен ждешь
Условленной вчера лишь встречи.
Вот так: чуть повернув лицо,
Увидишь теплое сиянье,
Забытых снов и звезд мельканье,
Калитку, старое крыльцо,
Река блеснет, блеснет кольцо,
И кто-то скажет: «До свиданья! . .»

30 июня 1932
Кунцево

150. АВГУСТ

> Угоден сердцу этот образ
> И этот цвет!
>
> *Языков*

1

Еще ты вспоминаешь жаркий день,
Зарей малины крытый, шубой лисьей,
И на песке дорожном видишь тень
От дуг, от вил, от птичьих коромысел.

Еще остался легкий холодок,
Еще дымок витает над поляной,
Дубы и грозы валит август с ног,
И каждый куст в бараний крутит рог,
И под гармонь тоскует бабой пьяной.

Ты думаешь, что не приметил я
В прическе холодеющую проседь, —
Ведь это та же молодость твоя, —
Ее, как песню, как любовь, не бросить!

Она — одна из радостных щедрот:
То ль журавлей перед полетом трубы,
То ль мед в цветке и запах первых сот,
То ль поцелуем тронутые губы. . .

Вся в облаках заголубела высь,
Вся в облаках над хвойною трущобой.

На даче пни, как гуси, разбрелись.
О, как мычит теленок белолобый!

Мне ничего не надо — только быть
С тобою рядом и, вскипая силой,
В твоих глазах глаза свои топить —
В воде их черной, ветреной и стылой.

2

Но этот август буен во хмелю!
Ты слышишь в нем лишь щебетанье птахи,
Лишь листьев свист, — а я его хвалю
За скрип телег, за пестрые рубахи,

За кровь-руду, за долгий сытый рев
Туч земляных, за смертные покосы,
За птиц, летящих на добычу косо,
И за страну, где миллион дворов
Родит и пестует ребят светловолосых.

Ой, как они впились в твои соски,
Рудая осень! Будет притворяться,
Ты их к груди обильной привлеки, —
Ведь лебеди летят с твоей руки,
И осы желтые в бровях твоих гнездятся.

3

Сто ярмарок нам осень привезла —
Ее обозы тридцать дён тянулись,
Всё выгорело золотом дотла,
Всё серебром, всё синью добела.
И кто-то пел над каруселью улиц...

Должно быть, любо августовским днем
С венгерской скрипкой, с бубнами в России
Кривлять дождю канатным плясуном!
Слагатель песен, мы с тобой живем,
Винцом осенним тешась, а другие?

Заслышав дождь, они молчат и ждут
В подъездах, шеи вытянув по-курьи,
У каменных грохочущих запруд.
Вот тут бы в смех — и разбежаться тут,
Мальчишески над лужей бедокуря.

Да, этот дождь, как горлом кровь, идет
По жестяным, по водосточным глоткам,
Бульвар измок, и месяц большерот.
Как пьяница, как голубь, город пьет,
Подмигивая лету и красоткам.

4

Чтó б ни сказала осень, — всё права...
Я не пойму, за что нам полюбилась
Подсолнуха хмельная голова,
Крылатый стан его и та трава,
Что кланялась и на ветру дымилась.

Не ты ль бродила в лиственных лесах
И появилась предо мной впервые
С подсолнухами, с травами в руках,
С базарным солнцем в черных волосах,
Раскрывши юбок крылья холстяные?

Дари, дари мне, рыжая, цветы!
Зеленые прижал я к сердцу стебли,
Светлы цветов улыбки и чисты —
Есть в них тепло сердечной простоты,
Их корни рылись в золоте и пепле.

5

И вот он, август, с песней за рекой,
С пожарами по купам, тряской ночью
И с расставанья тающей рукой,
С медвежьим мхом и ворожбой сорочьей.

И вот он, август, роется во тьме
Дубовыми дремучими когтями

И зазывает к птичьей кутерьме
Любимую с тяжелыми ноздрями,
С широкой бровью, крашенной в сурьме.

Он прячет в листья голову свою —
Оленью, бычью. И в просветах алых,
В крушеньи листьев, яблок и обвалах,
В ослепших звездах я его пою!

Август 1932
Кунцево

151. ОДНА НОЧЬ

Я, у которого
Над колыбелью
Коровьи морды
Склонялись мыча,
Отданный ярмарочному веселью,
Бивший по кону
Битком сплеча,
Бивший в ладони,
Битый бичом,
Сложные проходивший науки, —
Я говорю тебе, жизнь: нипочем
Не разлюблю твои жесткие руки!

Я видел, как ты
Голубям по весне
Бросала зерно
И овес кобылам.
Да здравствуют
Беды, что слала
Ко мне
Любовь к небесам
И землям постылым!
Ты увела меня босиком,
Нечесаного,

С мокрыми глазами,
Я слушался,
Не вспоминал ни о ком,
Я спал под
Вязами и возами.
Так глупый чурбан
Берут в топоры,
Так сено вздымают
Острые вилы.
За первую затяжку
Злой махры,
За водку, которой
Меня травила.

Я верю, что ты
Любила меня
И обо мне
Пеклася немало,
Задерживала
У чужого огня,
Учила хитрить
И в тюрьмы сажала;
Сводила с красоткой,
Сводила с ума,
Дурачила так,
Что пел по-щенячьи,
И вслух мне
Подсказывала сама
Глухое начало
Песни казачьей.

Ну что ж!
За всё ответить готов.
Да здравствует солнце
Над частоколом
Подсолнушных простоволосых голов!
Могучие крылья
Тех петухов,
Оравших над детством моим
Веселым!
Я, детеныш пшениц и ржи,
Верю в неслыханное счастье.

Ну-ка, попробуй, жизнь, отвяжи
Руки мои
От своих запястий!

2

И вот по дорогам, смеясь, иду,
Лучшего счастья
Нет на свете.
Перекликаются
Деревья в саду,
В волосы, в уши
Набивается ветер.
И мир гудит,
Прост и лучист.
Весла блестят
У речной переправы,
Трогает бровь
Сорвавшийся лист,
Ходят волной
Июльские травы.
Я ручаюсь
Травой любой,
Этим коровьим
Лугом отлогим,
Милая, даже
Встреча с тобой
Проще, чем встреча
С дождем в дороге,
Проще, чем встреча
С луной лесною,
С птичьей семьей,
С лисьей норой.
Пахнут руки твои
Весною,
Снегом,
Березовою корой. . .
А может быть, вовсе
Милой нету?
Вместо нее,
От меня на шаг,

Прячется камышовое лето
Возле реки в больших шалашах.
Так он жил,
Кипел листвою, дышал,
Выкраивал
Грешные, смертные души, —
Мир, который
Мне видим стал,
Который взял меня
На побегушки,
Который дыханьем
Дышит моим,
Работает моими руками.
Кроме меня, он
Занят другим —
Бурями, звездами, облаками.
Да здравствует
Грустноглазый вол,
Ронявший с губ
В мою зыбку сено,
И все, в ком
Участье я нашел,
Меня окружившие
Постепенно.
Жизнь,
Ты обступила кругом меня,
Всеми заботами
Ополчилась.
Славлю тебя,
Ни в чем не виня,
Каждый твой бой
Считая за милость.

8

Но вот наступает ночь, —
Когда
Была еще такая ж вторая,
Так же умевшая
Звезды толочь?
Может быть, вспомню ее, умирая.

Да, это ночь!
Ночь! ..
Спи, моя мама.
Так же тебя —
Живу любя.
Видишь расщерины,
Волчьи ямы...
Стыдно, но
Я жалею себя.
Мне ночами
В Москве не спится.
Кроме себя
Мне детства жаль.
О, твои скромные
Платья ситцевые,
Руки, теребящие
Старую шаль!
Нет! Ни за что
Не вернусь назад,
Спи спокойно, моя дорогая.
Ночь,
И матери наши спят,
И высоко над ними стоят
Звезды, от горестей оберегая.
Но сыновья
Умней и хитрей,
Слушают трубы
Любви и боя,
В покое оставив
Матерей,
Споры решают
Между собою.
Они обветрели,
Стали мужами,
А мир
Разделен,
Прекрасен,
Весóм.
Есть черное знамя
И красное знамя...
И красное знамя —
Мы несем.

Два стана плечи
Сомкнули плотно,
И мечется
Между ними холуй,
Боясь получить
Смерти почетный
Холодный девический
Поцелуй.

4

Теперь к черту
На кривые рога
Летят ромашки, стихи о лете.
Ты, жизнь,
Прекрасна и дорога
Тем, что не уместишься
В поэте.
Нет, ты пойдешь
Вперед, напролом,
Рушить
И строить на почве
Голой.
Мир неустроен, прост
И весо́м,
Позволь мне хоть
Пятым быть колесом
У колесницы
Твоей тяжелой.
Наперекор
Незрячим, глухим —
Вызнано мной:
Хороши иль плохи,
Начисто, ровно —
Всё равно
Вымрут стихи,
Не обагренные
Кровью эпохи.
И поплатится головой
Тот, кто, решив
Рассудить по-божьи,

Хитрой, припадочною строфой
Бьется у каменного подножья.
Он, нанюхавшийся свободы,
Му́ки прикидывает на безмен.
Кто его нанимал в счетоводы
Самой мучительной
Из перемен?
И стыдно —
Пока ты, прильнув к окну,
Залежи чувств
В башке своей роя,
Вырыдал, выгадал
Ночь одну —
Домну пустили
В Магнитострое.
Пока ты вымеривал
На ладонь,
На ощупь, на вкус
Значение мира,
Здорово там
Хохотал огонь
И улыбались бригадиры.

5

Мы позабываем слово «страх»,
Страх питает
Почву гнилую, —
Смерть у нас
На задних дворах,
Жизнь орудует напропалую.
Жизнь!
Неистребимая жизнь,
Влекущая этот мир
За собою!
И мы говорим:
— Мгновенье, мчись,
Как ленинская рука
Над толпою.
Как слово
И как бессмертье его,

Которые будут
Пожарами пыхать.
И смерть теперь —
Подтвержденье того,
Что жизнь —
Из нее единственный выход.
В садах и восстаньях
Путь пролег,
Веселой и грозной бурей
Опетый.
И нет для поэта
Иных дорог,
Кроме единственной в мире,
Этой.
И лучше быть ему запятой
В простых, как «победили»,
Декретах,
Чем жить
Предательством и немотой
Поэм, дурным дыханьем
Нагретых.
Какой почет!
Прекрасен как!
Вы любите славу?
Парень не промах.
Вы бьетесь в падучей
На руках
Пяти интеллигентных
Знакомых.
И я обижен, может быть,
Я весь, как в синяках, в обидах,
Нам нужно о мелочи поговорить —
В складках кожи
Гнездящихся гнидах.

6

Снова я вижу за пеленой
Памяти — в детстве, за годами,
Сходятся две слободы стеной,
Сжав кулаки, тряся бородами.

Хари хрустят, бьют сатанея,
И вдруг начинает
Орать народ:
— Вызвали
Гладышева
Евстигнея!
Расступайся — сила идет! —
И вот, заслоняя
Ясный день,
Плечи немыслимые топыря,
Сила вымахивает через плетень,
Неся кулаков пудовые гири.
И вот они по носам прошлись,
Ахнули мужики и кричат, рассеясь:
— Евстигней Алексеич, остепенись,
Остепенись, Евстигней Алексеич! —
А тот налево и направо
Кучи нагреб: — Подходи! Убью! —
Стенка таким
Одна лишь забава,
Таких не брали в равном бою.
Таких сначала поят вином,
Чтобы едва писал ногами,
И выпроваживают,
И за углом
Валят тяжелыми батогами.
Таких настигают
Темной темью
И в переулке — под шумок —
Бьют Евстигнешу
Гирькой в темя
Или ножом под левый сосок.
А потом в лачуге,
Когда, угарен,
В чашках
Пошатывается самогон,
Вспоминают его:
«Хороший парень!»
Перемигиваются: «Был силен!»
Нам предательство это знакомо,
Им лучший из лучших
Бывает бит,

Несметную силу ломит солома,
И сила,
Раскинув руки, лежит.
Она получает
Мелкую сдачу —
Петли, обезьяньи руки,
Ожог свинца.
Я ненавижу сговор собачий,
Торг вокруг головы певца!
Когда соловей
Рязанской земли
Мертвые руки
Скрестил — Есенин, —
Они на плечах его понесли,
С ним расставались,
Встав на колени.
Когда он,
Изведавший столько мук,
Свел короткие с жизнью счеты,
Они стихи писали ему,
Постыдные, как плевки
И блевота.
Будет!
Здесь платят большой ценой
За каждую песню.
Уходит плата
Не горечью, немочью и сединой,
А молодостью,
Невозвратимым раскатом.
Ты, революция,
Сухим
Бурь и восстаний
Хранящая порох,
Бей, не промахиваясь, по ним,
Трави их в сусличьих
Этих норах!
Бей в эту подлую, падлую мреть,
Томящуюся по любви дешевизне,
Чтоб легче было дышать и петь,
И жизнью гореть,
И двигаться с жизнью!

7

Ты страшен
Проказы мордою львиной,
Вчерашнего дня
Дремучий быт,
Не раз я тобою
Был опрокинут
И тяжкою лапой
Твоею бит.
Я слышу, как ты,
Теряющий силу,
За дверью роняешь
Плещущий шаг.
Не знаю, как
У собеседников было,
А у меня
Это было так:
Стоишь средь
Ковровотяжелых
И вялых,
И тут же рядом,
Рассевшись в ряд,
Глазища людей
Больших и малых
Встречаются
И разбежаться спешат.
И вроде как стыдновато немного,
И вроде
Тебе здесь любой
Совсем не нужóн.
Но Ксенья Павловна
Заводит
Шипящий от похоти патефон.
И юбки, пахнущие
Заграницей,
Веют, комнату бороздя,
И Ксенья Павловна
Тонколица,
И багроволицы
Ее друзья.
Она прижимается

К этим близким
И вверх подымает
Стерляжий рот.
И ходит стриженный
По-английски
На деревянных
Ногах фокстрот.
И мужчины,
Словно ухваты,
Возле
Женщины-помела...
Жизнь!
Как меня занесла
Сюда ты?
И краснознаменца
Сюда занесла?

И я говорю
Ему: «Слов нету,
Пляшут,
Но, знаете, — не по душе.
У нас такое
Красное лето
И гнутый месяц
На Иртыше,
У нас тоже пляска,
Только та ли?
До наших
Танцоров
Им далеко-о».
А он отвечает:
«Мы тоже плясали
На каблуках,
Но под „Яблочко“».

Так пусть живут,
Любовью светясь,
Уведшей от бед
Певца своего, —
Иртышский
Ущербный гнутый месяц
И «Яблочко»,
Что уводило его!

8

Сквозь прорези этих
Темных окон,
Сквозь эту куриную
Узкую клеть
Самое прекраснейшее далёко
Начинает большими
Ветвями шуметь.
О нем возглашают
Шеренги орудий,
Сельскохозяйственных и боевых.
О нем надрываются
Медные груди
Оркестров
И тяжких тракторов дых.
О нем
На подступах новой эры,
Дома отцов
Обрекши на слом,
Поют на улице
Пионеры,
Красный кумач
Повязав узлом.
Я слышу его
В движеньи и в смехе. . .
Я не умею
В поэмах врать:
Я не бывал
В прокатном цехе,
Я желаю в нем побывать.
Я имею в песнях сноровку, —
Может быть, кто-то
От этого — в смех,
Дайте, товарищи,
Мне путевку
В самый ударный
Прокатный цех.
Чтоб меня
Как следует
Там катали,
Чтоб в работе

Я стал нужóн,
Чтобы песнь родилась —
Не та ли,
Для которой
Я был рожден?

⟨1933⟩

152. СИНИЦЫН И К°

Первая поэма трилогии «Большой город»

1

Страна лежала,
В сте́пи и леса
Закутанная глухо,
Логовом гор
И студеных озер,
И слушала,
Как разрастается
Возле самого ее уха
Рек монгольский, кочевничий
Разговор.
Ей еще мерещились
Синие, в рябинах, дали,
Она еще вынюхивала
Золоченое слово «Русь»...
Из-под бровей ее каменных
Вылетали
Стаями утица и серый гусь.

И волков вольная казачья стая
Пробиралась гуськом
По ее хребту,
И, тяжелыми лопатками
Под шкурой играя,
Опасливый медведь
Урчал в темноту.

2

И, ширясь,
Не переставали дивиться
Глаза королевских
И купецких дворов
На потрескивающий ворс
Черно-бурой лисицы,
На связки соболей
И саженных бобров.

Они досылали бочками пороху и свинца,
Но страна,
Богатством своим густая,
Бобром вцеплялась
В брови дельца
И мантии оторачивала
Горностаем.

И соболи
Дорогие
На женских плечах
Поблескивали сдержанно,
Тревожно
И гордо,
Будто помнили,
Как их лупили в ночах
Свирепой палкой
По окровавленным мордам.

3

Но редкие выстрелы
Таежных троп
Были подобны
Хлопанью птицы сбитой,
И страна только ниже
Пасмурный наклоняла лоб,
Крылатый,
Лосиный,
Готовый в битву.

Она под первый
Весенний
Выкрик гагары
Выпускала процвесть
Народы свои,
В дурман и урман уводила па́ры
И долго корчилась
В судорогах любви.

А к осени,
Спутав следы добычи,
Волчонок скользил
Сквозь студеный дым,
И всплескивался
Отпустивший усища
В реках
Полуфунтовый налим.

4

К северу,
В предгорьях,
У ледовитых речек,
Где в песке
Синева медвежьей стопы,
Келейным богородицам
Первые свечи
Сжигали одичавшие лесные попы.

Там ютились
Смолевые поместья раскола,
Заросшие по бровь
Грехом и постом...
И до самых крыльев светлых
Тонули пчелы
В цвету золотом,
В меду золотом.

И старцы
Желтый воск
Отделяли богу,

Мед — себе. Вечерами, после работ,
Девки выходили,
В песнях тая тревогу,
Долгий и невеселый
Вели
Хоровод.

5

К востоку
Тайга сходила на убыль,
Клонились полыни
Далеких ровных дорог,
И, щурясь,
Рукавом халата
Жирные губы
Вытирал, усмехаясь, степной царек.

И его невеста
Трясла в смятенье
В двадцать струй расплескавшеюся косой,
И плясали над гривами
От селенья к селенью
Шапки острые,
Подбитые
Красной лисой.

И в гремучем дожде
Конского пляса,
Под незрячим солнцем,
В мертвом мерцанье лун
Стосковавшийся по барышам
Побуревший прасол
Гнал на запад
Первый
Тысячеголовый табун.

6

На западе
Виделись редкие взблески
Стали,
По полям тянулись
Рваные
Лемехов следы.
Холеные, только что возмужали
Гретые
Яблонóвые сады.

Город стоял
На границе степных пожаров,
Молебен о здравии царя
Отслужив едва.
Шаткую
Струганую
Доску тротуаров
Пламенем веселым
Не успела одеть трава.

Субботы
Крестом соборным
Крестились,
Праздники сочно кропились вином,
И лишь. . .
Превосходительства. . .
Генерал-губернатора. . .
Выезд. . .
Ставил городок
На дыбы конем.

7

Да, когда текло
Архиерейское богослуженье
В христовых хоругвях,
В блистанье паникадил,
Город приходил —
Хоть не сразу! —

В движенье:
Одевался
И чинно
На улицу выходил.

И нога архипастыря,
Гусарский сапог
Год назад сменившая
На мягкую ту́флю,
Переступала
Исцелованный
Соборный порог,
Волоча за собою
Бороды,
Плеши,
Витые букли.

И дьякон, «вонмем» вытягивая,
Рос и рос
До самого купола
В сиянья оправе,
Пока распускался павлиний хвост
Византийский,
Глазастый
Хвост православия.

8

Впрочем,
И иные в городе, к слову,
Ангелы водились. . . И пошли далеко.
Ангелы кожевенные — Ивановы,
Ангелы скобяные — Золотаревы,
Ангелы мукомольные —
Синицын и К°.

Детей растя
На перинах лебяжьего пуха,
Избегая
Сомнения и наук, —
Во имя отца,

Сына
И святаго духа
Работали не покладая рук.

Рынок непочат,
Место злачно —
Подводили счеты не мудрствуя: «Вишь,
Восемь уплачено,
Три истрачено,
Четырнадцать тысяч
Чистый барыш».

9

Федул Синицын,
Набиравший силу,
В городе Зейске на первых порах
По праву
Зачинщика и старожила
Каменную мельницу
Пустил на парах.

И жил
Возле ее доходного гула,
Но из-за каких-то
Петрусь и Марусь
Сбился не вовремя,
Предался разгулу
И ушел в окаянство,
Темень
И грусть.

И в конце года сорок восьмого,
Двадцатого августа,
Отодвинув засов,
Его нашли в петле,
Неживого,
Повиснувшего
Над семьей жерновов.

10

Но сын его,
Синицына Федула, —
Артемий,
Рябенький, неслышный,
Волосом чал,
Не кончил коммерческого с вестями теми
И в Зейск
Унаследовать всё
Примчал.

И перед судьбой своей одинокой,
Перед Зейском всем
Предстал простак —
Юнош незаметный,
Голубоокий,
С улыбкой на медовых устах.

Города отцы —
Купцы —
Подошли с подмогой,
Дланью скользя
По умным усам:
«Что уж там? Продай!»
Но Артемий: «С богом,
С маменькиной помощью
Управлюсь сам!»

11

И повел.
С почтеньицем, без сумленья,
Вымерил прицелы,
Округлил рубли...
Так повел,
Что города отцы —
Купцы —

В удивленье
Свистнули и плечом повели.

И пока они
Горшки деньгой набивали,
Каждый
Неподвижен,
Как божий храм,
Темкин капитал подкатил едва ли
Не к сотне тысяч,
А то и к двумстам.

. . . .

12

Он не копил,
Он крутил обороты —
Деньгу работать гнал! Оттого ль
Под ним очутились
Мукомольство,
Охоты,
Галантерея
И соль.

И покуда купцы,
Косясь на иконы,
Карманы набивали,
Крестились замком, —
В конторах Темкиных
Немцы-компаньоны
Сидели, трубки набив табаком.

И пока антихристом величали
Купцы за преферансом
И сулили суму,
«Не зайдете ли к нам. . .
На стакан
Чаю. . .» —
Губернатор писал ему.

13

И мельницы антихриста,
Крутя жернова,
Рычали, позабывая усталость,
И «юноши» с пролысинками голова
Над прочими
На аршин возвышалась.

И когда
В купеческом клубе шел
Сын Синицына Федула — Артемий, —
Отцы сторонились
И, одетые в шелк,
Невесты от волненья потели.

И отцы думали:
«Хорош сосед!
Такой оберет, если надо! Страхи!
Можно сказать, двадцать восемь лет —
И такие,
Можно сказать,
Размахи!»

14

Страна лежала,
В сте́пи и леса
Закутанная глухо,
Логовом гор
И студеных озер,
И слушала,
Как разрастается
Возле самого ее уха
Рек монгольский, кочевничий разговор.

Ей еще мерещились
Синие, в рябинах, дали,
Она еще вынюхивала
Золоченое слово «Русь».
Из-под бровей ее каменных

Вылетали
Стаями утица
И серый гусь,

Когда в знаменитое новолунье,
Охотясь на лисиц
И бобров,
На самых пятках реки Бегуньи
Золото отыскал
Охотник Петров!

15

Золото.
Золото!
Золото!!

16

Приискатели
Из-под хмурого Алдана
Расцеловали «мамок» дебелых,
Закрутив ус,
Подарив им на прощаньице,
Дорогим да желанным,
Колючие серьги
И связки гремучих бус.

Вместо напутственной,
Призакрыв веки,
Соловей-гармонист
Широко мехами развел,
И на целые ночи
Разыгрались в музыке реки,
Мирные,
Текущие
Среди пашен и сел.

А за сотню верст,
В пену одев колена,

Полной горстью
Влаги разбрасывая изумруд,
Исцарапав руки о камень,
Дичала Лена,
И запевал,
Покачиваясь от тоски,
Якут.

17

Он на «ха» и на «хо»
Задерживался
И, всё короче
И всё яростнее вычеканивая «э»,
Запевал,
Когда стая востроносых
Приискательских оморочек
Уходила
На ходулях шестов
В водовал.
Ему видно было,
Как медленно
И шатуче
Поползло на них
Тулово кривоплечей горы.
Язь плеснул.
И рванулась черная туча
Остервенелой,
Изголодавшейся мошкары.

И тогда он
Песню поднял
До комарьего писка,
А может, и сам
Полетел им вслед комаром,
Чтобы в шею последнего
Жалом впиться,
Возвратить свою кровь,
Не отрываться добром!

18

Приискатели двинулись.
На золото!
К Зейску!
«Плюем на бом —
В дальню тайгу идем».
А безвестный Митрич
Слезно крестил семейство
И наказывал
Беречь
Хозяйство и дом.

И, пьяная, у плетней
До рассвета по-птичьи
Танцевала косматая Митрича тень, —
Это собиралась
На заработок-добычу
Лапотная сила
И мочь
Деревень.
Изба развалилась.
Нечего ждать подмогу.
Какое уж хозяйство?
Почти что гол.
И, хлебушка поев
С кваском
На дорогу,
До свиданья, милая! Айда, пошел!

19

А которые побогаче —
Тоже, как же! —
Детей собирали,
Что на свадьбу, отцы.
Каждому по лошади —
Вороная — сажа!
Татарские орешки —
Подвешены бубенцы.

Под носом богатство!
Мало что кто в достатке!
К северу,
К Зейску
Путь стремя,
Ехали новобранцы золотой лихорадки,
Бабы, провожая,
Шли у стремян.

И кой-где уже лавочник сапоги и ситцы,
Провизию вез. . .
«Дорога не далека.
Амуниция нужна. Снедь пригодится.
А там,
Глядь,
Не обидите и старика».

20

И в городах дальних
Тысячелистно
Газеты подогревали:
«Ура!» —
Золотой азарт.
Усы распушив,
Узкогрудым гимназистам
Позолотевшим глазом
Моргнул Брет-Гарт.

Они бросили стихи писать.
Сапоги обули.
Они докажут
Папахен и мамахен — черт возьми!
Их перехватывали
Где-нибудь
В Саратове или Туле,
Но иные прорывались,
Чтобы полечь костьми,

Чтобы сгинуть
В призейских глухих просторах:

Не вини, пащенок, ежели слаб!
Уцелевших же
Приискатели вошь в проборах
Заставляли искать. И любили заместо баб.

21

А в трехстах верстах от Зейска
Грохотали бутары —
Аж в Зейске
Слышен был
Кирок
Стук:
Артемию Федулычу Синицыну
Не хватало тары —
Для заброски товара!
На мельницах не хватало рук!

Мельницы ждали
Его руки мановенья.
Монополия его, вот он каков!
Населению мелет
Лишь
Для потребленья —
Остальное для себя
И для приисков.

И за пуды муки
Орудует,
Как захочет!
Не давая очухаться
И дела постичь,
Захватывает россыпи
За площадью площадь,
Проценты берет
С золотых добыч!

22

Он оборачивался,
Оборотливый,
Скоро.
Он брал и веху ставил:
«Трогать не сметь!»
Он непослушных
Смирял измором,
Он дьяконов
Мог заставить
Славу петь:
«. . .Слава пресвятому
Оборотному капиталу —
Родителю богатств,
Машин
И красот.
Да преклонятся перед ним
От стара до мала,
Да увеличится
И возрастет!

Слава стопе его,
Что крепко встала
На тех, кто безропотен,
Нищ
И наг, —
Слава, слава оборотному капиталу,
Творцу и вседержителю
Всяких благ!»

23

Впрочем,
И другие не дремали, к слову,
Тоже подрабатывали,
Как могли:
Ангелы кожевенные — Ивановы,
Ангелы скобяные — Золотаревы
И прочие многие
Короли.

Разрастался вкруг Зейска
Купецкий нерест —
Кто крал втихомолку,
Кто прямо брал...
Купцы надвигались
В поддевках через
Рвущий надвое закаты
Урал.

Купцы надвигались
Сквозь одичалые пурги,
Улыбчивые,
Ноздри крылами раздув,
И вот уже
Орел из
Санкт-Петербурга
Повернул на восток
Золоченый клюв.

24

Так хищник степной,
Оглядывая просторы,
Круглую голову утопив в плечах,
На сопке сидит,
Кривую отставив шпору,
С недобрыми
Янтарями в очах.

И вдруг обеспокоится,
Заметив что-то —
Там, далеко,
Где с небом земля сошлась, —
Чуть привстает,
И вздрагивает
Перед полетом,
И с клекотом срывается,
Почти смеясь!

И на крыльях
Золотом отливает Сила:

Сбить добычу!
Прокусить ей тонкое горло! Ага!
Но, нырнувшая сбоку,
С размаху когти вцепила
Опередившая добытчика
Пустельга.

25

Но Синицын вцепился. Крепок, прочен.
Он ставил веху,
И чтоб трогать не сметь!
Треть государству,
Треть — для прочих
И Артемию Федулычу третья треть!

Зануздали золото!
Ого!
Пора зануздать воду! —
На первой пристани
Оркестром
Исполнен марш:
Артемий Федулович
Изволили пустить пароходы
И стаю
Тяжелых девушек —
Барж.

Первая пристань
В зелень убрана,
Подняты копья литых якорей.
Ура!
Пароходы
Дымят
Трубами.
Ура!
Да здравствует Россия
И город Зейск!

26

Ура!
Букеты!
Якоря подняты!
Капитан в белом кителе:
«Полный ход!»
Генерал-губернатор
На пляшущих сходнях
Артемию Федуловичу руку жмет.

Платки.
Пароход захлебнулся ревом.
Чайка.
Чайки!
Чайки летят с песка!
На своем пароходе,
В костюме чесучовом,
Артемий Федулович —
На свои прииска!

И покуда пароходу
Чалки отдали
И он, пошевеливая лапами,
Пошел, —
Верст за триста отсюда,
В сукне и крахмале,
Управляющих
Выстраивался
Частокол.

27

Сам наехал!
Веселый,
Дорогою не измучен —
«Все так ездить будете», —
Он не жалеет затрат.
Сотня
Украшенных лентами

Таратаек гремучих
В пыль и смятенье одела тракт.

«Сухо! Леса близки!
Не горите ли?
Ха! Бараки отстроили?
Давно пора!»
...Выстроенные в шеренгу
Откормленные смотрители,
Выставив груди,
Прогрохотали: «Ура!»

Сам наехал!
И на первом празднике званом
Оглядел барак,
Обращенный стараньем в зал,
Подошел к инженерше Марье Иванне
И
«На сопках Маньчжурии» —
Приказал.

28

И в сверканье плеч ее,
До ласки охочих,
Плыл по заводям вальса!
Король!
Пари́л!
И, разыгравшись,
Гонцов от «рабочих»
Именными наградами одарил.

Но когда наутро
С помпой,
С треском
Обходил рабочих,
Выстроенных в парад,
Кто-то из рядов спокойно и веско
Послал ему вдогонку:
«Наехал, гад».

Он не обернулся,
Улыбчив прошел, однако
Приставу пальцем погрозил:
«Смотри,
Как же это так,
Любезный вояка,
У тебя, оказывается,
Есть бунтари? . .»

29

И красные околыши
Тех слов
Не забыли. . .
Время спустя за бараком в пыли
Ночью кому-то
Долго
Руки крутили
И, саблями позвякивая,
Увели.

А при отъезде
В последние горестные минуты
Артемий Федулович
Сказал управляющим:
«Господа,
Набирайте китайцев,
Китайцев вербуйте,
Они понадежнее да посмирнее. Да».

И пошли
Голоплечие, фланелевые ку́ли,
Выходцы
Из соседних
Глухих песков.
Заработок упал. Управляющие вздохнули
Легче, подняв доход приисков.

80

Зейск же расцветал.
Под самыми приисками
Цветом, невиданным
В этих местах.
По улицам,
Одетым
В гололобый камень,
Рысаки проходили
В белых бинтах.

И франтов в галстуках
И клетчатых брюках
Начинала по ночам
Выплевывать тьма,
И к мощеным набережным
На каменных брюхах
Шестиэтажные
Ползли дома.

Река отступила.
Осетры ее покорились навеки
Этому,
С железом на хребте,
Осетру.
Целые ночи без устали
Мчали улицы-реки,
Пьяных на отмелях
Оставляя к утру.

81

В дыму кабаков зейских
Зейские
Собственные цыгане
Сторублевый, аховый
Получали заказ —
Прискатель, упав,
Башку раскройв в стакане,

Топал каблуками на них:
«А ну еще раз!»

И выскакивала
Гордая,
Ровные зубы скаля.
«Ну, пошел, что ли!»
В гарусе до колен, —
Еще раз! — веселая —
Цыгане гуляли —
В синих и желтых
Воронках лент.

И бровями поигрывала —
Эх! —
Привозная,
И волной ходила
От гребня до пят!
У гитар запутаны струны. Сейчас узнаем,
Как под башмаками
Дешевые деньги
Хрустят.

82

За праздничными лентами
Шибко летали
Хлопки голубями. Девочки в чаду табака
На плечах у кавалеров
До слез хохотали,
Вынимали пудреницы
Из-за чулка.
Они шептали: «Закажи нам, душка,
Милый».
И опять хохотали,
Чтобы потом —
Утром раскрыть глаза
На мятых подушках
И деньги пересчитать

С оглядкой,
Зверьком.

Лавочнику отдать, заплатить портному,
Подарить хозяйке,
Чтобы не ходила ворча,
По лестнице взбежать. Позвонить.
И по-деловому
Тело заголить под шприцем врача.

83

Шприц входил
Костяной иглой скорпиона...
Город пробуждался. Быстрее, спорей —
Грохотом пролеток,
Колокольным звоном,
Хлопаньем магазинных
Железных дверей.

Дома поднимали
Тяжелые веки — шторы,
Проходили и проходили
Люди
В оконной тьме,
Счетов деревянную икру
Начинали
Метать конторы,
И дежурные «параши»
Очищали в тюрьме.

И сотрясался от кашля,
Носом в ботинок тыча,
Чеботарь с харкотиной вместо зрачков,
И проворная кошка
Лизала, мурлыча,
Кровавые пятна его харчков.

84

Город пробуждался.
В залпах цветочной пыли
На крестах — деревянных Христах —
Ржавели венки,
Мимо кладбища, крестясь,
Румяные
В город входили
На заработок плотники,
Пильщики
И печники.

Город пробуждался.
В охранном отделении,
Вздувая шары
Лощеных утренних щек,
Гостя хозяин встречал: «А! Мое-с почтенье,
Что у нас нового?» —
Ложкой мешал чаек.

И гость в хохоток, в хохоток
На его допросы:
«По порядочку, по порядочку,
Как же-с, ась?»
На ухо шептал. Принимал папиросу
И в креслах под конец
Откидывался,
Дымясь.

85

И над всем этим роскошеством —
Золотая пенка —
Вывеска плавала, видимая далеко,
Букв откормленных
Вымуштрованная
Шеренга:
«Контора Артемий Синицын и К°».

Флаг трехцветный
Похлопывал, рея,

Как на флагманском броненосце
Перед бедой.

Властелин чаевых
В пудовой ливрее
У стеклянных дверей сверкал бородой.

Секретари в коридорах
Играли в жмурки,
Сталкивались, лапками хватая мрак,
Наглухо,
До ворота,
Застегивали тужурки
И садились
Чернить
Снега бумаг.

86

Запятые, кувыркаясь, летели,
В пыльном удушье
Оборваться грозил бумажный обвал, —
И клиентов
Во тьме
Колыхались туши,
Но хозяина плюшевый кабинет
Пустовал.

Но хозяин на даче,
Хмурый и валкий,
Под лиственною овчиной террас
В сумерках
Лежал
В плетеной качалке,
Ногти грыз и суживал глаз.

Июньское небо,
Высокое,
Золотого крапа...

«Следственно — природа. . .
Следственно — прииска. . .»
Встав на дыбы
И раскинув лапы,
На него медведем шла тоска.

87

Может быть, та самая,
Что когда-то
Уходила отца. И в горькой ее тени
Он молча сидел
Рябой, бородатый,
И слушал, как прислуга
Зажигает огни.

О чем он думал?
Может быть,
Далекое детство
Вдруг проблеснуло водопоем,
Залаял пес?
Некуда, Артемий Федулыч,
От памяти деться —
Ладонью не спрячешь
Седых волос!

О чем он думал,
Вглядываясь долго
В садовую мглу, губой шевеля?
Или нарыскавшегося
Матерого волка
Туго
Предчувствия
Захлестнула петля?

88

Однако с чего бы?
Деньги чтили присягу,

Барыши с высот
Не катились вниз,
И давно провезли
На прииски
Первую драгу —
Закутанную в рогожи
Американскую мисс.

Однако с чего бы?
Стерегут крученые плетки
Перед злобой низов
Сомненье и страх.
И, просеянные
Сквозь решето решетки,
Агитаторы на казенных хлебах.

Ну и всё же на даче,
При звездах,
Валкий,
Он просиживал ночи,
Угрюм и тих,
На соломенной тихой
Волне качалки. . .
Но однажды решил:
«В Москву! Никаких!»

89

И через недельки две
На вокзале мореные кости
Поразмял. Оглядел каретные кузова.
. . .Вся в ёканье, в грохоте,
Заморского гостя —
Мать купечества — принимала Москва.

Вывески саженные
Выстроились в шпалеры,
Рванулась навстречу
Скаредная красота
Попечительницы
Верноподданности и веры

В господа тихого
Иисуса Христа.

Церкви мелькали:
Та, сгорбившаяся, без сил,
Корова
С колоколами на шее,
Та коньком златогривым.
И лишь собор
Христа Спасителя стыл,
Неподвижный,
Как скала перед взрывом.

40

Из раскрытых чайных вываливались люди,
Бычьей кровью вскормленные.
Вели разговор.
Лебеди плескались
На летящем в воздухе блюде,
И мелькали кулаки
Извозчичьих ссор.

Мытари на углах
Протягивали руки в му́ке, —
Слепые, с прошением на груди́:
«Богом обиженному. . .»
А те, что безруки,
Глазами приказывали:
«Пощади».

Из переулка,
В коляске,
Встречных шараша, —
Баба
В драгоценной собольей
Пыли́. . .
Артемий поглядел:
«Соболи-то! Наши!
Ишь куда, сердечных, их упекли».

41

Этак зажил в Москве,
Уже знаемой им когда-то,
Обменялся визитами
С тузами
Града сего.

Секретарь всё допрашивал: «Как?»
— «Скучновато...
Ну, а впрочем, вглядеться,
Так ничего...»

«Ну, а впрочем, вглядеться, так...»
Так на рассвете
Вглядывается хмурый, ушастый сыч...
...Провожатый — обжился
В синицынской карете
И обвык,
Собакой приставший хлыщ.

И однажды,
Букет заказав подороже,
Заглянул в глаза Артемию:
«Нельзя!
Всё же, понимаете, Артемий Федулыч, всё же,
Хоть захудавшие, а князья».

42

Но Артемию
Понравилась нежданно фамилья:
«Синицын к Горлицыным!»
Он сказал: «Ускорь».
Пара серых в яблоках,
Морды мыля,
Понесла их
На рысях
По Тверской.

Хлыщ заранее
Подготовил встречу как надо,

Подмигнул:
«Золотопромышленник! Миллионер!»
И пропахшая шубами
Передней прохлада
Их встречала торжественно,
На особый манер.

Глаженый лакей,
Пудреный, гладколицый,
Карточки на серебряный принял поднос,
В залы прошел
И «Господин Синицын»
Басом внушительнейшим произнес.

43

«Просить!»

. . . .

Мадам Горлицына, просто мадам,
Фелица Дмитриевна — тень Фелицы —
Накопила одышку,
Но к сорока трем годам
Всё еще по паркету ходила львицей.

Кутежом,
Прокученными деньгами
От нее разило,
«Катьками», загубленными зазря.
Вовремя Фелица сообразила —
Выкрасила волосы,
Бросила якоря.

Вовремя Фелица сообразила —
Тщеславия и шика последний заслон —
Дом оставила,
Где дочь растила
И держала
Литературный салон.

44

Здесь бывал
Внимательный к обедам мужчина,
Пахнущий табаком,
Стриженный свирепо в скобу,
По неизвестным и темным причинам
Вызвавшийся
Прославить избу.

И его ненавистник,
В штанах полосатых
Карапуз, щебечущий про асфальт,
В стихах коего
Был
Лишь один достаток —
Богом ему ниспосланный
Мальчишеский альт.

И третий... четвертый...
Досужей толпы забавы,
Славословы
Оскудевшей от слав луны,
Дикие и злые охвостья славы,
Хвост цивилизации —
Льстецы и говоруны.

45

Синицыну не дали опомниться хозяйка и стая
Прочих:
Ренн, Кобылочкин,
Дочь хозяйки — Ирен...
«Садитесь, прошу вас,
Сейчас читает
Стихи в честь Ирины
Поэт
Ренн».

Что ж?
Артемий спокойно

Примостился в кресле,
Слушать приготовился,
Хоть не понимал
Ни аза.
Ренн с бумагой в руке поднялся,
И вдруг полезли
Круглые под бровь Ренна глаза:

МАДРИГАЛ В ЗАСУХУ

Среди пиров корявости,
В дыму пивных шумношатающихся стоек
Я не позабуду
Твой глазастый праздник:
Десятый день парное солнышко,
Лукавствуют уральские топазы
В теплой ресничной рощице.
Май твой нежностью набухает
В зелени, в пенных яблонях полощется,
Высокая Ирина Горлицына.

Крепкоплечая!
Смотри,
Весны переворот:
Двадцатый день
Колючее ведрышко
Засухой рвется.

В задыхающихся полях
Схвати над трехгорьем
Бескровное облачко,
Примани им
хмурые тучи,
Помоги нам пролиться
Цистернами пильзенских строк
Перед твоими
Узконебоскребными ногами, —
Глав обольстительница,
Ирина Первостолицына!

46

«Браво! Браво!»
Хлыщ склонился: «Артемий Федулыч,
Хлопайте!» Но Синицын суров,
Тих сидел.
Драгоценнейшим ветром дуло
В скулы, огрубелые от ветров.
Он в кресло ушел,
Хуже сделался, меньше,
Он глядел
Всё внимательнее и веселей,
Он товар оценивал — знаменитый оценщик, —
Как когда-то оценивал соболей.
И на сам деле
Не дивиться нельзя
На Ирину Горлицыну —
Волосы стянуты узлищем тугим,
И глаза, попыхивающие под ресницами
Отсветом долгим,
Отсветом золотым и густым.

47

Вокруг нее охотников
Круги сужались,
Но покуда еще
Никому не довелось
Приручить, прикрутить,
Окольцевать ей палец,
Захватить хоть горсть
От пепла ее волос.

. . . .

48

. . .На обратном пути от Горлицыных,
В карете качаясь,
Заезжая в настежь распахнутую зарю,
Говорил Синицын:

«В магарычах не стесняюсь!
Продолжай — говорю тебе! —
Отблагодарю!»

Хлыщ в смешок.
(Подсчитал — работать недаром.)
. . .Еще через день, отстранясь от дел,
Свиделся Артемий Федулыч с товаром
В горлицынской гостиной,
Как захотел.

Чем не кавалер?
Конечно, определенно!
Лучшего отыщешь ли,
Душой не кривя?
За него разговаривали миллионы —
Его золотые,
Родимые братовья.

49

«Как живете?»
(Нету цены товару!)
— «Вы мне привлекательны, хоть и
не льну. . .»
. . .В первый раз лет за десять
Взял гитару
И, не торопясь,
Зацепил струну:

«Ты скажи мне, перстень свадебный,
Я кому тебя дарю?
Будь ты крепок, перстень свадебный,
Будь ты крепок, говорю!

Ты свети нам, перстень свадебный,
Помогай слюбиться нам, —
Для того я, перстень свадебный,
Прижимал тебя к губам.

Сорок тысяч перстней свадебных —
Каждый круглый золотой,

Сорок тысяч перстней краденых
И один законный — мой.

Сорок тысяч перстней краденых,
Ты же всем перстням отец,
Круглый пламень, пламень свадебный,
Золотой мой бубенец».

50

Так решился
Торг короткий ладом —
Понапрасну гитар
Синицын в руки не брал.
Он поцеловал мамашу в лоб,
Заплатил что надо
И увез невесту
К себе,
За Урал.

А еще через год,
Весной,
Когда на гагарах
Линяло перо,
В апреле месяце, или возле того,
Зейск съезжался с букетами
На тройках и парах
Поздравлять с рожденьем сына его.

Приискатели фужеры состукнули.
Были
Казахами джигитовки устроены,
И в весеннем снегу,
Раздувая пайпаки, зажиревшие бии
Объявили
В его заздравье
Байгу.

51

Это было весной,
Когда, потрескивая, расходились
Звездою трещины
На речном
Ноздреватом льду,
Когда барсы в Призейском крае
Рыбой плодились,
Это было
В девятьсот девятом году.
Так в великий и долгий
Перелет гусиный,
Когда, накопивший бешенство,
Хлынул разлив,
Начиналось детство синицынского сына
В скрежетанье машин
И пляске лошажьих грив.

Годы шли волна за волной
С тяжелым шорохом,
Шли, стуча сапогами,
В глухих просторах страны...
...Тринадцатый...
...Четырнадцатый...
Ширя напитанный порохом,
Голубой, как разрывы шрапнели,
Воздух войны.

. . . .

ЭПИЛОГ

До крестов георгиевских,
До самых плеч
Октябрьского тумана!

. . . .

Прячась от партизанщины
В таежный урман и лог,
Прицепившись к степному штабу
Краснолампасного атамана,

Синицын вместе с ним
Бежал на восток.

И когда их оцепили, и — вдруг! — грянули дали
Широким «ура»,
Повторяя: «Бей! Бей», —
Крепко сжимая стужу
Вороненой стали,
Он засел с товарищами
В дымной избе.

Раз! И еще раз!
Внимательно целясь
По кожаному матросу, бегущему впереди.
Три!
Упал
Молоденький красноармеец
С рваным кумачом
На серой груди.
И еще раз!
Огоньками ненависти и страха
Глаз разжигая,
Точно, без промаха, в них!
. . . .

Но ворвавшийся выборжец
Всем телом,
С размаху
Загнал ему
В заклокотавшее горло
Штык.

⟨1933—1934⟩

153. ДОРОГА

(Отрывок из поэмы «Большой город»)

Далекий край, нежданно проблесни
Студеным паром первой полыньи,
Июньским лугом, песней на привале,
Чтоб родины далекие огни
Навстречу мне, затосковав, бежали.
Давайте вспомним и споем, друзья,
Те горестные песни расставанья,
Которые ни позабыть нельзя,
Ни затушить, как юности сиянье.
Друзья, давайте вспомним про дела,
Про шалости веселых и безусых.
Споем, споем, чтоб песня нас зажгла,
Чтоб павой песня по полу прошла,
Вся в ярых лентах, в ро́сшивах и в бусах,
Чтоб стукнула на счастье каблуком
И, побледнев, в окошке загрустила
По-старому. И, всё равно о ком,
Чтоб пела в трубах, кровью и ледком
Оттаивала песенная сила.
Есть в наших песняк старая тоска
Солдатских жен, и пахарей, и пьяниц,
Пожаров шум и перезвон песка,
Комарий стон, что тоньше волоска,
И сговор птиц, и девушек румянец,
Любовей, дружбы и людей разброд.
Пускай нас снова песня заберет —
Разлук не видно, не было печали.

В последний раз затеем хоровод
Вокруг того, что молодостью звали.
По-разному нам было петь дано,
Певучий дом наш оскудел, как улей,
Не одному заказаны давно
Дороги к песне шашкой или пулей.
Не нам глаза печалить дотемна,
Мы их помянем, ладно. Выпьем, что ли!
Найти башку, потерянную в поле,
И зачерпнуть башкою той вина.
Приятель мой, затихни и взгляни:
Стоят березы в нищенской одежде,
Каленый глаз, мельканье головни, —
То набегают родины огни
Прибоями, как набегали прежде.
Ты расскажи мне, молодость, почто ж
Мы странную испытываем дрожь,
Родных дорог развертывая свиток,
И почему там даже воздух схож
С дыханьем матерей полузабытых?
И отступили гиблые леса,
И свет в окне раскрытом не затем ли,
Чтоб смолк суровый шепот колеса?
И то ли свет, и то ли горсть овса
Летит во тьме, не падая на землю.
Решайся же не протянуть руки.
Там за окном в удушные платки
Сестра твоя закутывает плечи,
Так, значит, крепко детство на замки
Запрятывает сердце человечье.
Запрятывает (прошлая теплынь!
Сады и ветер) сердце (а калитка
Распахнута). О, хищная полынь,
Бегущая наперерез кибитке!
Но сколько их влачилось здесь в пыли —
Героев наших, как они скитались,
Как жизни их, как мысли их текли,
Какие сны им по пути встречались!..
И Александр в метелях сих плутал —
О, бубны троек и копыт провал!
(Ночь пролетит, подковами мерцая,
В пустынный гул) — и Лермонтов их гнал

Так, что мешались звезды с бубенцами.
Охотницкою ветряною ранью
Некрасова мотал здесь тарантас.
Так начиналось ты, повествованье
Глухой зари и птичьего рыданья,
И только что нас проводивших глаз.
На песенных туманных переправах
Я задержался только потому,
Что мне еще неясно в первых главах,
О чем шептать герою моему,
Где он следы оставил за собою, —
Не видно их — так рано и темно, —
Что у него отобрано судьбою,
И что — людьми, и что ему дано.
Иль горсть весны и звонкий ковкий лед,
(А кони ржут) и холодок разлуки,
И череда веселья (поворот),
И от пожатий зябнущие руки.
Послушаем же карусельный ход
Его воспоминаний (утрясет
Такою ночью на таких путях),
Тому кибитка, может быть, виною.
В просветах небо низкое, родное.
Ах, эти юбки в розовых цветах,
Рассыпанных — куда попало! Ах,
Пшеничная прическа в два узла,
Широким гребнем схваченная наспех,
И скрученные, будто бы со зла,
Серебряные цепи на запястьях,
И золотой, чуть слышимый пушок,
Чуть различимый и почти невинный,
И бедра там, где стянут ремешок, —
Два лебедя, и даже привкус винный
Созревших губ, которых я не смог
Еще коснуться, но уже боюсь
Коснуться их примятых красных ягод.
. . . .
. . . .
Но слишком рано прошумят и лягут
Большие тени ветреных берез,
И пробежит берестовый мороз
Над нами, в нас.

Всё ж Настенька похожа
На розан ситцевый, как ни крути.
Под юбки бы... По золоченой коже
Скользить, скользить и родинку найти.
Я знаю: от ступни и до виска
Есть много жилок, и попробуй тронь их —
Сейчас же кровь проступит на ладони,
И сделается тоньше волоска
Твое дыханье, и сойдет на нет.
Там так темно, что отовсюду свет,
Как рядом с солнцем может быть темно,
Темно до звезд, тепло как в гнездах птичьих,
И столько радостей, что мудрено постичь их,
И не постичь их тоже мудрено.
Под юбки бы. Но в юбках столько складок,
Но воздух горек до того, что сладок.
. . . .
. . . .
Но дядя Яша ей сказал «нельзя»,
Да и к тому ж она меня боится.
Ну что ж, пускай, твой дядя не дурак,
Хитер он в меру, но не в этом сила...
Бесстыдная, ты ароматна так,
Как будто лето в травах пробродила,
Как будто раздевали догола
Тебя сто раз и всё же не узнали,
Как ты смеешься, до чего ты зла, —
Да и узнать удастся им едва ли.
Ты поднялась, и волосы упали —
Пшеничная прическа в два узла.
Проказница, теперь понятно мне...
Ты спуталась уже давно с другими.
Гудящая, как тетива, под ними,
Ты мечешься, безумная, во сне.
Ко мне прижавшись, думаешь о них,
Медовая, крутая, травяная,
И, тяжесть каждого припоминая,
Любого ждешь, любой тебе жених.

И да простится автору, что он
Подслушивал, как память шепчет это.
Он сам был в Настю по уши влюблен,

В рассвет озябший, в травяное лето,
В кувшин с колодезною темью и
В большое небо родины, в побаски
(В тех тальниковых дудках, помяни,
Древесные дудели соловьи
С полуночи до журавлиной пляски).

Пусть будет трижды мой расценщик прав,
Что нам теперь не до июньских трав
И что герою моему приличней
О тракторах припомнить в этот час.
Ведь было бы во много раз привычней,
Ведь было бы спокойней в сотню раз.
Но больше, чем страною всей, давно
Машин уборочных и посевных и разных
В стихах кудрявых, строчкой и бессвязных,
Поэтами уж произведено.

Я полон уваженья к тракторам,
Они нас за волосы к свету тянут,
Как те овсы, что вслед за ними встанут,
Они теперь необходимы нам.
Я сам давно у трактора учусь
И, если надо, плугом прицеплюсь,
Чтоб лемеха стальными лебедями
Проплыли в черноземе наших дней,
Но гул машин и теплый храп коней
По-разному овладевают нами.

Пускай же сын мой будущий прочтет,
Что здесь, в стране машины и колхоза,
В стране войны — был птичий перелет,
В моей стране существовали грозы.

(1933)

154. ПРОЛОГ К ПОЭМЕ «ВАХШ»

Гора бела, долина побелела,
пустынны сны просторной белизны.
А белизна — она светлей, чем тело
три дня назад родившейся луны.
Взгляни, видны угрюмые обрывы,
усеянные ордами арчи,
им только б стыть, запутывая гривы,
иглою каждой всасывать лучи,
среди снегов, средь новолунных льдов,
не знавших человеческих следов.
Снег, снег и снег, объятый низовым
и долгим вихрем, снегопада сила...
Долина эту тайну затаила,
глухую, недоступную чужим.
Здесь ветер в соснах ходит вперемет,
и долгие проклятия поет,
и метит — шире разгуляться где бы,
да проплясать, да сгинуть! Но смотри,
как подожженное заполыхало небо,
как щеки раскраснелись у зари.
И солнце, встав в голубизне и дыме,
земле в упор и холодам в упор,
ударив вкось ножами золотыми
по сердцу замороженному гор,
высокомерно поднялось над ними,
рожденное в голубизне и дыме.
И яростная снеговая кровь,
то падая, то пенясь по отрогу,

то встав столбом, то рассыпаясь вновь,
нашла себе широкую дорогу —
туда, где Вахш! .. — свирепый свой разлив
с могуществом его соединив.
В волнах, о Вахш, твоих, о Вахш, темно —
клинки, осыпанные жемчугами,
во тьме потока падают на дно
и вверх идут, поблескивая сами.
Ты назван диким, диким потому,
что с пеной белой смешиваешь тьму!
Вода стадами грузными идет,
и тишина, и только водяные
ревут стада, да камень в камень бьет,
и изгнаны все звуки остальные.
Нет тишины у Вахша, даже той,
что прячется в прибежище укрытом —
у человека с громкой пустотой
под самым сердцем, горьким и разбитым.
Нет тишины у Вахша — рвут с плеча
одежду волны и, начав смеяться,
друг другу на плечи слетают, хохоча,
и их хребты от хохота змеятся.
Так, детище безумия и льда,
крича, идет широкая вода.
То, как ребенок, долго завопит,
то будто бы поспешно и неловко
удавленник, ухваченный веревкой,
давясь слюной и страхом, захрипит.
Когда, жильцы нахмуренной долины,
воды черпнуть приходят бедняки,
Вахш рвет из рук их тяжкие кувшины
и тут же разбивает на куски.
А разойдясь, селения зорит,
моргающие тушит фонари,
схватив кишлак, несет его в ладонях,
играет, как двухмесячным мальцом,
и медлит тот в волнах перед концом,
о берег бьется, крутится и тонет.
Так Вахш течет! В косых его глазах
проносятся безумие и страх.
Так Вахш течет! В глазах его несытых
веселье, возмущение и гнев.

Так Вахш течет! И, только присмирев,
вдруг смутно вспоминает об обидах.
Но почему до этих пор не сыт?
Гневится чем гордец холодноглазый,
никем не укрощенный и ни разу
не взнузданный, чьих не простит обид?
Века прошли, но влаги ураган
в век данью не расплачивался с ханом
и пенный запрокинутый султан
ни пред одним не наклонял султаном.
И ни один златокоронный шах,
ни жены шаха с золотом в ушах,
ни торгаши, ни путник караванный
не овладели этой окаянной
седой волной владетельной реки.
И если находились смельчаки,
он им шутя выламывал ключицы
и относил теченьем...

⟨1934⟩

155. КУЛАКИ

1929 г. Разгар коллективизации.
Станица Черлак.

1

Люди верою не убоги,
Люди праведны у Черлака,
И Черлак
На церквах, на боге
И на вере стоит пока.

Он, как прежде, себе хозяин —
До звезды от прежних орлов.
И по-прежнему охраняем
Долгим гулом колоколов.

Славя крест, имущество славя,
Проклиная безверья срам,
Волны медные православья
Тяжко катятся по вечерам.

Он стоит, Черлак,
И закаты
По-над ним киргизских кровей.
Крепко сшили купцы когда-то
Юбки каменные церквей.

Он стоит другим в назиданье,
На крещении льда темней,

И в Крещение на Иордане
Крест
На двадцать пять саженей.

И в Крещенье
Голыми в воду
Лезут бабы, пятя зады.
И везут по домам подводы
Бочки синей святой воды.

А на Пасху блестит крестами,
Поднимая гам над гульбой,
Старый колокол с сыновьями
Пляшет, медной плеща губой.

И средь прочих
Под красной жестью,
С жестяным высоким коньком,
Дышит благовестом и благочестьем
Евстигнея Яркова дом.

Люди верою не убоги,
Люди праведны у Черлака.
И Черлак
На церквах, на боге
И на вере стоит пока.

2

Из-под самого Иртышска
Под безголосой дугой,
На залетной Рыжухе — пути не рад —
Прибыл разлюбезнейший, дорогой
Евстигнея Яркова
Родимый брат.

Пылью крашенный, хмуролицый,
Он вошел к Евстигнею в дом,
И погнулися половицы
Под подкованным каблуком.

Он вошел
Сурьезный, не слабый,

Вытер пот со лба рукавом,
И, покуда крестился,
Бабы
Удивлялися на него.

И, покуда крестился,
(— Ми-и-лай!)
Будто мерил
Могутство плеч,
Разлюбезнейший брат Василий, —
Евстигней
Поднялся навстречь.

И покуда бабы, что куры,
Заметались туды-сюды,
Повстречавшись, как надо, хмуро
Прошумели две бороды.

Гость одежи пудовой не снял еще,
А беседа уже пошла:
— Долгожданный, Василий Павлович,
Как дела?
— Хороши дела.

И покуда хлеба крестили,
В пузо всаживая им нож:
— Что ты скажешь мне,
Брат Василий,
Как живу?
— Хорошо живешь.

Из-под самого Иртышска
Под безголосой дугой
Прибыл вовремя в Черлак-град
Столь невиданный, доро́гой
Евстигнея Яркова
Родимый брат.

Темный ситец бабки и красный
Женин ситец
И сыновья, —
Всей семьи

Хоровод согласный,
Вся наряженная семья.

Сыновья ладны и умелы —
Дверь с крюков
Посшибают лбом,
Сразу видимо, кто их делал, —
Кулаки — полпуда в любом.

Род прекраснейший, знаменитый —
Сыновья! Сыны! —
Я те дам!
Бровь спокойная, волос витый —
Сразу видно,
Что делал сам.

Евстигней поведет ли ухом,
Замолчит ли —
Все замолчат,
Даже дышат единым духом —
От старухи и до внучат.

И Василий решает: «Вон как!»
Косы тени Павловичéй.
Дом пошатывается легонько,
Дышит теплым горлом печей.

И хозяин думой не сломан,
Слышит лучше всех и ясней —
По курятникам робкий гомон,
В теплых стойлах ржанье коней.

Приросло покрепче иного
К пуповине его добро,
И ударить жердью корову —
Евстигнею сломишь ребро.

Он их сам, лошадей, треножил.
Их от крепких его оград

Не отымет и сила божья,
А не то чтобы конокрад.

Он их сам, коров, переметил
И ножом,
И клеймом,
И всяк,
Никакая сила на свете
Не отымет его косяк.
Никакая на свете пакость,
Ну-ка, выйди, не оробей!
Хошь мизинец,
Хошь телку —
На-кось —
Отруби, отмерь и отбей.

Ну-ка, сунься к амбарам сытым —
Всё хозяйство, вся тишь и гладь
Опрокинет вострым копытом
И рогами начнет бодать.

Дом пошатывается легонько,
Дышит горьким горлом печей,
Понимает Василий: «Вон как!»
Косы тени Павловичéй.

Дышат дымом горькие глотки.
Чай остыл,
И на лбах роса,
И на стол хлебнувшие водки,
Подбоченясь, вышли баса.[1]

И тогда —
Хоть и не по приказу
Водку встретившие в упор, —
По-медвежьи
Ухнув три раза,
Братья начали разговор.

---

[1] Бас — кружка для водки.

И Василий, башкою лысой
Наклоняясь — будто в хомут,
Сообщает:
— Сестра Анфиса
Низко кланяются и зовут.

Разговор не сходил на убыль.
Он прогуливался как мог, —
Лошадям заглядывал в зубы
И коровий щупал сосок.

Он один ходил
Промеж всеми,
Поклоняясь печи, огню,
Он считал
Поклоны до земи
И по пальцам
Считал родню.

Вспоминал, как ругался деверь,
И нежданно к тому ж приплел
Об одной разнесчастной деве,
Кем-то брошенной на произвол.

Оба брата хмелевой силе,
Водке плещущей — кумовья.

— Брат мой старший.
— Да, брат Василий.
— Во-первы́х, сообщаю я.

Что —
В соседственном нам Лебяжьем
Вам известный Рябых Семен,
Состоятельный парень, скажем,
Властью выжит и разорен.

И нам видимы те причины,
За которыми шла беда, —

Не оставлено и лучины,
Гибель, скажем, и только.

— Н-да.
— Досемёнился,
Вот-те здравствуй,
Как известно, защиты нет,
И напрасно на самоуправство
Он ходатайствовал в райсовет.

Сеют гибель по всей округе,
Отбирают коров, коней.
Затянули, паря, подпруги.
Как рассудишь, брат Евстигней?

Босяки удила закусили. —
Евстигней раскрывает рот:
— Что тут сделаешь,
Брат Василий,
Как рассудишь —
Колхоз идет.

— Что ж колхоз,
А в колхозе — толку?
Кони — кости и гиблый дых,
Посшибали лошажьи холки,
Скот сгубили, разъязви их!

Разгнездилися на провале:
Ты работай — а власть права,
Тот работал, а эти взяли,
Тоже, язви, хозяева́.

Мимо сена,
И с ходу в воду.
Нет копыт, не то чтобы грив.
Объявили колхоз народу,
А народ кругом супротив.

Не надейся, паря, на жалость,
Да тебе самому видней.

Что же делать теперь осталось?
Как рассудишь,
Брат Евстигней?

Там,
В известном вам Енисейском
Взяли Голубева в оборот,
Раскулачили, и с семейством —
Вниз, под Тару, в гущу болот.

И не легкое, слышишь, паря,
И не ладное дело, брат:
На баржах — для охраны — в Таре
Пулеметы, паря, стоят.

Не открутишься, как возьмутся —
Выбьют говор и гонор наш.
Наша жизнь — что чаинка в блюдце,
Всё отдашь.
— Ты, значит, пугашь?

— Я что... Может, не согласитесь.
— Может...
— Может... —
Встал Евстигней,
Распирая румяный ситец,
Руки лезли вроде корней...

— Дело сказано братом, дело...
Толк известен в его речах. —
Голова спокойно сидела
Рыжим коршуном на плечах.

— Рано нам в бега собираться,
Страх немыслимый затая,
Не один я,
И, кроме братца,
Есть еще, — оглядел, —
Семья.

Сыновья без сумленья встали.
Старший принялся говорить:

— Та ли дядина речь, не та ли, —
Что ты скажешь, тому и быть.

И сказал Евстигней:
— Разлука
С прежним хуже копылий, ям,
И с хозяйством, —
Горчее муки
Тихо высказал, —
Не отдам.

8

На красных досках
Божьи лики
Верхненарымских мастеров:
Божьей матери
Соболья, тонкая бровь,
Ангелы
В зарослях ежевики.

И средь всего
В канареечном свете,
С иртышской зарей
Вокруг башки,

В белых кудрях,
Нахмурен и светел,
Крутя одеж
Многоверстный ветер
И ногу в башмачные ремешки,

Босую, грозную,
Вставив, что в стремя,
Расселся
Владетель неба и земи.

И, полные муки святой,
Облак мешки валялись.
Как мельник,

Бог придавил их голой пятой —
Хозяин, владеющий нераздельно.

Он мукомолом в мучной пыли
Вертел жернова в скиту под Яманью,
И люди к нему, как овцы, текли
Хоть полпуда выклянчить за покаянье.

Он мельник.
В мучной столбовой пыли
Стерег свою выручку под Яманью.
Его на трех таратайках везли,
Чтоб въехал пожить в избу атаманью.

И лучший
Из паствы его смиренной
Крестился на стремя его ремней,
И шел от дверей на него поклонно
В грехах и постах
Раб Евстигней.

Он верил в него
Без отвода глаз,
Воздвиг из икон
Резные заборы.
И вот наступил для обоих час
Последнего,
Краткого
Разговора.

И раб,
Молитву горя́ сотворить,
Моргнул
На несопричастных и лишних,
И домочадцы на цыпочках вышли,
Двери наглухо притворив.

Тогда Евстигней лампаду зажег,
Темную осветил позолоту.
Пал на колени,

На пол лег,
Снова встал
И начал работать.

Пол от молитвы
Гудел, как гроб.
— Каюсь,
Осподи,
Каюсь. —
Бил, покрывая ссадиной лоб,
Падая тяжко
И подымаясь.

И когда
Тяжелая его голова
Закрыла глаза,
В темень-тревогу,
Тихо
Вознес Евстигней слова
Господу своему,
Единому богу.

Он прорывался,
Потный, живой,
Зреть сквозь заоблачные туманы.
Он не утаивал ничего —
Порченых девок, греха, обману:
«Тыщу свечей спалил тебе,
Стлался перед тобой рогожей.
Сам себя в темной своей избе
Свечой подпалю,
Вседержитель боже.

Мы без тебя
Понапрасну биты.
Дланью коснись
Моей нищеты.
Ищу, твой раб,
У тебя защиты, —
Господи,

Спаси
Мои животы».

Но тлели углем золотым образа.
Дородно, розово божье обличье.
Бог, выкатив голубые свои глаза,
Глядел на мир подвластный
По-бычьи.

Господи, неужто ж
Моленья мало,
Обиды мало?
Но Евстигней
Не оканчивал слов —
Долгим дождем
По вискам стучала
Кровь его прадедов —
Прыгунов и хлыстов.

И вставали щетиной
Леса Тобола
Да пчелиные скиты
Алтайских мест —
Скопидомы, оказники и хлебосолы
Поднимали тяжелый
Двуперстный крест.

И еще раз раб поднялся к богу,
В сердце сомнения истребя:
«Господи,
Ты ли сеешь тревогу,
Господи, рушишь веру в тебя».

И внял.
Из облачного вертограда
Погнал кудрей своих табуны,
И, зашипев,
Погасла лампада

От крепкой и злой
Божьей слюны.

Сидел развалившись,
Губ не кривя,
Голой пятой облака давя.

Не было дела ему до земли.
И наплевать ему, что колхозы
К горлу кулацкому
Подошли...
Он притворялся, сытен и розов,
Будто не слышит...
«Какой ты бог,
Язви!..
Когда мы, как зерна в ступе,
Бьемся, в бараний скручены рог,
Ты через свой иконный порог
Шагу не сделаешь, не переступишь!»

Сидел развалившись,
Губ не кривя,
Грозной ногой
Облака давя.

Да в ответ Евстигней говорил:
«Постой!
Смеешься, мужик. Ну что же, посмейся».
Рванул на мороз,
Косматый, крутой,
Дверь настежь —
И стал собирать семейство.

Встал босой
На снег тяжело.
Злоба крутила
На шее жилы.

...В круглых парах семейство вошло
Хмурое,
Господа окружило.

Огни зажгли.
И в красных огнях
Пойманный бог шевелился еле —
Косыми тенями
Прыгал страх
На скулах его,
И глаза тускнели.

— Вот он, —
Хозяин сказал, —
Расселся,
Столько хваленый,
Моленый тут.
Мы ль от всего
Не верили
Сердца!..

И сыновья
Согласье дают.

— Мы ль перед ним не сгибали плечи?
Почто же пошел он на наш уют?
Сменял человеков своих на свечи?..

И сыновья
Согласье дают.

И тогда Евстигней колун вынул,
Долго лежавший у него в головах,
И пошел, натужив плечи и спину,
К богу —
На кривых могучих ногах.

Загудел колун,
Не ведавший страху,
Приготовясь пробовать
Божьей крови.
Дал ему хозяин
Сажень размаху,
Дал ему еще

На четверть размаху,
И —
Осподи, благослови!

Облако, крутясь и визжа, мелькнуло,
Ангелы зашикали:
— Ась... Ась... Ась... —
Треснули тяжелые божьи скулы,
Выкатилась челюсть вперед, смеясь.
Бабка, закричав в тоске окаянной,
Птицей стала.
Сальник, вспыхнув, погас.
И пред Евстигнеем,
Трясясь, деревянный
Рухнул на колени иконостас.

4

День от лютых песен страшен.
Евстигней в ладони бил,
По полу плясать ходил,
Из глубоких медных чашек
С сыновьями водку пил.

Собирал соседей в гости,
Опускался в темь и блуд,
Сыпал перстни-серьги горстью,
И трещали бабьи кости
От таких его причуд.

5

День второй смеялся: мало!
До смерти гонял коней,
Рвал на части одеяла,
И его душа дышала
Винным паром из сеней.
Гармонист гудел мехами,
Запевал, серьгой бренча.

Евстигней шумел: — Мы сами! —
Мял гармонь в комок руками,
И кричала петухами
Пьяная его родня.

6

И на третьи сутки, лая,
Смех вставал над кутежом.
Пахло кровью.
Песня злая —
Ножевая, удалая.
Водка пáхнула — ножом.
Покрутив башкою хмуро,
Грузный, тихий, льда темней,
На седые волчьи шкуры
Повалился Евстигней.

7

И в дохе,
Глухой, хрипящей,
Слаженной для вьюг и стуж,
На которую к тому ж
Восемь шкур ушло собачьих,
Восемь злых собачьих душ.

В сыромятных
Толстых жабах
Однопалых рукавиц
И в сарапулевских рябых
Валенках, мимо станиц
Урлютюпской и Кобыльей
До Лебяжинских плетней —
К брату младшему Василью
В гости ездил Евстигней.

И когда поземкой бледной
Был закрыт возвратный след —
В среду под вечер последний
Собран был семьи совет.

. . . .

8

Сын Димитрий спрашивал отца:
— Почему было иконы бить? —
Кучерявая, золотая овца,
Мямля, в сажень росту:
— Как быть?

Димитрий Евстигнеич,
Старший — страсть
Медленный, не мастер на догадки, —
Двумя жерновами
Ходят лопатки,
И когда друзей катает, борясь,
Кости их гудят
От медвежьей хватки.
— Без иконы лучше ли?
Прямо сказать —
Замучили соседи
Бабку и мать.
Возражу еще, отец мой и братцы,
Что равняться к голи станичной —
Не след...
Прямо сказать,
Так с нами вязаться
Силы покамест у них и нет...

Стоял он, моргая чаще и чаще,
Вдруг растерявшись... пока его
Брат средний, Игнатий, отцов приказчик,
Места не занял, сказав: — Чего?
Чего нам бояться чего невесть?
Чего нам бог?
Чего нам начальство?
Иконы всегда способно завесть.
Способно ли нам
Уберечь хозяйство?
Опять же,
Что начнут отбирать?
Может, какое и снисхожденье...

Опять же, которых коней загнать,
Барашков прирезать — мое почтенье.

Может, кого на кривой объедем,
Может, декрет как для кого.
Опять же,
Не мы одни, и соседи,
Как кто чего, а я ничего.

А младший, мамкин сынок,
Тонкий, от сладостей гнилозубый,
Начал тянуть:
— Ну, какой там бог...
Может, вам любо, а мне не любо.

Чо вы на сам деле?
А по мне —
Зря мы хомут надели на шею:
Хоть всё хозяйство
Вспылай в огне,
Вот вам ей-богу, не пожалею.
Ежели вникнуть,
Постольку-поскольку —
Нет оснований никаких...

Волосы, стриженные «под польку»,
И сапоги на скрипах тугих.
Густо расшит маргариткой ворот,
На пояс шит кисет именной...
Он уж давно надумывал в город —
«Басму» курить и чудить в пивной.

Город, сладко дышащий, мглистый,
Сердце тревожил в снах и ночах...
Что ж, для этого
Хоть в коммунисты,
Петр Евстигнеич парень казистый —
Узок в поясе, а не в плечах.

Втягивал щеки свои тугие,
В трубку сворачивая губу:

«Что мы такое,
Кто мы такие
Душно в избе,
Как в прелом гробу».

Он на собраньях больших и малых
Тоже вступал:
«Товарищи, я...»
Сладко ему —
От слов его вялых
Пятится и отступает семья.

Мать под платком:
— Петенька, что ты... —
Бабка «ахти», и братья «н-ну»...
И, лишь разойдясь вовсю с поворота,
Отца увидав, осадил охоту
И на попятную повернул:

— Знамо, высказываю, как разумею,
Что вы рассудите —
Может, глуп...

Очи раскрыв и вытянув шею,
Семья оборачивалась к Евстигнею
Павловичу, не разжимавшему губ,
Силясь открыть потайную думу,
Ждала без выдыха
И до слез.

Встал Евстигней
И сказал угрюмо:
— Надо, должно быть,
Идти
В колхоз.

И покуда ахнула семья большая,
Сбитая в стадо, вся как один,
— Я, — Евстигней сказал, — обнимаю
Тебя, Игнатий, середний сын.

Земля нам дана
На веки веков.
Не ссорься, Игнатий,
Зазря с судьбою.
Хозяйство, поди, разорить легко,
Но толку не будет в сплошном убое.
И стоп, и не надо, и не перечь!
Время покамест еще за нами.
Сумеем и сгинуть, и дом наш сжечь,
И наземь коней покласть топорами.
И не перечь, не хвались, не сбив.
Надо, ребята, размыслить трижды:
Нету возможностей
Супротив —
Значит, возможность наша — выждать.
И смекаю —
Колхоз, ну что ж,
Организуют, как все иные,
И приведут на аркане вошь
Юдины, Митины и Кривые.

Власти милиции
Недалеки,
Власти партейные — слава богу,
Тут же в властях сидят босяки,
И состоятельные мужики
Будут обобраны им в подмогу.

И смекаю —
Надобно нам,
Надо в колхоз идти, не иначе.
Надо. Решусь, ребята,
А там —
Будем за гриву ловить удачу.
Кто его знает. Темна игра.
Если окажемся снова в силе,
Первые в сторону и до двора.
Если придет такая пора,
Вынем поболее, чем вложили.

Молчала семья.
Дышала семья,

Думала семья;
Но мало.
И сразу
Всеми ртами
Сказала:
— Твоя воля.
— Его воля.
— Воля твоя.

9

Приглашенье всем по чести.
Крадучись в неясной мгле,
По одной собравшись вместе,
Кумушки несли известье,
Будто угли в подоле.

И пока мужья дремали,
Всё боялись порешить,
Головой крутя: «Едва ли...» —
Бабы под вечер решали,
Что собранью завтра быть.

И пока мужья: «Однако, —
Думали, прибавив: — Что ж,
Поглядим, бывает всяко...» —
Начиналась бабья драка
И визгливый шел дележ.

10

Федор Стрешнев на полатях
Тараканьих
Ночь не спал,
На худых бобах гадал:
«Что возьмут и что заплатят?
Чем я был и чем я стал?

Что возьмут
И чем заплатят?

Нет коровы,
Конь пропал...»
Федор Стрешнев на полатях
Тараканьих
Ночь не спал.

«Дмитриевна, — думал ночью
И прикидывал, — и пусть!
Всё-таки ж оно...
Как хочешь,
Дмитриевна, не решусь».

11

Сидор Зотин на полатей
Поднебесье в дымный дым
Думал: «Не возьму в понятье —
Что получим? Что дадим?

Стакнуться... Объединиться...
Есть пути — и нет пути».

Запасенная пшеница
Сказывала: не идти.

Утром встал с тяжелой думой,
На окно взглянул —
В снегу...
И на день взглянул —
Угрюмый...
— Как ты хочешь,
Что ни думай,
Федоровна, — не могу.

12

Лысинкой в раю подушек
Искупавшись,
Не разут,
Тек слезой супруге в уши

Сам Потанин: — Настя, душат,
А, Настасья, отберут.

13

Чтобы жить со стужей в мире,
Чтоб весну приворотить,
Надо шубы шить пошире,
Надо печи натопить.

Снежная игла кололась.
Сед косяк, рассвету рад.
...Алексашка лисий волос
Гребнем зачесал назад.

Посмотрел в окно — глубокий
Снег, пришедший из степей,
На семь с лишним четвертей.
Ветер вывалил у окон
Полный короб голубей.

И пока клевали сена
Золотой налет они,
Алексашка вспрыгнул и
Затянул возле колена
Сыромятные ремни.

Голуби в сенной полуде
Разобраться не могли.
Алексашка вспрыгнул, и —
Утречком иные люди
К Алексашке в гости шли.

Первым Редников: — Едва ли
С опозданьем. Не забыть —
Бабы загодя гадали,
Что собранью седня быть.

И пока он дорогие
Шубы сбрасывал с плеча —
Нынче стужа горяча, —

Вслед за ним вошли другие,
Сапогами топоча.

Митины и Скорняковы,
Труфанов, Седой, Левша,
Юдин, Зайцев, Митин снова
И сама учительша.

Редников!
Его родословной коренья
Уходят в батратчину,
В ночь ночей...
Из поколения в поколенье
Летел этот хмурый
Ворон бровей.

Жила на лбу
Крутая, как плетка,
Тяжелая, как батрацкая жизнь.
Из поколенья в поколенье
Передавалась походка —
Опасная, вперед плечом: сторонись!

А в юности он,
Когда троицыны травы
Звенели
И, праздничные, ошалев от ветра,
Пели сады,
По полному праву
Получал порученье
От всей слободы.

И входил он в круг широкий просто,
Чуть укорачивая медвежий шаг,
От слободы,
От бедноты —
На единоборство,
Разжигая вкруг тальи красный кушак.

И лишь только под взмахом его кулачища
На троицыну сырую землю с ног,
Брусничной харей без толку тыча,

Валился первый
Кулацкий сынок,

Смехом недобрую ругань кроя,
Кричало «ура» ему полслободы...
Так он и рос в Черлаке героем,
Редников —
Сын мужицкой нужды.
Когда же в девятнадцатом
Сквозь вьюги глухие
Забрезжил на западе
Красный флаг
И навстречу карательные выслал
Правитель России,
Его белоштанство
Адмирал Александр Колчак,

Редников всё припомнил:
Как били,
Как ему пальцем тогда грозили,
Что ему тогда говорили,
Как отнимали хлеб у него, —
И он уже знал,
Идти за кого.

Он еще не мог разобраться толком
В словах «революция»,
«Советская власть» —
Это было одно чутье, темное, как у волка, —
Кровная с революцией связь.

Это боль была,
Выношенная годами, —
Рев глухой
Из сердца, издалека...
(Горбыльи века, гнета века.)
И если б он умер,
То под красным знаменем —
Молча, прицеливаясь наверняка.

Это было Разина в душе восстанье,
Мыслей внезапный ледоход —

Так он и стал
Вожаком партизаньим,
Добытчиком
Мужицких свобод.

Он скудную жалость
Из сердца выжег,
И его тогда видели
В звездах всего, в снегу,
Впереди отряда, с винтом, на лыжах,
Сохатым мчавшегося
Через тайгу.
Юдин, Левша, Скорняков — матросы,
Каждый в станицах с детства желан...
Матросы! Революции золотая россыпь,
Революции — правый фланг!

Через пурги,
Средь полей России проклятых,
Через ливни свинцовые,
Певшие горячо,
Борясь и страдая,
Прошли в бушлатах
С пулеметными лентами через плечо.

В жизнь свою
Не сдававшихся на милость,
Ах, как щелкали
Наганов курки!
Ах, как матросские
Ленты крутились,
Синие летали
Воротники!

О, Юдин крутолобый,
Золотолицый, —
И нужно же было случиться так,
И нужно же было
Так приключиться,

Чтоб родиной твоею
Стал Черлак.

И нужно же было так случиться,
Чтоб здесь ждала тебя
Мать твоя —
Ты,
Заслуживший высокое званье партийца,
Ты, прошедший жизнь, мир по-иному кроя,

Но вас, матросы, крестьянские дети,
После битв
От друзей, от морей, от подруг
Потянуло к полузабытой повети,
Как гусей, как гусей на юг...

Быть вам радостными,
Быть счастливыми!
Почеломкаемся — вот рука...
Вы, цемент
И оплот актива
Пробуждающегося Черлака!

К учительше подсел Левша:
— Ну, как живем,
Ну, как поем,
Что нового, учительша? —
Глазами повел на Митиных:
— Не плохо бы постыдить иных.
А?

Левша

Собственно говоря,
Я для гонору, что ли, это
Принял звание секретаря
Черлакского сельсовета?
Нету, Митины, в вас отваги.
Вы сочувствующие, так сказать,

На баклаге да на бумаге,
Извиняюся, как вашу мать?

1-й Митин

Ты, Иван Андреич, зря нас задеваешь. Сам знаешь, мы люди темные, к секлетарствам не подходим.

2-й Митин

А помочь — почему не помочь?
Присмотревшись, можно.

Левша

Ты присматривайся,
Да не прогляди, —
У Ярковых бываешь, значится?
Знаю, Митин, тебя я начисто.
А поди-ка —
Тож — вожди
Называются середнячества.

1-й Митин

И всё понапрасну. А насчет того, что к Яркову за хомутом ходил...

Левша

Хомут, известное дело, —
Сама на себя
Раба надела.

Учительница

Ты, Левша, неправ, нельзя же сразу.
Надо не ругать, а разъяснять.

Левша

Что ж,
Мы их в активе для показу
Держим, позабыл, как иху мать?

Учительница

Я прошу сейчас же прекратить — в беседе
Этот тон не гож.

Левша

Да почему ж?
Мы ведь с ним

(указывая на старшего Митина)

Покамест что соседи —
Он моей свояченицы муж.

(Хлопая Митина по плечу)

Надо, брат, активней да построже.

Скорняков

(подходит к учительнице)

Можно на минутку,
Марь Иванн?
У меня к вам дельце.

Учительница

Отчего же?

(Отходит с ним.)

Скорняков

(ищет что-то)

Вот те на!
А положил в карман...
Вот. Нашел.

Левша

(Митиным)

Ума в башке палата —
К знахарю пошли!

Митины

Всё за грехи...

Левша

Надо было к доктору, ребята...

Скорняков
(к учительнице)
Вот, Марья Ивановна, — стихи.
(Читает)
Заря взойдет. Мы клятву не напрасно дали,
И день такой немедленно придет,
Чтоб мы в труде колхозном ликовали
И под винтами уходили кулаки...

Учительница

Мысль правильна.

. . . .

— Товарищи, начнем! —
И Алексашка встал.
Скользнув по раме,
Остановилось солнышко на нем,
На вожаке, на парне молодом,
На молодости, признанной за знамя.

— Теперь мы главный принимаем бой,
Тяжелый, припасенный напоследок,
Ценой любою, тяготой любой —
Пусть кровью нашей —
выкупим победу.
Товарищи партийцы!..
. . . .

Так был начат день.

14—16

С двух крыльев станицы
Пошел народ.
И Чекмарев —
Потанинская подмога, —
Грудь свою вынеся вдруг вперед,
Вывел сквозь зубы
Свиста тревогу.

И, длинный свист подхватив,
Друзья

Дурную показывали отвагу,
На вострых носках по ледку скользя,
Вперед плечом уводя ватагу.

Рубахи с слинявшим красным разводом
Кавказским поясом перехватив,
Ломая — разъязви тя — спесь и моду,
Едва по единой чарке испив,
И тут же,
Срамоты не пужаясь,
Закутав усердье
В тулупчик злой,
О ржавые шомполы
Опираясь, —
Женатые
С гирьками под полой.

А што,
Ежли драка...
А либо што...
Их бабы сбирали —
Да разве ж можно...
И гирьки за пазухой,
И зато,
И в случае ежли,
Дак понадежней.

И возле потанинского двора
Встретились:
— А, Алексаша, что же
Знати-то сколь с ним,
Давно пора
Нам поклониться,
Ну что же, можем.

И Чекмарев —
Весь в сощур —
И сам
Шапку снял:
— Александр Иваныч!
Колхозники, партия,
Наше вам,

Завтра к нам в гости
Пожалте, на ночь.

Митины зашептались:
— Вон как! —
И в матросы уходивший Юдин
Ласково посмотрел на кулак.
— Что ж, полюбовное дело —
Будем.

И вдруг подались
Навстречу без шума,
Как будто ветер
Прошел меж них, —
В дубленках рваных,
Держа угрюмо
Равненье
На Алексея Седых.

Прошли,
Раздвинув тень Чекмарева,
Туда, где, огрубелый в ветрах,
Над избами распластавшись сурово,
Падал и рвался красный флаг.

17

Махорка изо ртов
Сначала чинно
Падала дымом круглым к ногам,
Смутная, легкая, ползла по овчинам
По сарапулевкам и сапогам.

У подбородков
Росла кустами
И дальше шла
Клубами двумя,
Чадные бороды вырастали,
Плыли головы, головнями дымя.

И только
Под потолком прогорклым

Вставала
Во весь девичий рост,
Юбки расправляла махорка
И не жалела синих кос.

И не скрипели под ней качели,
Была она стройна и легка,
И медленно
Под нею горели
Лучшие головы Черлака.

В пожаре этом неслышном было
Много тоски, сомненья и зла.
Не разобрать:
Что корни пустило
И что собиралось
Сгореть дотла.

Каждая девка
Начисто знала
В лицо
Пшеницу, рожь и пшено,
Сколько засыпано их в подвалы
И сколько на завтра отделено.

Здесь взвешены
Радости и потери,
И не зазря рассуждать пришли
От старой веры
К новой вере
Своего хозяйства короли.

И мало что кто
Ходил в партизанах,
И мало что этот,
В двенадцать труб,
Купецкий лабаз
Обратили в клуб.

Не у одного,
Трясясь на гайтане,

Крест прикрывал
Втихомолку пуп.

И в первую очередь,
В первый ряд
Прошел и сел,
Как будто бы в сани,
Друзьям раздаривши
Умело взгляд,
С теми, что покрепче, —
Потанин.

С теми,
Которых любой сосед
Встретит без поклона едва ли,
Которых двенадцать с лишним лет
Церковными старостами
Выбирали.

Они — верховоды хозяйств своих,
Они — верховоды земли и хлеба!
И шапку снимали,
Встречая их,
С почтенья кося
И вздыхая: «Мне бы...»

И тыщи безвестных, глухих годов
Стояли они в правоте и силе,
Хозяева хлебов и скотов
И маяки мужицкой России!

На пагубе,
На крови,
На кости.
И вслед им мечтали:
Догнать, добраться,
Поболее под себя
Подгрести,
Поболее —
Осподи, нас прости!

И не давать
Другому подняться.

В первых рядах,
Об стул локотком
Опершись, оглядывая собранье,
Сидел, похохатывая шепотком,
Лысину прохлаждая платком,
С теми, кто покрепче, —
Потанин.

А дальше —
Лбы в сапожную складку,
Глотая махорочный дым густой,
Всё середнячество
По порядку,
Густо замешанное
Беднотой.

В задах, по правую руку,
С рубцами у глаз, чернобров,
Средь хохота
И каблучного стука
С робятами Чекмарев.

И к нему робята
Уже не раз
Подходили, шепча: «В порядке».
И косил он черные щели глаз,
Алексашку ища украдкой.

И нашел, и, как из-за куста,
Долго метился узким глазом,
Губы выкривил: ни черта,
Рассчитаемся, парень, разом.
И гармонисту мигнул,
И тот
Вывел исподволь «страданье».
И басы на цыпочках
Сквозь народ

Вдруг прошли,
Подумать, вперед,
Подговаривая собранье.

Банда висла,
Трясла башкой
Над отхлынувшими мужиками,
Зажимала кистень рукой,
Чуть притопывая
Каблуками.

Но под двумя знаменами стол
Уплывал, в кумач наряженный тяжко,
И всё шире и шире шел
Шум улыбчатый
Вкруг Алексашки.

Алексашка смеялся:
— Федоровна,
«Утверждаю»
Должна сказать,
«Утверждаю...» —
И смущалась зотинская жена,
Краской смутною
Залитая.
— Не могу, Александр Иваныч.
— Должна.
— Неспособна, ей-богу...
— Но-ка.
И когда кивнула людям она,
Прокатился ладошный рокот.

Уже на стол налег
Предсельсовета,
Бумаги в щепоти держа,
И секретарь залистал газету,
Глаза очками вооружа.

И остановился
Плывущий стол
Под знаменными кистями,
Когда по рядам

Говорок прошел:
— Евстигней Ярков,
С сыновьями...

Зашелестело в рядах:
— Ярковы... —
Встали,
Место давая им.
Но Евстигней отстранился:
— Что вы, сограждане,
Постоим.

Он стоял
С потупленным взглядом,
Гражданин
Ярков Евстигней,
И придерживал, тихий, рядом
Сыновьев,
Будто кобелей.

И стояли три дитяти
Возле тихого
На приколе,
На аршин боясь отойти
От отцовской любви
И воли.

18

Потушили цигарки,
Смолкнул шум,
И предсельсовета,
Пол обминая,
Качнулся:
— Товарищи, начинаю,
Выдвигайте
Пре-зи-ди-ум.

Кто-то встал:
— Предлагаю зачесть —
Поскольку клуб

Бедначеством полон
И также постольку, поскольку
Есть
Список от партии
И комсомола...

Но сзади крикнули:
— Это что ж?
Мненьям не дозволяете ходу?
В карман его список!
В карман положь!
Дайте высказаться
Народу!

И в ответ вспыхнуло:
— Стервы,
Чекмаревцы! Гоните их! —
И голос
Промеж остальных:
— Во-первых,
Предлагаю
Алексея
Седых!

Вверх пятерни полезли —
Нате!
Уверенны, суровы, темны,
Вверх бесстрашно, —
Считай, председатель,
Честные руки
Своей страны.

— Сорок.
— Довольно! Довольно!
— Мало!
Кой-где, не выдержав, тяжела,
Рука, задрожав, в темноту ныряла,
Но новая
Вместо нее росла.

— Прошел! —
И снова

Сквозь долгий шум:
— Юдина!
— Чекмарева!
— Учительшу!

И вот оно вдруг
Раскачалось, слово,
Плечом выдвигаясь
Из темноты:
— Требуем
Провести Чекмарева —
Представителя от бедноты!

Встал Потанин,
От смеха икая,
В дрожи весь,
Слезою давясь:
— Когда без желанья народу,
Какая
Такая будет
Советская власть? —
И сквозь слезу,
Торопясь, считал
Руки приспешников и подлипал.

Так Чекмарев
В табачном дыме
Прошел к столу,
Веселый да злой,
Чтоб сесть
Под знаменами
Меж другими
Под крики:
«Да здравствует» и «долой».

19

Хмурый лоб,
Веселые брови,
Руку заложив
За кушак,

Слово схватил
Михаил Петрович
Редников —
Партизан и бедняк.

20

— Товарищи,
Призываю вас,
Бросьте,
По краю, покамест память жива
О том,
Как белели наши кости
На черных знаменах
Анненкова.

И хоть о костях тех
Слава плохая
И край
От разбойных войн полысел,
Сабли через хребты Урянхая,
Должно быть, увел
Атаман не все!

В правде
И супротивстве повинных,
У партизанов, бойцов,
У нас,
Цел на задницах и на спинах
Дареный атаманский лампас.

И знаем счет
Всем старым знакомым.
Боролись, товарищи,
Кто как мог,
И помним,
Что над потанинским домом
Летало на знамени:
«С нами бог!»

Потанин на цыпочки встал:
— Да что ты,

Немысленная клевета,
Боже мой! —
Но слово державший
Бил с разлета,
Тяжелый, как маузер,
И прямой.

— ...И помним...
(Свист из задних рядов
И крики:
— Крой, Редников!
— Брешет даром!)
...Как дядюшка твой,
«Бедняк» Чекмарев,
Рубил нас в оврагах
Под Павлодаром.

И скажу как умею —
Мразь, кулачество,
Прошлогодняя сила,
Которую наша
Советская власть
Всё же
До времени
Пощадила,
Против колхоза
Вооружена!

Знаю,
Затеи у них какие, —
Саблю в руки,
Сапог в стремена
И на рысях —
Вымогать Россию!

Но я, Редников,
Бывший в боях,
Я говорю:
Не допустим этого.
На нашей любви,
На их костях

Да здравствует
Власть Советов!

И мы теперь...
(— Не из тучи гром!
— Правильно!
— Призывают к разбою!)
...Слушай, Потанин,
Всё отберем
За век награбленное тобою.

Всё отберем,
Потому — кулак.
И не противься,
Слышишь, Потанин?

Жить будет, слышишь,
Колхоз Черлак,
Имени
Ленинского восстания.

21

Шум...

22

Иваншин, отряхиваясь, вышел на свет,
Будто курица, выпущенная после щупки,
В обуви,
Которой прозванья нет,
Голубой
От холода и полукрупки.
Бороденка торчала
Лаптем худым,
Из шубейки
Клоками глядела
Вата.
Но Потанину хвастался:

— Отстоим. —
И держался молодцевато.

23

— Товарищи,
Скажу как могу,
Товарищи...
(Огляделся тревожно.)
Мы с Редниковым,
Можно сказать,
В снегу
Вместе отстреливались,
Как можно.

Что же насчет
Атаманских войск,
Потанин затронут Мишкою ложно.
Потанин — мужик, товарищи, свой,
Войска ж расставляли
Где только можно.
Можно сказать...
(Ряды: — О-ё-ёй!
— Есть человек,
Да совести нету!
— Иваншин, подумай!
— Иваншин, крой!
— А сколько тебе
Потанин
За это? ..)
...Я — как свидетель...
По существу же,
Если колхоз — при нашей беде,
Как бы дела
Не стали хуже,
А стали хуже
Они везде.

Ваш же укор
Мне в укор едва ли, —

Чего мне стыдиться?
Какой мне стыд?
Лебяжинцы
Вон как организовали —
Народ до сих пор
Оттуда бежит.

Когда присмотреться,
Так видишь ясно —
В единоличии
Слаще жись.
Можно и порознь
Жить согласно...
(Крик из президиума:
— Стыдись!)
— Стыжуся, смотри-ка,
Пуще огня!
Знамена
От ваших дел покраснели.
Да что вы
На самом деле на меня,
Александр Иванович,
В самом деле?

Чего мне стыдиться?
Какой мне стыд?
Да что я —
В желаньях одинокий?
Да вон —
Середнячество не хотит!

В рядах
Поднялся
Седой и широкий,
В иконном окладе бороды,
И выкатил
Облегчающим лаем:
— Насчет налогов туды-сюды,
Колхоза ж действительно не желаем.

Иваншин взметнулся:
— Видишь, сласть

Колхозная как приходится людям,
На что нам сдалась
Насильная власть?!

Но басом
Вывинтил злобу
Юдин.

Застлал его грудью:
— Не нравится власть?
(Почти застонав,
Надвинувшись,
Глухо.)
Так, значит,
Советская власть
Не в сласть
Тебе,
Потанинская потаскуха?

И тут же,
Губы поджав, Чекмарев
Встал, ожиданьем долгим помятый:
— Поскольку
Одергивают бедняков,
Президиум
Покидаю, ребята.

И вынул платок.
И гармонист,
Смеясь, в темноте опрокинул банку,
Поднял плечо,
Приготовил свист,
Готовый рвануть
С ладов «Иркутянку».

И гармонь —
На красной вожже
Рябая птица, —
Сдержаться силясь,
Дышала, поскрипывала,
И уже
Женатые гирьками перекрестились,

«Пора» сказав, торопя затяжку,
Шомполы щупая возле ног,
Завидев,
Что проломил Алексашка
Грудью молчанья тонкий ледок, —

Он уже выдался весь,
Готовый
Пробиться сквозь молчанье и шум,
Когда над собраньем
Многопудовый
Голос упал на весы:
— Прошу.

Голову наклоняя,
Под знамя
Шагал Ярков
С тремя сыновьями.

— Прошу...
(Гармонист опустил плечо,
Решив, что качнуться
Покамест рано.
Женатые зашептались:
— Что еще? —
Гирьки забыв
Уложить в карманы.)

24

— Прошу, —
Так сказал
Ярков Евстигней. —
Прошу разрешить
Единое слово
Сказать за себя
И своих детей.

И дали
Высказаться Яркову.

И он, смирно́й,
Глазами печалясь,
Гривастый,
Потанину не чета,
Вытянул среднему сыну палец:
— Игнатий Евстигнеич,
Читай!

25

Игнатий

«Пятистенный,
Железом венчанный
Дом,
После потанинского
Пятый с краю,
Со всем преимуществом
И добром,
А также двор, амбар и сараи.

Саманка, баня,
Летний загон,
Сад с сиренью
И протчей природой,
Скрытые тесом со всех сторон,
Полдесятины
Под огороды.

А также коней:
Ходившие в паре
Братки,
Вороные от морд до хвоста.
И привозной из Актюбы
Гнедо-карий,
Киргизская вымесь
И тропота.

А также,
Окромя тропоты,
Бабка

И сын ее Норов рядом —
Кони, способные для пахоты
И перевозки
Чижолых кладов.

И с ними
Не на равной ноге
Рыжая родовая кобыла,
Бившая завсегда на байге
Бегунцов Актюбинска
И Баян-Аила.

При ей жеребенок,
Прозваньем Саня,
Явившийся только в этом году,
И к этим коням
Кибитки и сани
Исправные,
На железном ходу.

И к ним машины:
Одна молотилка,
Плуги,
Бороны,
Грабли и проч.
Коровы две:
Беляна и Милка,
И с Милкою
Годовалая дочь.

Включая сюда —
Запасы пшеницы
Сто один пуд,
Сто двадцать овса,
Включая сюда
Порося и птицу
И пегого на привязи пса».

26

И рыжая
Вымахнула кобылица,
Жаркая, золотом богатая масть,
Давая дыбки!
Вот она косится
Глазом, налитым кровью, ярясь.

И, круг начертив
Размашистым ходом,
Встала —
В бабках тонкая,
Хороша!
В нежных ноздрях
Порхала порода,
По жилам гуляла
Злая душа.

Под ней земля —
Словно зерна в ступе,
Тянет от нее
Конюшенным холодком —
То, будто барышня, переступит,
То поведет
Точеным ушком.

Ишь молода —
Кровей до отказу!
И всё ей кажется — тесно тут...
Сейчас на торжище
Пестроглазом
Мимо степных купцов
Поведут.

И рядом
Зубы скалят Братки,
Мастью темней
Ночей в Заиртышье,

И шиной мерцающие ходки,
И дом, поднимающий в небо крыши.

Плуга стальной осетр, борона
В щучьих зубах,
Грудное мычанье
Ведерниц...
И дождь проливной зерна
Хлынул
На ладони собранью.

27

Евстигней Павлович
Вымолвил: — Вот,
Евстигней Павлович
Всё отдает!
Всё!
Останусь в рванье дерюжьем
С детьми
И сородичами
Наравне.
Пусть же хозяйство мое послужит
Советской власти,
Как раньше мне.

Прошу всепублично вас
И всурьез
Кряду,
Опомнившись
От заблужденья,
Дать моей просьбе
Удовлетворенье —
Вместе с семьей
Зачислить в колхоз.

Евстигней Павлович
Вымолвил: — Вот,

Страх,
Альсандр Иваныч, берет.

Страх берет,
Товарищ Седых
(Махнул на ряды рукой),
Не скрываю —
Краснею перед властью за них,
Примеру последовать
Призываю.

За мной пойдут,
Понимают сами... —
Пошептал кривыми усами,
Пожевал бровями,
Шапку снял

И запел «Интернационал».

28

Потанин ноги вытянул,
Слабый,
За соседей едва локтями держась:
«Хотя бы остепенился,
Хотя бы...
Что это он, товарищи, ась?»

И чекмаревцы, забыв про гири,
В диком смятении темноты
Застыли, пятерни растопырив,
Привстав и разинув глухие рты.

Один Иваншин вдруг запотел.
Вскочил, осел, поднялся снова,
Взглянув на Потанина, на Яркова,
Не выдержал и запел:
«И это есть наш последний
И решительный бой...»

29

«Али ты не любишь
Мальчишку, али...»
В снеговой пыли
Парней шубы
За плечо держали,
Рядом шли.

«Али затерялась
Среди товарок,
Али тебя выглядел
Коммунист...»

Гармонь проносил,
Как богу подарок,
Заломив башку,
Хмельной гармонист.

Это средь чадной
Иртышской ночи,
Переваливаясь
Из сугроба в сугроб
(— Чего тебе надо?
— Чего ты хочешь?),
Кулацкий орудовал агитпроп.

И, песню о любви смяв,
К сласти ее приморив охоту
(— Не надобно нам никаких управ!),
Частушку наяривали,
Широкороты,

Тяжелы, как деды их встарь,
Свои, станишные, не постояльцы,
И им подсвистывал
Сам январь,
Приладив к губам
Ледяные пальцы:

«Не ходи, Ярков, до них,
Не води коней своих,
Не хотят они таких,
А хотят иметь нагих...

Это счастье не по нам —
Не хотят приучивать,
Скоро будут мужикам
Головы откручивать».

80

(Утром возле колодца бабы разговаривали: — Али это правда, али марево ли. Евстигней Палыч вчерась выступал за власть. И этак сурьезно: «Долю свою без остатка вам, говорит, отдаю». Мужики-то удерживают его, а он всё больше насчет своего: «Отдаю, говорит, народу и то и се». Отдает, сказать, без малого всё. — Юдинская невестка поправила рваные шали: — Как же, постиг. Отдает, покудова не отобрали... Хитрый Евстигней Палыч мужик. — Анфиса Потанина поставила ведра, белужьи руки воткнула в бока, широкой волной раскачала бедра: — А твой кто таков? А ты кто така? — Юдина невестка белым-бела, руки с коромыслом переплела, бровью застреляла: — Мой кто таков? Мой покудова не держал батраков, у мово покудова на крыше солома, мой покудова не выстроил пятистенного дома, моему покудова попы не приятели, от мово родные дочери не брюхатели... А Александр Иванович ему: «Не возьмем: на наших, говорит, ты загривках строил дом, нашей, говорит, кровью коней поил, из наших, говорит, костей наделал удил. Не надо нам кулацкого в колхоз лисья. Раскулачим, говорит, тебя, Ярков, и вся».)

31

Снег лежал, как мех дорогой,
Чуть пошевеливаясь от ветра,
Петух кукарекал
И ждал ответа.
А время было перед пургой.

Снег лежал на тысячи верст,
Глубокий, дымясь,
Двухаршинный, санный.
И вспыхивал его звериный ворс
Где-то возле огней Зайсана.

А небо спокойным не было.
Молча,
Не выкрикивая, не дыша,
Большие тени летали по небу,
Широкими рукавами маша.

И в небе
То ль рябь ходила кругами,
То ль падал тонкий перстень луча,
То ль рыбы с отрезанными головами
Плыли, туман за хвостом волоча,
В мутной воде
Пробираясь еле...
И может, то впрямь,
Боясь зареветь,
Метались, привстав на шатких качелях,
Тени печальных иртышских ведьм,
Похожих на птиц — хозяек метелей.

Быть может, они,
Молчальницы,
Мчатся,
Раскинув саженные рукава...
...Но медленно
Стала обозначаться
Свирепая, сквозь муть, голова.

И когда уже проступили
В мутном свете

Хитрый рот ее и глазища,
В щель —
Длинно закричал «на помощь» ветер,
Набок упал, и пошла метель.

82

Еще до утра аршин остался.
От завалинок до самых труб
Каждый дом — сед.
Белоперого снегу повсюду
Столь навалено,
Будто целую ночь били
Красноклювых гусей.

Густо белоперье кругом лежало,
А самый нежный пух —
Из-под крыла,
Которого добыто тож немало,
На крыши метелица занесла.

Намело снегу, глубоќо, глубóко,
По бровь им засыпаны дворы —
Небо рассвета темней банных окон,
Когда в банной печке
Ходят пары.

Сугробами непробитыми,
Друг друга торопя,
Из дому вышли Митины,
Дружные братовья.
И младший, в кривой папахе,
Оглядываясь на дом,
Шубу крепче запахивая,
Вымолвил: — Что ль, пойдем. —
И старший, чтоб не озябнуть,
Руки — снегом натер.
Схватился — ишь ветер! — за полу:
— Вернемся, коль не храбер.
— Мне что, когда б не увидели,
Тут надобно бы тая... —

По улице крались Митины,
Дружные братовья.

И когда ярковский дом
Под снегами
Потянулся к ним из-за угла, —
Старший сплюнул жемчугами
И сказал: — Была не была.

За дверью тихо спросили: — Кто там? —
Пол заплескался от босых ног,
Телок замычал.
— Свои! —
(Позевота.)
— От Милки, должно,
Замычал телок...

Вошли.
Игнашка за руку: — Просим,
В горницу, что ль, тогда.

(Шепотком)

В горнице густо, как на покосе,
Пахло сеном и молоком.

Бабы всхрапывали и сквозь сон
«Господи милостивый» говорили.

Игнашка вытащил рыбу: — Сом... —
Налил зеленого из бутыли.

Рядом хозяин шею гнул,
В подштанниках. Супясь бровью,
Старший Митин ему моргнул:
— Павловичу,
Ваше здоровье.

Но тот отмахнул одеяльный шелк,
Плечей шарахнулась сажень косая.
— Вы как хотите... —
И ушел. —

Вашего дела
Я не касаюсь.

Игнашка смешок пустил жестяной:
— Видишь ты (из зеленой бутыли)...
Вы уж, ребята,
Лучше со мной —
Тятенька это мне поручили.

Тятенька, знаете, старовер.
Натура тятенькина другая,
Я ему, тятеньке, не в пример...
Как же мы, значится, располагаем.

Гребень взял, надел галифе.
— Игнатий Стигнеич,
Молва худая —
Братцу страшно,
А один — куда я?

— Страшно ли —
Пестиком по голове.
Впрочем, я, в случае,
Не принуждаю.

Но младший заторопился: — Но, но,
Нету от братца, сказать, покою.
Заладил и всё:
Страшно́ да страшно́.
Да я завсегда
Готов на такое.

Мы сколь возле них
Вертелись зазря,
А что получили —
Одне бумажки.
Да я по любому из них заряд —
Хоть по учительше,
Хоть по Алексашке.

Тогда в порядке
Сошлись тесней

И шепотом (из зеленой бутыли):
— Коней!
— Коней.
— Добудем коней.
— А выплата?
— Как говорили.

— Как говорили?
— Так говорили.
— Все-таки.
(Из зеленой бутыли.)

Рядом закашляли.
Вздрогнул: — Ну,
Что это? — Братья переглянулись.
Вырвался
И ушел в тишину
Топот — быстрый какой! — вдоль улиц.

Игнашка

Ну ладно, будем считать
Поденно, как говорят, али сдельно.
Учительшу эту —
Как ее звать? —
Вместе с Алексашкой в расчет принимать,
Али ее принимать отдельно?
Больно худа...

— Уж это как вы... —
Игнатий подумал, зрачком играя:
— Одна голова,
Голова вторая,
Опять же выходит — две головы.

Ну ладно, за Алексашку даю
Полста муки (в рыбину вилку).
Корову. Лошадь, значит. Мою.
И, как говорено раньше, Милку.

Ну, что ли, к ним
Еще порося.

Ишь надарил — одно безобразье.
Кур вам наловят, что ли, и вся,
А за учительшу —
Крысу разве.

Митин старший придвинулся: — Ишь,
У Милки, пожалуй, не те удои.
У нас же, сам знаешь:
И дом без крыши,
И сам понимаешь — дело худое.

Давай взамену Беляну —
И в путь.
Беляну давай,
И обоим — любо... —
Но младший
Капризно вытянул губы:
— Меньше Рыжухи не соглашусь.

— Что вы, ограбить меня хотите! —
Били в ладони,
Спор шелестел
Из-за коровьих розовых титек...
(Что вы, ограбить меня хотите!)
Из-за лошажьих
Рыжих мастей...

— Как говорили!
— Как говорили?
Или Рыжуху, Игнатий, или...

Игнашка вспотел, вынул платок.
Курчавясь, привстав на нежных копытцах,
С детским задумчивым любопытством
Глядел из-за жерди
На них телок.

— Ну, так решили, что ли? — Игнатий
Натужился, улыбнулся:
— Орлы! —
Бабье тело пало с полатей

И, пробежав,
Растрясло полы.

Солнце прошло по горнице вкось,
У Митина старшего еле-еле
Глаза зеленые подобрели:
— Игнатий,
Материалу б нашлось
Бабе? Уважь...

— Материалу? Ась?
Попробуй,
Тебя досыта
Уважь-ка! —
Сундук разбудил со звоном Игнашка,
Сквозь зубы молитвенно матерясь.

И вынул цельный кусок голубого:
— Нá тебе. Шелковый репис. Дарю.
Твоя, поди, в жись не знала такого.
Репис! Оставил голой свою.

И вывел их
В сенцы, в темь, в рогожу,
И шепотом еще им:
— Притом
Тятенька предполагает
Про то же,
Что предпочтительнее
Пестом.

83

Старший Митин
Глазами водил,
Вожжи держал
Рукой деревянной:
— Лошади — звери,
Снег — что подстил,

Садитесь, пожалуйста,
Марья Иванна!

А младший, кривя:
— Как же-с, нельзя.
Теперь покататься — первое дело. —
Вставал на носки,
Сапогами скользя,
И ремень тянул,
Чтоб дуга загудела.

— Как же-с, нельзя... —
В колечко концы
И коренному еще:
— Становись, ты! —
И дутые вьюгою бубенцы
Летели с дуги — последние листья.

И пристяжная татарской княжной,
Вся вороная.
И снегом украшен
Седой коренник,
На подбор пристяжной —
Первейшая иноходь! Барабашев!
Старший смеялся,
Глазами водил,
Вожжи тянул
Рукой деревянной:
— Лошади — звери,
Снег — что подстил,
Садитесь, не бойтесь,
Марья Иванна!

И младший, глядя на туфли
(Беда),
На шубку и платье (стираный ситец):
— Побольше бы сена,
Кошму б сюда,
Товарищ учительша,
Не простудитесь.

Пара прошла по улке в намет.
Здорово!

У Алексашкина дома
Тропкой младшо́й
Пробежал знакомой,
В двери:
— Сань, Марья Иванна зовет.

— Едем?
— Конечно. И лошади около.
— Что ли, наган прихватить, потому —
Метят? —
У Митина сердце заекало.
— Взять, что ли, Митин, наган?
— Ни к чему.

— Ну, так поехали.
— Рады стараться,
Мы им затянем, коням, удила.
Мы их заставим! —
Но мать подошла:
— Саня, куда это?
— В поле кататься.

Горе прошло по глазам ее тенью:
Может быть, думала что-то, тая.
Худо,
Когда, позабыв
Про рожденье,
Мать не целуют свою сыновья!
Мало ли что...

Только сани сквозь стужу
Двинулись,
Только запела дуга,
Что-то смекнув,
Заблистали
И тут же
С хохоту покатились снега,

Вычертив за избы, в поле, по скату,
Заяц бы только

Не перебежал,
Только б не вылез сквозь сено носатый,
Скрытый до времени
Самопал.

Только бы путь
Наезженный, санный,
Только б разбега
Кромешная власть!
Старший на козлах
Качался, как пьяный,
Пестик за пазухой
Чуял, томясь.

А младший думал: «Значится, так...
Значится, если забрать полукругом,
Тут же в соседстве, значит, друг с другом
Марьины сопки и слева овраг.
Сразу от сопок будет провал,
Ежели пара вдруг разомчится,
Тут бы, видать, и должно случиться,
Только бы старший не оплошал.

Сначала крестом,
А после пестом.
Значится, выбрать только мгновенье,
Коней загнать, заморить и потом
По Черлаку разгласить нападенье.

Дескать, в шалях, неизвестно кто,
Вроде как всемером али боле,
Взяли в оружие и дреколье,
Нас-де же треснули, значит, и то
Вон как царапнули...
«Вы, мужики!
Дескать, катайте-ка порысистей...
Нам-де пригодны лишь коммунисты,
Вы еще вспомните, кто мы таки».

Вытянул кнут,
В колоб выкрутил вожжи,
Дыбом встаращилась шуба на нем,

Марьины сопки...
— Залетные! Что же,
Иль, Александр Иваныч,
Катнем?

И лошади взяли,
И ветер в лицо
Ударил крылом молодым
Что есть силы.
И пристяжная
Согнулась в кольцо,
Башку на лету
На снега положила.
И коренник, как цыган хохоча,
Сиял, окружен голубыми ветрами,
То будто бы шубу
Срывая с плеча,
То самое небо
Хватая зубами.

И вот оно,
Вкось набегая, летит,
Мелькает в кустах
Алексашкино детство,
Под крупным дождем
Заблестевших копыт.
От шепота юности
Некуда деться.

И сани бросались,
Зарывшись в обвалах,
Вперед,
Как хмельная, смертельным концом,
Бросалась в сумятицу войн небывалых
Шальная тачанка
С убитым бойцом.
А Митин на козлах
Шатался, как пьяный,
Да вдруг обернулся
На полном скаку:
— Довольно!
Приехали, Марья Иванна! —

И Марью Иванну
Пестом по виску.
Мир гулко шатнулся —
Ни солнца, ни снегу.
Совсем оплошал,
Перед криком затих,
И пара в деревья метнулась с разбегу,
Да так, что на сучьях
Повисла кривых.

И тут же насели,
Свирепо и тяжко,
За шею схватили. Была не была.
Он вырвался — в чащу.
Смотри, Алексашка,
По Марьиным сопкам
Охота пошла.
По кручам, по рытвинам,
Вдаль над рекою
Заговорил не шутя самопал.
Ты ветер схватил,
Словно ветку, рукою
И с пригоршней дроби под сердцем упал.

Последние силы упал собирая,
Чтоб выплюнуть сволочи этой еще:
— Предатели... Гадины...
Умираю...
Товарищи... отомстят. —
А братья рассуждали:
— Надо уметь,
Надо, ох надо!
Надо учительшу посмотреть.

Пошли к саням.
Ласкались кони,
Терли друг другу шеи. Бровь
Чуть приподняв,
Склонясь по-вороньи,
Долго Егор разглядывал кровь.

Вывели коней на дорогу братцы,
Затряслась дуга — собор бубенцов,

Но тут издалече,
С двух концов,
Начали голоса
На них надвигаться.

84

— Ве-е-едут. —
И тут,
Кулаки вздымая,
Бежал Черлак
(Убивцев веду-ут),
И тут
Первым Ярков на крыльцо шагнул —
Огневая
Рубаха на нем
И черный тулуп.

И Митины за ним,
Кривобоки, немы,
Перекосило, скрючило их,
А по бокам — зеленые шлемы
И синяя сталь
Сторожевых.

А к воротам уже
Подошла подвода, —
Сани
Под парусом медвежьим —
Корабль.
Пристяжные глотали
Удил гремучую воду,
Заиндевел коренник
И зяб.

— Ве-е-е-едут! —
Ярков уже ногу ставил
На ступень последнюю,
На снег встал,
И веко тяжелое, будто ставень,

Над глазом остывшим
Приподнимал.

Но сбоку,
Дорогу пересекая,
Выше крыш занося кулак,
Рванулась ненависть людская,
И, запыхавшись,
Вбежал Черлак.

И, многоликий,
Пошел к крыльцу.
Так и стояли —
Лицом к лицу.

Черлак еще не знал,
Зачем с дубьем,
С вилами у этого он у крыльца.
Но не было, не было лица на нем,
Не было на нем
Лица.

Дух переводя,
Куда-то спеша,
Стоял он, громко дыша.

И сделал шаг один, небольшой,
К крыльцу,
И снова стояли лицом к лицу.

И младший Митин
Не выдержал — с каблуков.
Воздух кусая, заплакал и скоро
Заговорил: — Соседи! Ярков...
Телку сулил...
По его наговору...

Молча, второй, чуть поболе, шаг
Сделал навстречу ему Черлак.
И кто-то явственно,
Как часы бьют,

Сказал: — Какой здесь
Может быть суд?
Просим их выдать нам.
Мы им — трибунал. —
И голос бабий запричитал,
Запричитал:

«Ах, уж как лежал
Сашенька наш родненький,
Всё-то личико у него
В кровиночках,
Пальчики-то все перебитые...»

И сразу толпа пошла на крыльцо —
Горем вскрыленная стая,
Но стали холодное полукольцо
Сомкнулось,
И голос:
— Остановись, стреляю!

(«...А уж как глазыньки-то у него
Запеклись, у милого,
Весь-то лежит измученный,
Изувеченный...»)

ЭПИЛОГ

Трехъярусное раскачивая войло, сопя,
Коротконогий,
Нагулявший мяс до отказу,
Коровьи запахи втягивая в себя,
Багровошерстный, золотоглазый,

Неповоротлив, нетороплив,
Останавливаясь, чтоб покоситься,
Курчавый лоб до земли склонив,
Он

Надвигался
На станицу.

И на бугре,
Над шатким мостом,
Над камышовой речной прохладой,
Встал, ударяя львиным хвостом,
Пылая, — лютый водитель стада.

И вслед за ним
По буграм покатым
Вслед за мужем, за бугаем,
С хребтами красными от заката,
Багровым осыпанные репьем,

Вслушиваясь
В длинный посвист бича,
Окружены сияньем и ревом,
Четверорогое вымя
Тяжело волоча,
Шли одичавшие за день коровы.

Солнце они несли на хребтах,
Степь в утробах, —
Полынь и траву ее.
...А в ивняке, от станицы в ста шагах,
Закружилось пьяное комарье.

Это трубила Начало ночь.
Утка закрякала.
В темень, во мглу
Старая сова зазывала дочь
Учиться охотскому ремеслу.

И кто-то в ивняке,
На том берегу,
Тяжелый, сквозь заросли пробираясь,
Спросил: — Стараешься ли?
— Ста-ра-юсь.

Спросил еще: — Бе-ре-жешь?
— Берегу. —
И кто-то в ивняке, оклад бороды
Поглаживая,
Над ширью воды,
На стадо сверкающее взирая,
Сказал:

— Насчет колхоза туды-сюды,
Но Фильке Иваншину
Не доверяю,
Сукину сыну...

А Филька шел,
Улыбку в хвою бородки спрятав,
В уме прикидывая: «Хорошо,
Коровий генерал-губернатор:
Ишь, доверяют, стало быть...
Шутка ли? Всё колхозное стадо —
Думал, что ни за что, стало быть,
Так сказать, мужикам не забыть
Прения мои и доклады...
А вдруг припомнят, ну-ка...»
И сразу
Вычертил след змеиный бичом
Вслед бугаю: — Пошел, лупоглазый,
Опаздываю,
А ему нипочем.

. . . .

А по станице шумели: — Идет,
Гонят. — Кого?
— Обчественный скот.
Вся станица встала кру́гом,
И, еще тихи и робки,
Доярки переглядывались с испугом,
Туже завязывая платки,

Слыша, как гул идет со степи:
— Справимся ль? Господи, пособи!
Управимся ли... —
И тогда

Старшая сказала:
— Чего там! Айда!

И, приподняв усмешкою
Губ края,
Рукав засучивая сурово,
Хитро́ мигнула на бугая:
— Весь в хозяина, весь в Яркова.

А окладистобородый
Тут же при всех
Подошел к Иваншину: — А ну-ка,
Был за тобою грех?
— Был грех.
— Высказывался за тех?
— За тех.
— Наука это тебе?
— Наука.
— Свое? — на скотину косясь.
— Свое.
— С уважением пасешь?
— Пасу с уваженьем.
— Предпочтеньем дорожишь?
— Дорожу предпочтеньем.
— Бережешь ее?
— Берегу ее.

1933—1934

156. АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ГЛАВЫ

1

Широк и красен галочий закат.
Вчера был дождь. В окоченевших кадках,
Томясь, ночует черная вода,
По водосточным трубам ночь подряд
Рыдания теснились. Ветром сладким
До горечи пропахла лебеда.

О, кудри царские по палисадам,
Как перенесть я расставанье смог?
Вновь голубей под крышей воркованье...
Вот родина! Она почти что рядом.
Остановлюсь. Перешагну порог.
И побоюсь произнести признанье.

Так вот где начиналась жизнь моя!
Здесь канареечные половицы
Поют легонько, рыщет свет лампад,
В углах подвешен. Книга «Жития
Святых», псалмы. И пологи из ситца.
Так вот где жил я двадцать лет назад!

Вот так, лишь только выйдешь на крыльцо,
Спокойный ветер хлынет от завозен, —
Тяжелый запах сбруи и пшениц...

О, весен шум и осени винцо!
Был здесь январь, как горностай, морозен,
А лето жарче и красней лисиц.

В загоне кони, ржущие из мглы...
Так вот она, мальчишества берлога —
Вот колыбель сумятицы моей!
Здесь, может, даже удочки целы.
Пойти сыскать, подправить их немного
И на обрыв опять ловить язей.

Зачем мне нужно возвращать назад
Менял ладони, пестрые базары,
Иль впрямь я ждал с томленьем каждый год:
Когда же мимо юбки прошумят
Великомученицы Варвары
И солнце именинное взойдет?..

Ведя под ручку шумных жен своих,
Сходились молчаливые соседи,
И солнце смех раздаривало свой,
Остановясь на рожах их тупых,
На сапогах, на самоварной меди...
Неужто это правило душой?

А именины шли своим путем,
Царевной-нельмой, рюмками вишневки.
Тряслись на пестрых дугах бубенцы,
Чуть вздрагивал набухшим чревом дом,
И кажется теперь мне: по дешевке
Скупили нас тогда за леденцы.

В загонах кони, ржущие из мглы...
А на полтинах решки и орлы,
На бабьих пальцах кольца золотые,
И косы именинницы белы.
И славил я порукой кабалы
Варвары Федоровны волосы седые!

2

Не матери родят нас — дом родит.
Трещит в крестцах, и горестно рожденье
В печном дыму и лепете огня.
Дом в ноздри дышит нам, не торопясь растит,
И вслед ему мы повторяем мненье
О мире, о значенье бытия.

Здесь первая пугливая звезда
Глядит в окно к нам, первый гром грохочет.
Дед учит нас припрятать про запас.
Дом пестует, спокойный, как всегда.
И если глух, то слушать слез не хочет,
Ласкает ветвью, розгой лупит нас.

И всё ж мы помним бисеры зимы,
Апрель в ручьях, ворон одежду вдовью,
И сеновалы, и собак цепных,
И улицы, где повстречались мы
С непонятою до сих пор любовью, —
Как ни крути, не позабудем их!

Нас мучило, нас любопытство жгло.
Мы начинали бредить ставкой крупной,
Мы в каждую заглядывали щель.
А мир глядел в оконное стекло,
Насмешливый, огромный, недоступный,
И звал бежать за тридевять земель.

Но дом вручил на счастье нам аршин,
И, помышляя о причудах странствий,
Мы знали измеренья простоту,
Поверив в блеск колесных круглых шин,
И медленно знакомились с пространством,
От дома удаляясь на версту, —

Не более. Что вспоминаешь ты,
Сосед мой хмурый? Может быть, подвалы,
В которых жил отец твой за гроши
На городских окраинах, кресты

Кладбищ для бедных, и зловонье свалок,
И яркий пряник в праздник — для души?

Но пестовала жизнь твою, любя,
Другая, неизвестная мне сила.
И был чужим сосущий соки дом,
И вечером, поцеловав тебя,
Твоя сестра на улицу ходила,
Блестя слезой, от матери тайком.

И поздно ночью, возвратясь из мглы,
Полтинники, где решки и орлы,
Она с тобою, торопясь, считала.
И сутки были, как они, круглы.
Мир, затопляя темные углы,
Пел ненавистью крепкого накала.

8

Дышал легко станичный город наш,
Лишь обожравшись — тяжко. Цвет акаций,
Березы в песнях, листьях и пыли,
И на базарах крики: «Сколько дашь?»
Листы сырых, запретных прокламаций
До нас тогда, товарищ, не дошли.

У нас народ всё метил загрести
Жар денежный и в сторону податься.
Карабкались за счастьем, как могли, —
Не продохнуть от свадеб и крестин.
Да, гневные страницы прокламаций
До нас тогда, товарищ, не дошли.

Да если б даже! — и дошла одна,
Всяк, повстречав, изматерился б сочно
И к приставу немедленно отнес.
Был хлеб у нас, хватало и вина,
Стояла церковь прочно, рядом прочно —
Цена на хлеб, на ситец, на овес.

И до сих пор стоят еще, крепки,
Лабазы: Ганин, Осипов, Потанин,
И прочие фамилии купцов...
Шрапнельными стаканами горшки
Заменены. В них расцвели герани —
Вот что осталось от былых боев,

Сюда пришедших. Двадцать лет назад
Здесь подбородки доблестно жирели,
Купецкие в степях паслись стада,
Копился в пище сладковатый яд.
В шкатулках тлели кольца, ожерелья
Из жемчугов. И серьги в два ряда.

Не потому ли, выгибая клюв,
Здесь Анненков собрал большую стаю —
Старшой меньших! Но вывелась семья,
И, черные знамена развернув,
Он отлетал, крепя крыло, к Китаю,
И степью тек, тачанками гремя.

И мало насчитаешь здесь имен,
Отдавших жизнь за ветры революций,
Любимых, прославляемых теперь.
Хребты ломая, колокольный звон
Людей глушил. Но все-таки найдутся
Один иль два из приоткрывших дверь

В далекое. И даже страшно мне:
Да, этот мир настоян на огне,
И погреба его еще не раз взорвутся,
Еще не раз деревья расцветут,
И, торопясь, с винтовками пройдут
В сквозную даль солдаты революций.

4

Был город занят красными, они
Расположились в Павлодаре. Двое
Из них...

1934

157. ЖЕНИХИ

Вот, что случается порою.
А. Пушкин

Сам колдун
Сидел на крепкой плахе
В красной сатинетовой рубахе —
Черный,
Без креста,
И не спеша,
Чтобы как-нибудь опохмелиться,
Пробовал в раздумье не водицу —
Водку
Из неполного ковша.

И пестрела на столе закуска:
Сизый жир гусиного огузка,
Рыбные консервы,
Иваси,
Маргарин и яйца всмятку — в общем,
Разное,
На что отнюдь не ропщем,
Всё, что продается на Руси!

А кругом шесты с травой стояли,
Сытый кот сиял на одеяле,
Отходил —
Пушистый весь —
Ко сну,

Жабьи лапы сохли на шпагате,
Но колдун
Не думал о полатях —
Что-то скучно было колдуну.

Был он мудр, учен,
Хотишь — изволь-ка, —
Ки́лы
Он присаживал настолько,
Что в Калуге снять их не могли.
Знал наперечет,
Читал любого:
Бедного,
Некрасова,
Толстого —
Словом, всех писателей земли.

Пожилой, но в возрасте нестаром,
Все-таки не зря совсем,
Недаром
По округе был он знаменит —
Жил, на прочих глядя исподлобья,
И творил великие снадобья
Весна́ми,
Когда вода звенит.

Кроме чародейского обличья,
От соседей мужиков в отличье
Он имел
Довольно скромный дар:
Воду из колодца брать горстями,
В безкозыря резаться с чертями,
Обращать любую бабу в пар.

И теперь,
На крепкой плахе сидя,
То ль в раздумье,
То ль в какой обиде,
Щуря глаз тяжелый,
Наперед
Знал иль нет,
Кто за версту обходом

По садам зеленым, огородам
Легкою стопой к нему идет?

Стукнула калитка,
Дверь открыта,
По двору мелькнула — шито-крыто,
Половицы пробирает дрожь:
Входит в избу Настя Стегунова,
Полымем
Горят на ней обновы...
— Здравствуй, дядя Костя,
Как живешь?

И стоит —
Высокая, рябая,
Кофта на ней дышит голубая,
Кружевной платок
Зажат в руке.
Шаль с двойной турецкою каймою,
Газовый порхун — он сам собою,
Туфли на французском каблуке.

Плоть свою могучую одела,
Как могла...
— А я к тебе по делу.
Уж давно душа моя горит,
Не пришла,
Когда б не этот случай,
Свет давно мне, девушке, наскучил, —
Колдуну Настасья говорит.

— Вся деревня
В зелени, в июле,
Избы наши в вишне потонули,
Свищут вечерами соловьи,
Голосисты жаворонки в поле,
Колосиста рожь...
Не оттого ли
Жарче слезы девичьи мои?

Уж как выйдут
Вечером туманы,

Запоют заветные баяны
На зелёных выгонах.
И тут
Парни — бригадиры, трактористы —
Танцевать тустеп и польку чисто
Всех моих подружек разберут.

Только я одна стоять останусь,
Ни худым,
Ни милым не достанусь —
Надломили яблоню в саду!
Кто полюбит горькую, рябую?
Сорву с себя кофту голубую,
Сниму серьги, косу разведу.

Сон нейдет,
Не спится мне в постели,
Всё хочу, чтоб соловьи не пели,
Чтобы резеда не расцвела...
Восемь суток
Плакала, не ела,
От бессонья вовсе почернела,
Крепкий уксус с водкою пила.
Я давно разгневалась на бога.
Я ему поверила немного,
Я ему —
Покаялась, сычу!
И к тебе пришла сюда
Не в гости —
С низкой моей просьбой:
Дядя Костя,
Приворот-травы теперь хочу.

...Служит колдуну его наука,
Говорит он громко Насте:
— Ну-ка,
Дай мне блюдце белое сюда. —
Дунул-плюнул,
Налил в блюдце воду, —

Будто летом в тихую погоду
Закачалась круглая вода.

— Что ты видишь, Настя?
— Даль какая!
Паруса летят по ней, мелькая,
Камыши
Куда ни кинешь взгляд...
— Что ты видишь?
— Вижу воду снова.
— Что ты видишь, Настя Стегунова?
— Вижу, гуси-лебеди летят!

Служит колдуну его наука.
Говорит он тихо Насте:
— Ну-ка,
Не мешай,
Не балуй,
Отойди.
Всё содею, что ты захотела.
А пока что сделано полдела,
Дело будет,
Девка,
Впереди.

Всё содею —
Нужно только взяться. —
Тут загоготал он:
— Гуси-братцы,
Вам привет от утки и сыча! —
...Поднимались
Колдовские силы,
Пролетали гуси белокрылы,
Отвечали гуси гогоча!

— Загляни-ка, Настя Стегунова,
Что ты видишь?
— Вижу воду снова,
А по ней

Плывет
Двенадцать роз.

— Кончено! —
Сказал колдун. — Довольно,
Натрудил глаза над блюдцем — больно.
Надо
Поступать тебе
В колхоз.

Триста дней работай без отказу,
Триста —
Не отлынивай ни разу,
Не жалея крепких рук своих.
Как сказал —
Всё сбудется, не бойся.
Ни о чем теперь не беспокойся.
Будет тебе к осени жених!

Красноярское —
Село большое,
Что ты всё глядишься в волны, стоя
Над рекой, на самой крутизне?
Ночи пролетают — синедуги,
Листья осыпаются в испуге,
Рыбы
Шевелят крылом во сне.

Тучи раздвигая и шатаясь,
Красным сарафаном прикрываясь,
Проступает бабий лик луны —
Август, август!
Тихо сквозь ненастье
В ясном небе вызвездило счастье...
Чтой-то стали ночи холодны.

Зимы ль снятся лету?
Иль старинный
Грустный зов полночный журавлиный?
Или кто кого недолюбил?
Август, август!

Налюбиться не дал
Тем, кто в холоду твоем изведал
Лунный, бабий, окаянный пыл.

Горячи, не тягостны работы,
У Настасьи полный рот заботы,
Все колосья кланяются ей,
Все ее исполнятся желанья,
Триста дней проходят, как сказанье,
Мимо пролетают триста дней!

Низко пролетают над полями...
Каждый день
Задел ее крылами.
Под великий, звонкий их припев,
Гордая,
Спокойная,
Над миром,
Первым по колхозу бригадиром
Стала вдруг она, похорошев.

Август, август!
Стегуновой Насте
В ясном небе вызвездило счастье,
Мимо пролетело
Триста дней.
В урожай,
Несметный, небывалый, —
Знак Почета, золотой и алый,
Орден на груди горит у ней.

И везут на двор к ней изобилье:
Ревом окруженные и пылью,
Шесть волов, к земле рога склонив,
Всякой снеди груды,
Желто-пегих
Телок двух ведут возле телеги,
Красной лентой шеи перевив.
Самой лучшей — лучшая награда!
А обед готовится как надо,
Рыжим пламенем лопочет печь...

...Съев пельменей двести,
Отобедав,
Ко всему колхозу напоследок
Председатель обращает речь:

— Честь и слава Насте Стегуновой!
Честь и слава
Нашей жизни новой!
Нам понять, товарищи, пора:
Только так —
И только так! —
Спокойно
Можем мы сказать — она достойна,
Лучшему ударнику — ура!

— Правильно сказал! Ура, директор!
. . . .
Много шире Невского проспекта
Улица заглавная у нас,
Городских прекрасней песни, тоньше,
Голоса девические звоньше,
Ярче звезды в сорок восемь раз!

Всё, что было,
Вдоль по речке сплыло,
Помнила,
Жалела,
Да забыла,
Догорели черные грехи!
Пали, пали на поле туманы —
Развернув заветные баяны,
Собирались к Насте женихи!

Вот они идут, и на ухабах
Видно хорошо их —
Кепки набок,
Руки молодые на ладах.
Крепкой силой, молодостью схожи.
Август им подсвистывает тоже
Птицами-синицами в садах.

А колдун, покаясь всенародно,
Сам вступил в колхоз...

Теперь свободно
И весьма зажиточно живет.
Счет ведет в правленье, это тоже
С чернокнижьем
Очень, в общем, схоже,
Сбрил усы и отрастил живот.

И когда его ребята дразнят,
Он плюет на это безобразье.
Настя ж всюду за него горой,
Будто нет у ней другой кручины...
И какие к этому причины?

Вот что приключается порой!

⟨*1935*⟩

158. ПРИНЦ ФОМА

ГЛАВА 1

Он появился в темных селах,
В тылу у армий, в невеселых
Полях, средь хмурых мужиков.
Его никто не знал сначала,
Но под конец был с ним без мала
Косяк в полтысячу клинков.

Народ шептался, колобродил...
В опор, подушки вместо седел,
По кованым полам зимы,
Коней меняя, в лентах, в гике,
С зеленым знаменем на пике,
Скакало воинство Фомы.

А сам батько в кибитке прочной,
О бок денщик, в ногах нарочный
Скрипят в тенетах портупей.
Он в башлыке кавказском белом,
К ремню пристегнут парабеллум,
В подкладке восемьсот рублей.

Мужик разверсткой недоволен...
С гремучих шапок колоколен
Летели галки. Был мороз.

Хоть воевать им нет охоты,
Всё ж из Подолья шли в пехоту,
Из Пущи — в конницу, в обоз.

В Форштад летьмя летели вести,
Что-де Фома с отрядом вместе
В районе Н-ска сдался в плен,
Что спасся он, — и это чудо, —
Что пойман вновь, убит, покуда
Не объявился он у стен
Форштада сам...

И город старый
Глядит с испугом, как поджарый
Под полководцем пляшет конь.
Грозят его знамена, рея,
И из отбитой батареи
Фома велит открыть огонь.

С ним рядом два киргизских хана,
Вокруг него — его охрана
В нашитых дырах черепов.
Его подручный пустомелет,
И, матерясь, овчину делят
Пять полковых его попов.

Форштад был взят. Но, к сожаленью,
Фомы короткое правленье
Для нас осталося темно —
Как сборы он средь граждан делал
И сколько им ночных расстрелов
В то время произведено?

И был ли труд ему по силам?
Но если верить старожилам
(Не все ж сошли они с ума),
Признать должны мы, что без спору
Ходили деньги в эту пору
С могучей подписью: Хома.

Так шел Фома, громя и грабя...
А между тем в французском штабе
О нем наслышались, и вот
Приказом спешным, специальным
По линии, в вагоне спальном,
Жанен к нему посольство шлет,
И по дороге капитану
Всё объясняет без обману
Осведомитель: «Нелюдим,
Плечист и рыж. С коня не слазит.
Зовет себя мужицким князем:
И всё ж — губерния под ним».

А конквистадор поднял шторы,
Глядит в окно — мелькают горы,
За кряжем кряж, за рядом ряд,
Спит край морозный, непроезжий,
И звезды крупные, медвежьи
Угрюмым пламенем горят.
Блестят снега, блестят уныло.
Ужели здесь найдут могилу
Веселой Франции сыны?..

Рассвет встает, туманом кроясь,
На тормозах подходит поезд,
Дымясь, к поселку Три Сосны.
Оркестр играет марсельезу,
Из двадцати пяти обрезов
Дан дружественный вверх салют.
Стоят две роты бородатых,
В тулупах, в валенках косматых...
Посланцы вдоль рядов идут.
И вызывают удивленье
Их золотые украшенья,
Их краги, стеки и погон,
И, осмелев, через ухабы
Бегут досужливые бабы
Штабной осматривать вагон.
Стоят кругом с нестройным гулом
И с иноземным караулом

Заводят торги: «Чаю нет?»
А в это время в школе местной
«Мужицкий» князь, Фома известный,
Дает в честь миссии обед.

Телячьи головы на блюде,
Лепешки в масляной полуде —
Со вкусом убраны столы!
В загоне, шевеля губою,
Готовы к новому убою,
Стоят на привязи волы.
Пирог в сажень длиной, пахучий,
Завязли в тесте морды щучьи,
Плывет на скатерти икра.
Гармонь на перевязи красной
Играет «Светит месяц ясный»
И вальс «Фантазия» с утра.
Кругом — налево и направо —
Чины командного состава,
И, засучивши рукава,
Штыком ширяя в грудах снеди,
Голубоглаз, с лицом из меди,
Сидит правительства глава.

И с ужасом взирают гости,
Как он, губу задрав, из кости
Обильный сладкий мозг сосет.
Он мясо цельными кусками
Берет умытыми руками
И отправляет сразу в рот,
Пьет самогон из чашки чайной...

Посол Жанена чрезвычайный,
Стряхнув с усов седую пыль,
Польщен, накормлен ради встречи.
На галльском доблестном наречье
Так произносит тост де Вилль:
— Prince! [1] Скрыть не в силах восхищенья,
Вас за прием и угощенье

[1] Prince (франц.) — князь. — *Ред.*

Благодарить желаю я.
Россия может спать спокойно.
Ее сыны — ее достойны.
C'est un[1] обед — Гаргантюа...

С народом вашим славным в мире
Решили мы создать в Сибири
Против анархии оплот,
И в знак старинной нашей дружбы
Семь тысяч ящиков оружья
Вам Франция в подарок шлет.
Три дня назад Самара взята.
Marchez![2] В сраженье, демократы,
Зовет история сама.
Я пью бокал за верность флагу,
За вашу храбрость и отвагу,
Же ву салю,[3] мосье Фома!

ГЛАВА 3

Страна обширна и сурова...
Где шла дивизия Грязнова?
Дни битв ушедших далеки.
Бинтуя раны на привале,
Какие песни запевали
Тогда латышские полки?

Тысячелетья горы сдвинут,
Моря нахлынут и отхлынут,
Но сохранят народы их
В сердцах,
Над всем, что есть на свете,
Как знамя над Кремлем и ветер,
Как сабли маршалов своих!

Местами вид тайги печален —
Сожженный, набок лес повален, —

---

[1] C'est un (франц.) — это. — *Ред.*
[2] Marchez! (франц.) — Вперед! — *Ред.*
[3] Же ву салю (франц.) — Я вас приветствую. — *Ред.*

Здесь падал некогда снаряд,
Средь пней крутых, золотолобых
В глухих запрятаны чащобах
Следы утихших канонад...
Лишь ветер помнит о забытых,
Да на костях полков разбитых
Огнем пылает псиный цвет,
Бушуют травы на могиле...
Снега непрочны. Весны смыли

Фомы широкий, тяжкий след.
Он всё изведал: бренность славы,
Ночные обыски, облавы
И мнимость нескольких удач...
По-бабьи, в плач шрапнель орала,
До Грязных Кочек от Урала
Бежало войско принца вскачь.
Попы спились, поют в печали,
Степные кони одичали,
Киргизы в степи утекли.
И Кочки Грязные — последний
Приют — огонь скупой и бледный
Туманной цепью жгут вдали.
Владеют красные Форштадом...

Конь адъютанта пляшет рядом,
И потемнелый, хмурый весь,
Фома, насупив бровь упрямо,
Велит войскам:
— Идите прямо,
А я здесь на ночь остаюсь,
В селенье, по причинам разным. —
Он стал спускаться к Кочкам Грязным
Витой тропинкой потайной —
И на минуту над осокой
Возник, сутулый и высокий,
Деревню заслонив спиной.

Окно и занавес из ситца.
Привстав на стремени, стучится
Фома:
— Алена, отвори!

— Фома, сердешный мой, болезный. —
Слетает спешно крюк железный,
Угрюмо принц стоит в двери,
В косматой бурке, на пороге:

— Едва ушел. Устал с дороги,
Раскрой постель. Согрей мне щей.

Подруга глаз с него не сводит.
Он, пригибаясь, в избу входит,
На зыбку смотрит: — Это чей? —
И вплоть до полночи супруги
Шумят и судят друг о друге,
Решают важные дела,
В сердцах молчат и дуют в блюдца.
И слышно, как полы трясутся
И шпор гудят колокола.

Не от штыка и не от сабли
Рук тяжких кистени ослабли,
Померкла слава в этот раз.
Фома разут, раздет, развенчан, —
Вот почему лукавых женщин
Коварный шепот губит нас.

На Грязных Кочках свету мало.
Выпь, нос уткнувши, задремала,
Рассвет давно настал — всё тьма.
Щи салом затянуло, водка
Стоит недопитая...

. . . .

Вот как
Исчез мятежный принц Фома.

1935—1936
Рязань

159. ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПОЭМА

(Главы)

1. КАВБРИГАДА ПЕРЕД АТАКОЙ

Светало, нервничали кони,
Косясь, кусая удила
И, как на холоду ладони,
Заря чуть розова была.
Кой-кто запомнил: оробелый,
В дымках недвижимый лесок.
И командира кудерь белый,
От инея седой висок.
И, мерзлые поводья тронув,
Бесстрашно напрягая слух,
Как будто ждали эскадроны,
Что рядом запоет петух.
Ударило. Коней равняли.
Еще неясно было тут,
Что эти звезды над бровями,
Блистая острыми краями,
Над битвой высоко взойдут.
Ударило. Затихло. Вскоре
У горизонта раздалось.
Ударило — за сине море
От родины куда-то вкось.
В протяжных, яростных полетах
Мир колыхнулся, замелькал.
Есть среди пушек толсторотых
Певцы, достойные похвал!

В рядах сказали: «Наши!» Где-то
Просвистнула и стихла плеть.
Дал горизонт два-три ответа
И замолчал, и начал петь.
И небо в громе и обвалах
Тряслось, сужая полукруг.
И было что-то в интервалах
Спокойное, как смерти вдруг.

Но издалече, издалёка
Означилось сквозь мертвый гром,
Грустя и воздух вбрав глубоко,
Пошло «ура-а», крестясь штыком.
Нахлынувшее, человечье,
Отчаянное!.. Как гора,
Оно ползло врагу на плечи
И перекатывалось — «ура».
И вспомнили: оно недаром —
Пятнадцатый стрелковый полк,
Бинтуя раны комиссару,
С багровым знаменем пошел.
Махнула смертная прохлада
Стремян повыше, ниже грив.
Стояла ровно кавбригада,
Глаза клинками заслонив.
Но было трудно заслониться
От грохота того, и вот
Вдали, как пойманный убийца,
Затараторил пулемет.
Как ни считал, всё было мало,
Сбивался с счета — и опять,
Вдруг сбившись, начинал сначала
И вновь не мог пересчитать.
И страшно было ждать. И хрипло
В рядах сказали тихо: «Что ж,
Ждать, чтоб дивизия погибла?»
Но командир, смиряя дрожь
Коня, который, зубы скаля,
Покачивался, — ждал и ждал...
И вдруг, не сдерживаясь, дали
Ракетный подали сигнал.
Тогда он саблю вздел с разлета —

Спокойный, а лицо как мел.
И в первом эскадроне кто-то
Не выдержал. Стремясь, запел:
«Вихри враждебные веют над нами!..»

1934

2. ПЕРВОМАЙСКИЙ ПАРАД

Над городом сумрак,
На мостовой
Расставлены танков железные тучи.
И ходит неясный туман над рекой
По самой волне,
По московской, шатучей,
По самой волне...
Небогатый разлив, —
Река небольшая покуда, без спору, —
Но Волга придет к ней на выручку скоро,
Огромные воды свои докатив.
Я праздник такой представляю себе —
Салютовать будут орудья, знамена
Подымем,
И в криках «ура» и пальбе
Встречать ее,
Гостью,
Пойдут миллионы.
И выше ее рокотливых красот
Иных не найдем мы
На целом на свете.
Она нам прохладу свою принесет,
Сказанье о Разине, песню и ветер.

. . . .

Штыки замерцали и слева
И справа,
Пошла артиллерия...
Ветер хлестнул —
Над площадью Красной,
Над сердцем державы,
Раскатами доблести,

Приступом славы
Копился военный, торжественный гул.

Многоголовым, разросшимся садом
Трибуны шумят...
Будто гости на пир,
Идут батальоны.
И слышно, как рядом
На площади этой
Присутствует мир.

Во славу побед
И всемирных восстаний,
Во славу спокойствия нашей земли!
Широкими вихрями рукоплесканий
Покрыты трибуны:
Матросы прошли.

Во славу всемирной победы! Смелее!
Открыты
Морские просторы душе!
Над взмывшей, лучистой
Скалой Мавзолея
Блеснул и погас
Позумент атташе.
— Ишь, смотрят...
— Ну, лошади!
...Кони с опаской
Вдоль фронта ходили.

— А это кто?
— Корк.
За золотою стрелою на Спасской
Следили.
Теснился, стихал разговор.

— Встречают!
— Встречают!

Преграды крушило
Сторожкое сердце. В лучах тишины
Вся площадь, —

И грянуло *Клим Ворошилов!*
Железный нарком,
Полководец страны!

Гуляй, мое сердце, по этим разливам
Просторных приветствий.
Вот он, как во сне,
На тонконогом и тонкогривом,
На рыжем
Пленительном скакуне.

Так вот он,
Так вот она, доблесть живая, —
И брови,
И сабельный светлый висок...
Ударило солнце, туман разрывая,
По фронту.
И он поскакал на восток.
. . . .

Когда присягают солдаты Советов,
Великая в мире стоит тишина.
Кому-то она
Неприятна, страшна,
Но мы говорим не в тиши кабинетов —
На Красной на площади, тесные сдвинув
Ряды.
. . . .

В Женеве на съездах
Товарищ Литвинов
Словами присяги пускай говорит!
. . . .

...Объявлен торжественный марш.
И во-первых,
В руках загорелых,
Крутых,
Молодых,
В руках, как присяга,
Спокойных и верных,
Зажаты тела пулеметов ручных.
Мы их приручили для случая, если
Считать бы, положим,

Врагов нам пришлось,
Чтоб праздновать нам не мешали,
Петь песни,
Чтоб легче, зажиточнее жилось!
И вслед им
На серых,
На рыжих,
На карих,
Играя залетных клинков серебром,
Советская конница!
Сразу ударил
Тачанок весенний буденновский гром.
Проносятся лучшие всадники мира,
Развернут штандарт — впереди командиры,
И, бешеной пеной покрыв удила,
Сверкают под ними любимые кони,
И золото звезд на багровой попоне
В безумье горит, не сгорая дотла!
Порадуйтесь, кони!
Дороги раскрыты!
Да здравствуют легкие ваши копыта,
Куда бы, куда бы они ни легли,
Вы будете трижды, как те, знамениты,
Что шашкой порубаны,
Пулей пробиты,
Летели легендой
К Варшаве,
В пыли!

Но мы,
Сохранившие пыл революций,
Его заковали в тугую броню,
Там, где наши судьбы
С чужими сойдутся,
Доверим атаку не только коню.
И, как подтвержденье,
Одетые в рокот,
Танков-амфибий колонны —
Сверх мер.
Глаза уставали следить за потоком
Блистающей стали, летящей в карьер.
Сторонится Кремль, уступая дорогу

Несметному маршу машин,
А вдали,
Наверно, за тысячу верст от земли,
Шел гул,
Затихал,
Нарастал, как тревога.
И вдруг косяками,
Не торопясь,
Орлиная непобедимая стая,
Крылами всё небо закрыв, нарастая,
Возникла.
Пошли бомбовозы...

Май 1936

8. ДВЕ ПЕСНИ

Конниц сабельная лава,
Шлемов красная звезда...
Ворошиловская слава
Начиналася тогда.

Не затихнет, не смирится
Ветерок матросских лент.
Он стоял, в дыму, Царицын,
Как легенда из легенд.

Наших били. Мы сквитаем!
Проклиная красный флаг,
На баржах, часы считая,
Офицеры пели так:

«Нам кресты не защита,
Мы погибнем во мгле,
Наши братья побиты,
С жизнью, стало быть, квиты, —
Сам полковник в земле.

Седоусый, остылый...
С нами бог! С нами бог!

Он в сырую могилу
Вниз усами полег.

Он, в боях знаменитый,
Был легок на седле!
Нам кресты не защита,
Мы погибнем во мгле».

Не затихнет, не смирится
Ветерок матросских лент.
Он стоял, в дыму, Царицын,
Как легенда из легенд.

И в распахнутые дали
Шли матросы над пургой.
Им любимые кричали:
«Целься лучше, дорогой!»

Собирались в путь-дорогу,
Покидали отчий кров,
Матери, тая тревогу,
Провожали сыновьев:

«До свиданья, милые,
На войне не милуйте,
Завоюйте долю, завоюйте мир...
Мы тебе вдогонку
Машем шалью тонкой,
Ворошилов, красный командир!

Сыновьев вручаем —
В них души не чаем...
Поднимись на стремени,
Саблю вынь, звеня.

Мы благословляем,
Мы благословляем
Легкие копыта
Твоего коня!..»

Май 1936

160. ХРИСТОЛЮБОВСКИЕ СИТЦЫ

Поэма в трех частях

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1

Четверорогие, как вымя,
Торчком,
С глазами кровяными,
По-псиному разинув рты, —
В горячечном, в горчичном дыме
Стояли поздние цветы.
И горло глиняное птахи
Свистало в тальниковой мгле,
И веретёна реп в земле
Лежали, позабыв о пряхе —
О той красавице рябой,
Тяжелогрудой и курносой,
В широкой кофте голубой,
О Марье той желтоволосой.

От свежака пенноголова,
Вода шаталась не спеша,
Густого цвета золотого,
И даже в пригоршне ковша
Она еще была медова...

Она еще была, как ты,
Любимая!
Забыто имя —
Не оттого ль в горчичном дыме,
По-псиному разинув рты,
Торчком,
С глазами кровяными
Восстали поздние цветы!
Спят улицы.
Трава примята.
Не Христолюбова ль Игната
Нам нужно вспомнить в этот раз,
Как жил он среди нас когда-то
И чем отличен был от нас?

Тычинский поднимает руку:
— Да, вспомнить нам его пора,
Он затевал игру-разлуку
У позднышевского двора.
Рыбак, в рассветную погоду
Он вместе с нами в тине вяз,
Он с нами лазал в эти годы
Зорить чужие огороды —
Не отличался он от нас. —
И Коробов в ответ:
— Он лазал
По огородам с нами. Но
Известны здесь как богомазы
Все Христолюбовы давно.
Был дед его кровей суровых,
Держал его в руках ежовых
И в темной горнице своей
Учил писать
Золотобровых,
Сурмленых божьих матерей.
Хоть было мало в этом проку,
Но отдышаться дал им нэп,
И шли поблажки,
И, жестоко
Влюблен в Исусов желтооких,
Дед всё сильней в упорстве креп.
Окреп в своем упорстве яром

И малевал святых церквам
И обновленческим,
И старым,
И староверческим скитам.
Но слухи шли, что Христолюбов
(Хоть и почтенна седина)
Охоч до смятых бабьих юбок
И до казенного вина.
Что коль не ладится работа,
То матерится в бога он
Так, что сурьма и позолота
Хрустят
И сыплются с икон.

А внук давно привык к скуластым,
Угрюмым ликам расписным,
Его теперь тянуло к яствам,
Лежавшим грудой перед ним:
К черемухам, к багровым тучам,
К плотам, идущим не спеша,
И к щукам, и к язям пахучим,
К кистям турецким камыша,
К платкам-огневкам, к юбкам драным,
К ветрам душистым в зеленях,
К золотопятым и румяным
Соседкам, пьющим чай в сенях.
Сколь ни работал по указке,
Сколь дрожь ни чувствовал в руке,
Вставали радугою краски
На горьком дереве ольхе,
Весенним цветом,
Цветом пылким...
И замечать стал дед — вот-вот
По божьим скулам вдруг ухмылка
Лучом лукавым проскользнет.
В очах апостольских — туманы,
И у святых пречистых дев
Могучи груди,
Ноздри пьяны
И даже губы нараспев!

ГЛАВА 9

Зачем к нам ехал в захолустье
Гостить и жить художник Фогг?
Или в других местах искусства
Он применить, чудак, не смог?
Или, глаза сквозь стекла пуча
И вслушиваясь в тишину,
Хотел он здесь ясней и лучше
Постичь российскую страну?
Нет! На холстах больших и малых
Он рисовал одно и то ж:
Пруды, березы, лен и рожь —
Любой казацкий полушалок
Смелей и лучше в душу вхож.
Его встречали по-простецки:
— Что, пишешь, мол, — айда, вали! —
Ради фамилии немецкой
Оладьев жарких напекли
Да шанег с ягодой...
— Ешь, малый,
Как водится, до ста осьми,
У нас ведь тоже есть бывалый
Народ ремесленный, — пожалуй,
Хоть Христолюбовых возьми.
Когда же, мастер красногубый,
Сквозь вьюг отчаянный гудеж
По невозделанной и грубой
Земле ты к нам гостить придешь,
Фогг?

Он, душою неимущий,
Не мог добыть на смысл права.
Он шел, чуть горбясь, в самой гуще,
В огне,
В тумане естества.
Он шел, все травы приминая,
Даль сторонилась от него.
Он шел, старик, не понимая
В кипенье судеб ничего.
Не понимая, что качели
Свершают корабельный путь,

Что парни под небом сумели
Раздумье шапкой зачерпнуть,
Что розан трепетный и алый
На коромысле — тоже гнут.

И Фогг кричит: — Послушай, малый,
Где Христолюбовы живут?
— Вишь, голубь падает с разлета
У Иртыша, где берег крут,
Стоят высокие ворота,
Там Христолюбовы живут! —
В медовых язвах от испарин
Торчат цветы, разинув пасть.
И Фогг кричит: — Послушай, парень,
Как к Христолюбовым попасть?
— Стучи в калитку дольше тростью,
В закрытый ставень вырезной,
Пока от лая и от злости
Не взмылит морды пес цепной.

Сияет живопись нагая,
Ущербный свет сердец благих,
Святые смотрят не мигая,
Как люди крестятся на них.
Фогг долго щурится на доски:
— Да, очень мило, — говорит. —
Но у Исусов лица плоски,
На их устах полынь горит. —
И Христолюбов пальцем строго
Ведет по кружеву стиха:
«Нет правды аще как от бога,
Ты бо един, кроме греха».
У самого же под навесом
Бровей густых, что лисий мех,
Кривясь, запечным мелким бесом
Рябой, глазастый пляшет грех.
И темным дождичком в ненастье —
Винцом обрызганы усы...

Там, за стеной,
Соседка Настя —
Браслеты дуты на запястье,

На голове венец косы,
Блестит веселый бисер пота
У губ, и кожи розов свет —
Ее томит,
Ей томно что-то,
Она в постелях, ей охота...
Да скоро ль возвратится дед?
— А это что?
— Средь змий и гадин
Егорий храбрый на коне,
А это внук работал...

Складень
Раскрыт! При восковом огне
Сверкай, сверкай, уструг ольховый!
Мы все живем, все видим сны,
Возникни, ангел крутобровый,
На диком зареве весны!

И старый Фогг дается диву:
Одета в радугу и нимб,
Краса несметная лениво
Скользит, колеблясь, перед ним —
Меж двух коровьих морд — святая,
До плеч широкий синий плат,
Глаза смешливы, бровь густая
И платье белое до пят.
И губы замкнуты... Но где-то
На соловьиных их краях
Таится долгий отблеск лета.
Сейчас святая скажет: «Ах!»
Сейчас она протянет руку,
И синий плат сорвут ветра...

Я вспомнил вдруг игру-разлуку
У позднышевского двора.
Мне б вновь лететь мечте вдогонки
Во всю мальчишескую прыть
Под светлым месяцем и тонких
Кричащих девушек ловить.
Не ты ль, Катюша, жаркотела,
Возникла вновь? Но для кого?

Не от дыханья ль твоего
Икона эта запотела,
О павлодарская жар-птица!

На табуретку Фогг садится:
— Да это Сурикова кисть! —
И дед, дабы не осрамиться,
Ему ответствует: — Кажись.

ГЛАВА 8

Светло в полночь на сеновале.
Звезда в продушине горит.
Велит, чтоб люди крепче спали,
Шумят цветы на сеновале...
— Ты будешь, слышишь, знаменит,
Тебе почет оказан будет,
Есть много у тебя дорог,
Со мной поедешь, выйдешь в люди, —

Так говорит художник Фогг.

— В соседстве с дедами седыми
Что ты узнал, что видел ты?
— В горячечном, горчичном дыме
Стоят пудовые цветы.
Всем место за столом по чину,
Молитва есть «Помилуй мя»,
Сусало, грабли, плуг, овчины —
Все эти вещи знаю я.
— Я повстречал тебя. Ты — чудо.
Но раз ты здесь возникнуть смог,
Советую, беги отсюда, —

Так говорит художник Фогг.

— Ты будешь мастером, Игнаша,
Тебе пойдет ученье впрок,
Искусство — вот дорога наша... —

Так важно повторяет Фогг.

Не так ли нас, приятель, тоже
От ненаглядной,
Злой земли
По пустырям, по бездорожью
Чужие руки увели?
Сквозь мир бродяг, сквозь сон бобылий,
Сквозь бабьи вывизги потерь...
Не так же ль нас с тобой хвалили?
Не то же ль нам с тобой сулили?
Мы разонравились теперь!

Светло в полнóчь на сеновале,
Смотри, Игнатий, не усни,
Не мни цветов на одеяле,
Привстань, в продушину взгляни —
Летать и прыгать не умея,
Горючие, вокруг луны
Светясь, как при царе Птолмее,
Светила расположены.
Туманов мерное сиянье —
Тучны вы, звездные поля!
И в середине мирозданья
Надежда господа — земля.

ГЛАВА 4

Глядят с завалинок соседи.
— Что ж? Стало быть, отъезд решен?
Отпробуй на прощанье снеди
И самоварной древней меди
Последний раз послушай звон.
Крестись и думай: «Надо, надо».
Нет матери, и мертв отец.
Ты сирота. И за оградой
Во все колокола отрады
Гудит прощальный бубенец.
И дед, тебя собрав в дорогу,
Строг и растерян у ворот,
Зовет Сизмундовичем Фогга,
Глаза платком расшитым трет.
Он отпустил тебя от прясел

Идти в неведомую мглу,
Но передать обязан прасол
Товар свой из полы — в полу.

И ты стоишь, искусства рекрут,
Распарен, мыт, одет, обут
Весь, как петушьи ку-ка-реку,
Ботинки хромовые жмут,
Крылатый чуб зачесан гладко,
Рубаха в красных вензелях,
Пиджак обужен, и в подкладку
Зашит заветный шум бумаг.

Последний поцелуй. — Поедем.
— Ах, господи! — Что ж, всё одно,
Сидят на лавочках соседи,
Ржет конь и трогает: — Но, но!
Но, но, товаришш! Понемножку! —
Фогг на возок упал с колен.

Ярковы взглянут ли в окошко?
Проснется ль Юлька Ходанен?
— Пошел! —
Дед топчется и машет
Платком. Скажи, издалека
Тебе не явственно ль, Игнаша,
Что у него горит рука?
В рогах репейника кровавых,
К окраинам, наискосок,
В полынях, в лебединых травах
Передвигается возок.
Но прежде чем, узду ослабив,
В скитанья отпустить, страна,
Простая родина, по-бабьи
Остерегает пестуна.
Союз примет, союз упорный,
Пригоден ли на что-нибудь?

Угрюмый кот, хромой и черный,
Перебегает трижды путь.
Не оттого ль на сердце грустно?
Вон девка за водой прошла...

Игнатий, глянь, хоть ведра пусты,
Ее походка тяжела.
В ее походке лень и тяжесть:
«Останься, о останься здесь.
Тебя такой же силой свяжет,
Ты будешь так же плотью цвесть.
Густа, бесстыдна и невинна
Девичья кровь,
В ней солнце есть,
В ней есть желанья именины —
Останься, о останься здесь!»
Так, прежде чем, узду ослабив,
В скитанья отпустить, страна,
Простая родина, по-бабьи
Остерегала пестуна.
А по небу просторным бéгом
Шел облаков кипучий вал.
Над лошадиным крупом пегим
Протяжно овод запевал.
Был зной. И жестяные кровли,
Накалены, воздеты ввысь,
Как губы треснули, и кровью,
Собачьей кровью запеклись.
И горло глиняное птахи
Свистало в тальниковой мгле,
И веретёна реп в земле
Лежали, позабыв о пряхе...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Я узнаю свой век,
Породу
Его высоких звездных дум,
Растет и крепнет год от году,
Идет,
Гудёт
Зеленый шум!
Когтями сжав полынь и дрему,
Гудят чугунные леса —
У первенцев

Наркомтяжпрома
Давно окрепли голоса.
Их нянчит мамка-индустрия...
А ты,
Чье прошлое сума,
Взглянув
На их стальные выи,
Не испужалась ли, кума?
Кума!
Решают сельсоветы
Судьбу, сердечные дела.
Из кос
Для быстрой эстафеты
Ты ленты синие дала.
Известны нам
Твой смех и сила,
Твои сердечные дела —
Худому мужу изменила,
Сама в ударницы пошла!
Не оттого ли каруселью
В сиянье глаз,
В раскатах,
Влёт
На виноградниках веселья
Работа круглый год идет?..

«К нам черт грядет железнохвостый,
Сей смрад
Не минет никого,
Пойдут желтуха и короста
От пряжи мерзостной его.
Моль на душе плешину вытрет,
Натешит дьявола сверх мер...»
Так провещал
Апостол Митрий,
Кержак, алтайский старовер.

Но у паромных перевозов,
Под дальней пристанью Угой,
В триковой паре,
Пьян и розов,
Апологет кричал другой:

«Средь масс
Сомнений больше нету,
Теперь, впервой за десять лет,
Мы будем, граждане, одеты, —
А говорят, что бога нет!»

И, слишком плавный от досуга,
Целуя воздух горячо,
Куражился,
Ходил по кругу
Казацкий выговор на «чо»:
— Чо? Надот!
— Слышал, чо ли, паря?
— За правду, чо ли?
— Кто ё знат!
— Мануфактурный в Павлодаре
Пускают нынче комбинат...

. . . .

Согнувшись под стальным копытом,
Нежданный получив удар,
На ящерицу
С перебитым
Хребтом
Похож был Павлодар.
Обшит асфальтной парусиной,
Гугнив
И от известки бел,
Еще он лаял мордой псиной
И кошкой на столбах шипел.
Шипел,
Зрачки рябые сузив,
В подушки пряча когти,
Но
Дорог железных
Громкий узел
Ему уже стянул давно
Кадык
И перешиб суставы,
Усы спалил,
И, на беду,
Сверхсрочно шли и шли составы,

Почавкивая на ходу.
И грузчикам досталось хло́пот,
Когда, по-козьи бородат,
В вагонах прибыл первый хлопок...

Ого!
Недели две подряд
И день и ночь
Велась разгрузка,
Во мгле бессонные огни
Жег Комбинат-текстиль.
До пуска
Остались считанные дни.
Ночных сирен глухое пенье
Напоминало долгий стон,
И вой сигналов — наводненье,
Казалось, город затоплен.
Разорван вал,
И дамбы сбиты,
Теченьем согнуты сады,
И негде нам искать защиты
От мутной хлынувшей воды.
Но сон железен.
И на стройке,
Отфыркиваясь, второпях
Давились галькой гравемойки
И оплывал
Бетон в бадьях.
И моторист вечерней смены
Лебедку запускал.
Сквозь тьму
Большие звезды автогена
Летели на руки к нему.
Огромен,
Многоребер,
Ярок,
В плакатах с головы до пят,
На курьих косточках хибарок
Стоял Текстильный комбинат.
Он знал,
Что срок молчать не долгий,
Ему работы хватит тут,

Он знал, что на Днепре и Волге
Его бра́тья
Легко живут,
Что враг его давнишний умер...

Клубами шла над степью пыль,
Метался чибис, обезумев,
Крича: текстиль! текстиль! текстиль!
А Комбинат!
Он стал виденьем,
С легендами вступив в родство,
И райской птицей
По селеньям
Летала сказка про него.
И лишь кочевник нелюдимо,
Своих коней
Гоня в аил,
Его завидя,
Говорил:
«А, марево!»
И ехал мимо.

Но всё ж
К открытью Комбината
Весь край собрался, почитай,
Кубань,
Кедровая Палата,
Черлак, Лебяжье
И Китай. [1]
На эту ситцевую пасху,
На троицын
Фабричный день,
Забыв про всякую опаску,
Шло сорок девять деревень.
Как на пиру,
В заздравье брату,
Раз сорок девять, почитай,
«Ура!» кричали Комбинату
Кубань,

---

[1] Кубань, Кедровая Палата, Черлак, Лебяжье и Китай — пригородные места Павлодара.

Кедровая Палата,
Черлак, Лебяжье
И Китай.
С трибуны, ветками обитой,
Встав над толпою в полный рост,
Оратор, всюду знаменитый,
Такое слово произнес:
— Товарищи мои родные!
Я возвестить вам
Громко рад —
Деревне ситцы продувные
Сегодня
Дарит Комбинат.
Товарищи мои и братья,
Навек минули
Дни потерь,
Пусть носят праздничные платья
В колхозах
Девушки теперь!
О том, что мы бедны, —
Шептали,
О том, что голодны, —
Шептали,
Но в клевете обчелся враг.
Над жизнью
Радостной и новой
Подымем выше
Кумачовый,
Непобедимый красный флаг.
Назло врагу и мироеду,
Мы кровью добыли победу...
Вниманье, граждане!
Сейчас
Здесь пронесут знамена-ситцы,
Пускай весь мир
На них дивится —
Да здравствует рабочий класс!

Как на пиру, в заздравье брату,
Раз сорок девять, почитай,
«Ура!» кричали Комбинату
Кубань,

Кедровая Палата,
Черлак, Лебяжье
И Китай.
Над степью августовской голой
Сияло солнце в злой пыли,
Оркестр
Исполнил марш веселый...

И ситцы разные пошли.

Они, светясь, горели краской.
Но вдруг
Увидел в них народ
То, что на всенощной
С опаской
Пустынный колокол поет.
Шел ветер горестный за ними...
На них
В густом горчичном дыме,
По-псиному разинув рты,
Торчком,
С глазами кровяными
Стояли поздние цветы.
Они вились на древках — ситцы,
Но ясно было видно всем —
Не шевелясь,
Висели птицы,
Как бы удавленные кем.
Мир прежних снов
Коровьим взглядом
Глядел с полотнищ...
И, рябой,
Пропитанный
Тяжелым ядом,
Багровый,
Черный,
Голубой,
Вопил, недвижим!
Былью древней
Дымился в ситцевых кустах,
Лежал заснувшею царевной

С блудливой тенью на устах.
Тих, полорот,
Румян, беззлобен,
И звал
К давно ушедшим дням,
Явясь химерою, подобьем
Того,
Что страшно вспомнить нам.
И всё ж при этом
Был он весок...
Или — по-прежнему темна —
Из этих ситцев занавесок
Опять нашьет себе страна?
И выпрыгнут былые кони,
И, восковая, горяча,
На христолюбовской иконе
Зажжет угасшее свеча?
Что за причуды?
Кто художник?
Чьей волей
Стаи поздних птиц
Остались на дождливых пожнях,
Где запах мертвых медуниц
Витает...

. . . .

Директор

Мы позвали вас
Поговорить.
Да. Я согласен.
Вы провели на этот раз
Всех ловко.
Но весьма опасен
Тот путь,
Которым вы пошли.
Откуда родом?

Христолюбов

В Павлодаре
Родился я.
Но рос вдали
С четырнадцати лет.

Директор

Едва ли
Родитель был ваш беден?

Христолюбов

Нет!
Но я его не помню.
С детства
Меня воспитывал мой дед.

Директор

А на какие жили средства?

Христолюбов

Иконы рисовали...

Директор

Так.
Разбитый,
На корню подгнивший,
Ремесел прежних
Не забывший,
На ситцах расцветает враг!

Христолюбов

Враг?..

Директор

Да!
Спросить позвольте снова,
Почто
На ситцах черный чад?
Почто
На ситцах трехпудовы
Цветы бессмысленно торчат?

Христолюбов

Вы видели их...

Директор

В самом деле,
Я,

Как партиец,
Признаюсь:
Моя вина.
Мы проглядели.
Ответим за ошибку...
Пусть.
Но ты запомни, Христолюбов,
И трижды
Оглянись назад —
Не только на собраньях в клубах
Тебя сегодня заклеймят.
Запомни, гражданин,
Эпоху
Не шутовским цветам твоим,
Не твоему чертополоху
Глушить
Цветением чумным!
Ее не провести угрюмым
Забавникам.
Яснее дня
Она гудёт зеленым шумом,
Своих слепых врагов тесня.
Чем ты живешь?
Чего ты ждешь?..

. . . .

Игнатий шел домой.
Багровый
Летел куда-то облак.
Дождь
Накрапывал.
И непохож
Сам на себя был город новый.
Луны премудрая игра
Шла.
Через улицу бежали
Лисицы быстро...
У двора
Валялись сорванные шали,
И гулкий дальний блеск удил
Беззвучно таял...
Кто когда-то
Вон в этом низком доме жил?

Чьи пальцы тонкие, девичьи,
Задев заветную струну,
По-лебединому,
По-птичьи
Здесь пели песню не одну?

Колокольцы по тыну закрутятся,
Вздрогнет утренний сад, чуть живой,
Я опять понесусь
За тобой,
Моя утица,
Синекрылый селезень твой!

Тебе ли говорю, сестрица?
Темно в дороге —
Посвети!
Снять шапку
И перекреститься
Иль повернуться и уйти?

(Тих советский город на Поречье! Христолюбов. Улица. Луна. Вот идет ему старик навстречу, важный и спокойный...)

Христолюбов

Старина!

Старик

Что, сынок?

Христолюбов
(указывая рукой)

Ведь это позднышевский дом?

Старик

Позднышевский.

Христолюбов

Почему ж его не срыли?

Старик

Придет время, так сроют.

Христолюбов

А разве не пришло время?

Старик

Значит, не пришло, если стоит целым.

Христолюбов

(задумчиво)

Вот так калитку распахнешь
И вздрогнешь,
Вспомнив, что, на плечи
Накинув шаль, запрятав дрожь,
Ты целых
Двадцать весен ждешь
Условленной вчера лишь встречи!
Вот так,
Чуть повернув лицо,
Увидишь теплое сиянье
Забытых снов
И звезд мельканье,
Калитку, старое крыльцо,
Река блеснет,
Блеснет кольцо,
И кто-то скажет: «До свиданья!..»

Старик

О чем это ты?

Христолюбов

Так, пустое! А не знал ли ты дочь Позднышева, Екатерину?

Старик

Катерину? Погоди, это старшая, что ль?

Христолюбов

Старшая. Где она теперь?

Старик

Уехала. За ОГПУ вышла.

Христолюбов

Как за ОГПУ?

Старик

А так. За начальника ихнего.

Христолюбов

Видишь, старый. Всё разлетелось, всё рассыпалось. И Катерину увезли, и дом сроют, и останется лишь одно голое место. Ты очень не любишь его?

Старик

Кого?

Христолюбов

Ну, ОГПУ этого?

Старик

Михаил Семеныча? А за что ж мне его не любить? Душевный человек, рыбачить вместе ходили.

Христолюбов

А!..

. . . .

...Пришел домой и свет зажег —
И сразу
Беспорядок ожил:
В углу
Пять пьяниц толсторожих
Сидели обнявшись...
Кружок
Их был украшен юной девой, —
В шелку ее кипела плоть,
Она держала кружку в левой,
А в правой ветчины ломоть.
А рядом,
От заката красен,
Играл горнист в сырую тьму,
Он был огромен и прекрасен,
Но не хватало
Глаз ему.

И все войска
Под флагом рваным,
Построенные в полукруг,
Казались глазу сбродом странным,
Без плеч,
Без туловищ,
Без рук...

И тут же
Старый,
Нехороший
Портрет валялся мордой вверх,
Со злобой
Кем-то на пол брошен,
Весь в паутине липкой мерк.
Из рамы женщина смеялась:
Был тлен в ее лице и вялость,
И в сини, в искрах золотых
Глаза погасли...
Но осталась
Улыбка пасмурная в них.
И пухлый, красный рот
С краями,
Слегка опущенными вниз,
Глумился, тешился над нами...
Из всех тебе знакомых лиц
Ты выбрал призрачное, это,
Июльский
Душный пустоцвет,
Заплывшее жарою лето.
Она не розан, чтоб колоться,
Ее срывали много раз —
И с хладнокровьем полководца
Теперь оценивает нас.

Так вот на что ушли вы, годы
Работы яростной!..
От них
Остались яркие разводы
Да девки
В платьях продувных,

Фужер вина, глаза коровьи…
Для чьей кромешной славы ты
Своей густой
И чистой кровью
Поил и вскармливал холсты?
И вот о чем Игнатий думал:
«Прошедшее,
Мой враг угрюмый,
Иль впрямь
Я вечный данник твой?
Затяжелели смертью веки
И все мои мечты навеки
Пылают краской неживой?
Чем я тебе, страна, враждебен?
Кому,
Зачем служу молебен?
Кто сердцем властвует моим?
Любовь какою мерой мерил?
Я сам себе давно не верил —
Всё это
Только прах и дым!
И стоит лишь забыть…
И злая
Печаль моя
Сгорит дотла.
Возникни вновь, мечта былая,
Приказываю!
Жду!
Желаю!
Но не такой, какой была!
Я напишу тебя как надо,
Екатерина!
Чтоб кругом
Качалась жизнь подобьем сада
Под ветром в дыме золотом.
Чтоб, быстротою разогрета,
В улыбке разомкнув уста,
Ты синей лентой эстафеты
Стояла дважды обвита.
Чтоб в глубине золоторунной
Гремело
На сто голосов

В честь победительницы юной
Сто тысяч курских соловьев!»

(Холст и краски берет Христолюбов. Улыбается будто со сна. Отвертывается от толстогубых пьяниц. Яркий свет. Тишина.)

Все рассужденья к черту!
Слыша
Лишь сердца собственного стук!
Черты
Угасшие, мальчишьи,
В нем в этот миг
Проснулись вдруг.
И, губы выпятив упрямо,
Чуть-чуть насупливая бровь,
Перед собой глядел он прямо,
Сощурившись...
И вновь и вновь
Лицо из мрака выплывало
И гасло на холсте его,
Мелькало, пряталось.
Сначала
Совсем оно было мертво.
Но он
Привел его в движенье,
Дыханьем наделил.
И вот
В нем появилось выраженье,
Уже казалось, что живет,
Себя
Над прежним мраком
Выся,
Та голова — светла, бела,
Но тут
Скользнула хитрость лисья,
Глаза неслышно повела.
И ясно стало, что непрочно
Ее на свете бытие
И что давным-давно порочна
Тень возле слабых губ ее.
И как ни путал,
Снова дивой,

В густой опутанная дым,
Дразнясь улыбкою блудливой,
Печальной,
Хитрой
И красивой,
Она вставала перед ним.

Спокойней.
Вот она! Еще бы!
...Но очи норовили вкось
Глядеть.
И что-то вроде злобы
В них скрытым пламенем зажглось.
Как ни старался —
Больше, резче
И с каждою минутой злей,
Уже совсем не человечьи,
Глаза грозились.
Всё темней,
Всё глуше становились.
С маху
Он ворот расстегнул,
И злей,
Неутомимо, словно птаху,
Ее гонял среди ветвей.
Ага!
Не увильнешь!
Попалась!
Казалось, что преграды нет,
Лишь только
Тронуть кистью малость —
И отовсюду
Брызнет свет.

Он отошел взглянуть.
Тут что-то
Произошло —
Смешна, пуста,
Вся раскрасневшись,
Полорота,
На Христолюбова с холста
Глядела дура...

— Этак! Вона
Куда пошло! Ну, так и быть,
Держись-ка, ведьма! —
И с разгона
Он начал рыло кистью бить.
И в ножевых багровых ранах,
Всё в киновари, как в крови,
Оно свалилось...

. . . .

...Выпь в туманах
Вопила: «Догоняй! Трави!»

Куда бежал? Чего искал он
На улицах?
Родных?
Народ?
Под непомеркнувшим оскалом
Луны, угрюмой от забот,
Кипела облачная пена...
И песня слышалась вдали:
С работы шла ночная смена,
С большой работы
Люди шли.
Уверенно вперед шагали
По смутным улицам они,
И песню
Повторяли дали
Про «Волочаевские дни».
Мост строили. Огни горели.
И под моторов долгий храп,
Свистя,
Летали на качели
Тела литых чугунных баб.
Мост строили...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Он всё забросил: кисть, палитру,
Друзей,
Не в шутку, а всерьез,

«Погибну, думал,
Но не вытру
Воспоминанья горьких слез».
Разлучено навек с румянцем,
Лицо тускнело.
Стороной
Он шел угрюмым оборванцем
В заздравный шум
И чад пивной.
В шальных огнях стучали кружки,
Обнявшись, плакали подружки,
Кричали «здравствуйте!» ему,
«Субботу»
Пело сорок пьяных,
И в розах оспенных, румяных
Плясала в сумрачном дыму
Слепая рожа баяниста,
И сладко,
Горестно
И чисто
Баян наяривал вразлет,
И ждали воры в дырах мрака,
Когда отчаянная драка
В безумье очи заведет,
И взвизгнет около Вертинский,
Метнет широкий ножик финский,
И (человечьи ли?) уста,
Под электричеством оскалясь,
Проговорят:
— Ага, попались
В Исуса,
Господа,
Христа!

В пивной неукротимой этой
Был собран всё народ отпетый,
И выделялись средь толпы
Остригшие под скобку гривы,
Осоловевшие от пива,
От слез свирепые попы!
Вся эта рвань готова снова
Былым коням

Сменить подковы,
У пулеметов пузом лечь,
С батьком хорошим
Двинуть в поле,
Было б оружье им да воля —
Громить,
Расстреливать
И жечь.
Мешки у нижних век набухли,
У девки пышно взбиты букли:
— Пей, нелюбимая, дотла! —
Звенит стекло в угаре диком.
— Так спой, братишка,
Гоп со смыком,
Про те ль подольские дела.

(Вспомним про блатную старину,
да-да.
Оставляю корешам жену,
да-да.
Передайте передачу,
Перед смертью не заплачу,
Перед пулей глазом не моргну!)

А утром серым,
Красногривым,
Когда по прибережным ивам
Вкось,
Встрижь проносится, змеясь,
И на широких перекатах,
У самых берегов покатых
Лениво плещет рыба язь,
Шел Христолюбов в гости.
Дома
Не заставал хозяев:
— А!
Знать не хотят! —
Возле парома
Жил бакенщик.
Спешил туда...
И в шалаше, средь старых весел,
Со стариком,

Тоску забросив,
Из чашки пил кирпичный чай,
Ругал весь свет, просил деньжонок
Дать в долг...
Средь юных трав саженных
Шумел веселый,
Пыльный май,
Сирень еще не воссияла
Во всем бессмертии своем.
А Христолюбова гоняло
По улицам...

. . . .

Голос

Ну, как живем?

Христолюбов

С кем честь имею я?..

Голос

Так скоро...
Стал забывать друзей давно?
Не затеваешь разговора...
Рад иль не рад?

Христолюбов

Мне всё равно.

Голос

Скажи, какое безразличье!
Ты неужель забыл, земляк,
О том, как вместе жили, как
Зорили вместе
Гнезда птичьи?
Как на Гусином перекате
Рыбачили...

Христолюбов

Егор!

Смолянинов

Игнатий!

Христолюбов

Я рад!
Я очень, очень рад!
Давно мне радость незнакома.
Давай представимся вдругорядь.

(Протягивая руку)

Художник...

Смолянинов

Секретарь парткома.

Христолюбов

Что?..

Смолянинов

Да!
Ты помнишь ли? Лет десять
Тому назад я в комсомол
Вступил...
И право, если взвесить,
То было не случайно. Гол
Был мой отец...
Но бросим это.
Гляди, Игнатий, сколько света
И зелени,
Как край богат,
Как эти флаги реют гордо,
И как величественно,
Твердо
Стоит Текстильный комбинат.
Что было раньше здесь? Крылечки
Хибарок...
Цвел шиповник дик,
И доносились из-за речки
К нам завывания шишиг.
А ныне?
Не глухим каликой
Стал старый, сонный город наш.
Текстиль!
За это жизнь отдашь —
Он создан партией великой.

Христолюбов

Всё это, друг, старо.

Смолянинов

Что ж ново?

Христолюбов

Всё это басни.

Смолянинов

Если б я
Услышал от кого другого...

Христолюбов

Вновь повторяю, не тая —
Всё это басни!

Смолянинов

Басни? Ну-ка,
Попробуй,
Вздумай,
Докажи,
Что Комбината этажи
Лишь вымысел один...

Христолюбов

Не штука
То отрицать, чего уж нет,
Иль то, что не возникло...
Я же
Клянусь тебе —
Пусть трижды даже
Твой Комбинат стоит, одет
В молву и присказки, но всё же
Его не существует...

Смолянинов

Эк!
Куда хватил ты!

Христолюбов

И похоже,
Он не был вовсе...

Смолянинов

Да?

Христолюбов

Вовек!

Смолянинов

Что ж он, по-твоему?

Христолюбов

Он? Пар!
Послушай,
Ты поверить можешь
В то,
Чтоб угасший полдень ожил
И возвратился прежний жар?
Чтоб вдруг согбенная старуха
Предстала девой?
Дряхлый пес
Залаял звонко
И до слуха
Нам пенье бабок донеслось?
Чтоб жизнь вся снова стала ими,
И в золотом,
В горчичном дыме,
По-псиному разинув рты,
Торчком,
С глазами кровяными
Восстали поздние цветы?
И тыщи отблесков минувших,
Не сгинувших, а лишь заснувших
Мелькнули всюду?..
Отвечай!
Поверить можешь в заблужденье?
Не можешь?
Ну, мое почтенье!

Мне некогда с тобой.
Прощай!

Смолянинов

Христолюбов! Игнатий! Эй, постой, черт тебя побери! Что он здесь молол? Он болен. Нет, он не болен. Но если бы и впрямь ожили все эти старухи, то бишь привидения, про которые он здесь говорил, то первая забота у нас, у большевиков, была бы отправить их обратно.

. . . .

Кабинет парткома Текстильного комбината.
Смолянинов и Христолюбов.

Смолянинов

Товарищ Христолюбов.

Христолюбов

Да.

Смолянинов

Мы вас позвать сюда решили —
Сказать,
Что договор, тогда
Меж нами заключенный...

Христолюбов

Да?

Смолянинов

Конечно, остается в силе.

Христолюбов

Позвольте...

Смолянинов

Так. Согласны ль вы
Вновь приступить к своей работе
И если...

Христолюбов

Здорово живете!
Чтоб снова выгнан был?

Смолянинов

Правы
Вы в том, пожалуй, что немного
Поторопились здесь,
Но всё ж
И ваш поступок нехорош
И ситцы ваши...

Христолюбов

Нет, дорога
Моя ушла от вашей вкось.
Обманывать себя довольно —
Хочу, чтоб голодно,
Привольно
И одиноко мне жилось!

Смолянинов

Ин-ди-ви-ду-а-лист.

Христолюбов

Да. Ин-ди-ви-ду-а-лист.

Смолянинов

Свободная личность.

Христолюбов

Да. Свободная личность.

Смолянинов

Я член партии. Я верю партии, люблю партию и живу для нее. Партия прикажет, и я исполню, не рассуждая, потому что она мудрее любого из нас. А ты со своим индивидуализмом — пошляк, ноль. Ты думаешь, приятно и легко мне, большевику, выслушивать от тебя твои, с позволенья сказать, тирады?

Я с тобой говорю потому, что наша обязанность, прежде чем окончательно отсечь, бросить на свалку, пытаться уберечь, вытащить, поставить на ноги человека. Чем больше талантов кругом, чем ярче они цветут — тем лучше.

Этого хочет Партия, Народ...

Христолюбов

Народ?
Его люблю и знаю.
Меня он нянчил на руках.
И лучше не припомню сна я!
Я с ним встречаюсь...

Смолянинов

В кабаках.

Христолюбов

Ложь!

Смолянинов

Нет!

Христолюбов

Ударь по всем прибасам,
Душа моя!
Я так хочу!
С народом я плечо к плечу
Стою...

Смолянинов

В очередях за квасом.

Христолюбов

Народ!

Смолянинов

Народ. Передо мной,
Лица дыханием касаясь,
Плывут под синевой сквозной
Все семь Республик — семь красавиц!
Народ,
Великая родня
Средь гор, лесов,
Полей бескрайних!
И гордо смотрят на меня
С мостков
Водители комбайнов,

Горды успехом сталевары,
О счастье девушки поют,
От Мурманска
До Павлодара —
Повсюду Молодость и Труд.
Живите радостней, растите!
Цвети, Советская земля,
Ты слышишь,
Как трепещут нити,
Протянутые из Кремля?
Там Сталин! Ленин!
Слышь, Игнатий,
Как можешь ты до этих пор
На зорях думать о закате,
Гнилую воду пить!

Христолюбов

Егор,
Про нехорошую потерю
Я расскажу тебе теперь,
Ты другу старому поверь,
Я ж сам себе давно не верю...
На сердце снег! На сердце снег!..

Смолянинов

Чудак!
Непрочный человек.
Послушай, хочешь, завтра едем
Со мною отдыхать к соседям
В колхоз...

. . . .

Широк степей разбег,
Земля степная дышит жарко,
Круглоголовая татарка,
Да черно-синий можжевель,
Да на улогах
Тонкий ирис,
И горизонт,
Змеясь и ширясь,
Зовет за тридевять земель.
А кони дальше едут прытко,
В поту гнедые, в паутах,

Коврами
Застлана кибитка
И на ухабах у-ух да а-ах!
— Егор, а это что за пашня?
— Совхозные владенья там.
— Егор, а это что за башня?
— Там элеватор...

По грядам
Совхозных нив шел ветер...
— Норы
Здесь были лисьи, да стада
Кочевничьи паслись.
Но скоро
Дороги римские сюда
Мы проведем...
. . . .
И вот в сарае
Они живут. Сквозь синеву
Просторной ночи, не сгорая,
Блестят созвездья.
И в хлеву
Спокойный, нежный хруст коровий,
Овес и упряжь в изголовье,
И ветер шевелит траву
У самого порога.
Где-то
Грустит, поет гармонью лето,
И за рекою, в бурелом,
В туман
Запрятавшись, как птица,
Горячим сердцем
Ночь стучится,
От нетерпенья
Бьет крылом.

А утром Федор Федосеев,
Хозяин,
Их с собой ведет
И говорит:
— Страна Расея
Известна — хватит всем!

И мед,
И хлеб, и лес,
И зверь,
И рыба,
И нечего сказать — спасибо
Советской власти...

Широко
Рукой обводит даль: — Какая,
Ребята, благодать. —
Мелькая,
Поля скользят:
— Теперь легко,
Теперь нам что?
Теперь мы знаем,
На что работаем, хозяин!
Постой, немного погодя
Скота в колхозах будут — реки... —
Стоял, уверенный навеки,
Рукою дали обводя.

Федосеев

А вы, простите, кто же будете по профессии?

Христолюбов

Я... Я художник.

Федосеев

Рисуете?

Христолюбов

Рисую. Что ж, Федор Петрович, знаете вы художников?

Федосеев

А как же? Разве не видали
В моей квартире на стене
Картин?

Христолюбов

Нет-нет...

Федосеев

Товарищ Сталин на трибуне,
И Ворошилов на коне.

Христолюбов

Вам нравится?

Федосеев

Конечно.

Христолюбов

Очень?

Федосеев

Иначе б их не приобрел
И не держал бы...

Христолюбов

Между прочим:
Гляди, летит степной орел,
Карагачей рокочут листья,
Жара малиновая, лисья
Хитро крадется.
Может быть,
Всё это смутное движенье
Бесстрашно
На одно мгновенье
Смогли бы мы остановить.
И на холсте
Деревьев тени,
Медовый утра сон и звук,
Малиновки соседней пенье
В плену у нас
Остались вдруг.
Настали б вьюги вновь.
Слепая
Пошла метель крутить!
Но знай,
В твоей избе, не погибая,
Цвел
И качался б веткой май.

К нам,
Чудотворцам,
Видишь ты, —
Со всех сторон бегут цветы!
Их рисовал не человек,
Но запросто их люди рвали,
И если падал ранний снег,
Они цвели на одеяле,
На шалях,
На коврах цвели,
На грубых кошмах Казахстана,
В плену затейников обмана,
В плену у мастеров земли.
О, как они любимы нами!
Я думаю:
Зачем свое
Укрытое от бурь жилье
Мы любим украшать цветами?
Не для того ль,
Чтоб средь зимы,
Глазами злыми пригорюнясь,
В цветах угадывали мы
Утраченную нами юность?

Федосеев

Что говорить, день нынче славный,
Трава, вода,
Земля,
Листьё.
Но я хозяин самый главный,
И без меня
Здесь пусто всё.
И снова будет май.
И снова
Его ветра пройдут, звеня...
А ты разборчиво,
Толково,
Художник, нарисуй меня.
Неужли тварей бессловесных
Я, Федосеев, хуже?
Ты
Изобрази нас в красках лестных,

Мужичьих наших лиц черты.
Доярок наших,
Трактористов,
Всю нашу жизнь рисуй любя,
И все как есть
Тогда мы
Исто
Полюбим, милый гость, тебя!
Ты покажи нас в нашем деле.
Что май без нас? Цветочный дым.
Минута!
Если бы не Ленин,
И лето было бы другим.
Было б кольцо в ноздрю продето,
Запали б потные бока,
Как вол понурясь,
Аж с рассвета
Работали б на кулака.

Огромной жизнью —
Той,
Напевной,
Которой и сравненья нет,
Жила колхозная деревня
И походила на рассвет.
Она смогла с былым проститься...
И с прежних тягостных ночей
Всё молодее,
Всё ясней
Глядели человечьи лица.
Нельзя взглянуть, чтоб не влюбиться
В походку гордую твою,
Республика!
В каком краю
Такие собраны богатства,
Так солнце блещет горячо?
В какой другой стране еще
Такая вольность есть и братство?
Сто тысяч ты пошлешь певцов,
Сто тысяч вышлешь ты героев,
И если всё ж в конце концов
Они погибнут —

Вышлешь втрое.
Всему приходит свой черед,
И красной буквой праздник будет —
Огромный,
Материнской грудью
Ты вскормишь гениев, народ!

. . . .

Орлова, Голубева, Любу
Матвееву
И всех иных
Узнал ли и значенье их
Ты понял сердцем, Христолюбов?
Они входили в жизнь твою,
Как воздух нежный, земляничный,
Как отдых в кровь,
Подобно дню
Работы близкой и обычной.
Все в блеске золота густого...
Не ими ль
Этот мир пригож?
И стало то
Простей простого,
Что раньше было — к горлу нож.

Случился праздник — именины
Елены Горевой —
Колхоз
Доярке лучшей
Не холстины —
Батист и шелк в подарок нес.
Батист и шелк
В подарок нес —
Охапку именинных роз.
На стеблях тонких
Двухаршинных
Кругом стоят
Цветы в кувшинах,
Весь луг цветами занесен —
Бураном свадебным...
Повсюду
Стоят невиданные блюда,
И стол накрыт

На сто персон.
И над рекою ивняковой
Проносит облачную тень,
И первым тостом
Начат новый,
Великий,
Именинный
День.

Смолянинов

Хоть я курортник здесь случайный.

(Смех. Аплодисменты.)

Всё ж
Выпал случай
Чрезвычайный.
И потому я трижды рад
В таком пиру
Принять участье.
Приветы шлет колхозу «Счастье»
Шеф,
Друг —
Текстильный комбинат.

(Аплодисменты.)

Что вместе нас связало сроду?
Мы
Граждане одной страны.
Мы дети одного народа,
Единой партии сыны.
И неразрывен,
Крепок,
Прочен,
Как серп и молот, наш Союз,
А если кто его захочет
Вдруг разорвать,
То я боюсь —
Напорется свиное рыло
На серп, на штык!
Чтобы вперед
Навечно неповадно было
Лезть в наш советский огород!

(Аплодисменты.)

За наш Союз несокрушимый!
За наш Союз непобедимый!

(Давно ли в деревнях такие речи звучат? Встают мужики, стаканы стучат. Из широкого горевского двора аж по всей стране звучит их ура!)

Голос

Партии Ленина и Советской власти ура!

(Ура!)

Голос

Зажиточной колхозной жизни ура!

(Ура!)

Голос

Шефу — Текстильному комбинату ура!

(Ура!)

Тонкий женский голос

Егору Захаровичу долгого здравия...

Смолянинов

Товарищи,
Теперь я должен
Заздравный этот тост продолжить,
Вот слово верное мое:
Да здравствуют дела простые,
Хозяйки руки золотые!
За юность,
За любовь ее!

(Ура! Ура!)

И тут не мало
Веселья было,
И кругом
Сирень внезапно воссияла
Во всем бессмертии своем.
Нежна,
Лилова,
Ниже трав
Кистями пьяными упав.

И перед девушкой в упор
Ударил каблуком танцор,
В косоворотке,
Весел,
Яр —
И струны сорока гитар
Швырнули горсти серебра.
А парень шел среди двора
То сизым голубем,
То вдруг
Чертя, что ястреб, полный круг.

Невеста!
Струнный лепет тих,
Зовет рукой тебя жених...

(«Уж ты сад, ты мой сад, сад зелененький,
Что не розово цветешь, осыпаешься...»)

Всему, что на сердце таилось,
Настала вылиться пора —
Под облак
Песня уносилась,
И начинали тенора:

(«Что не розово цветешь, осыпаешься,
Сколь далеко, милый мой, отправляешься.»)

Народ,
Твои напевы долги.
Их начинают чуть дыша.
В них ширина и вольность Волги,
Разбойный посвист Иртыша!
В них всюду брезжит светом алым,
В них журавлей просторный лет,
Мечта о счастье небывалом
Их верным голосом ведет.

Голоса:

— Чокнемся! Чокнемся!
— Будь здоров, Степан!
— Будь здоров, Василий!

— Будь счастлива!
— Твое здоровье, Маша!
— Чокнемся, чокнемся!
— Будьте счастливы!
— На долгие времена!
— Чокнемся, чокнемся, мужики!..

Смолянинов

Имеет слово председатель
Колхоза...

Голоса

— Чокнемся, чокнемся, мужики!
— Тише!
— Петр Ильич!
— Пусть скажет Петр Ильич!
— Тише!
— Петр Ильич Игнатьев.

Председатель колхоза

Не ждал, но говорить пришлось.
Товарищи,
Меж нами гость —
Художник Христолюбов.
Люди,
Он долго жил у нас.
Авось
О нашей просьбе не забудет.
И вот какой теперь от нас,
От мужиков,
Ему наказ:
Рисуй, да так, чтоб пели птицы
На тканях, увидав цветы.
Рисуй,
Чтоб были наши ситцы
Нежны,
Прекрасны
И просты.
Чтоб веселей невесты стали
От тканей радостных твоих!
Чтоб наши дети подрастали
И пуще хорошели в них.

Чтоб я, надев из них рубаху,
Колхозник,
Твой сосед и друг,
Принарядившись, мог без страху,
Войти в любой известный круг.
Чтоб ситцы были с жизни сколок...

Первый голос

Чтоб я от ситцев подобрел!

Второй голос

Чтоб был широк и светел полог!

Третий голос

Чтоб в окнах занавес горел!

. . . .

Женский голос

Чтоб отливал пером павлиньим!

Голос

Чтоб цвет на нем
Был синь
И ал,

Голос

Чтобы про то узнал Калинин —
Тебе в награду орден дал!

Христолюбов

Они проходят, заблужденья.
Я на пороге новых дел...
Я чувствую...
Мои сомненья...
Всё это было пылью... тенью...
Нет, я не то сказать хотел.
Товарищи!
Теперь я вижу
И не ослепну ни за что —
Люблю,
Страдаю,
Ненавижу...

Нет, я хотел сказать не то.
Но я даю сегодня слово,
Хоть и напрасно слов ищу.
Душа на подвиги готова...
Не то!
Работать я хочу!

(Приветствия.)

Как вы велите мне — чтоб птицы,
Цветы завидя, пели! Я...
Для вашей жизни —
Жизнь моя!

(Приветствия.)

За христолюбовские ситцы,
За наши славные края
И за победный рокот века,
За искренность и веру ту,
Что обновляет человека,
За страстный,
Юный мир в цвету!
За партию, которой равной
Нет и не будет.
И за славный,
Великий, ясный полдень наш
Ты, песня,
Жить и славить рада
И, знаю твердо, если надо,
И жизнь свою
В бою
Отдашь!

1935—1936

ВАРИАНТЫ

31

«Новый мир», 1930, № 6 После 28	Я приветствую этот кров За мычанье пестрых коров, За густой его палисад, За сырой его аромат.

32

Машинописная копия ЦГАЛИ После 11	Не ты ль проносил Сквозь Ургинский буран Крутое тавро Незалеченных ран.

34

Машинописная копия ЦГАЛИ После 8	Я пил из купеческих чашек вина, По нраву себе выбирал скакуна. Тот смирен да вял у столба на продажу, Тот больно на задние ноги осажен, А этот хоть ладен и гладок на вид, Гляди, примечай, на копыта разбит!..
После 14	Чеканная поступь граненых копыт, Неверящим глазом безумно косит.
Вместо 21—28	Прощай же, хозяин! С коня не упасть, Чиста вороная атласная масть. В станицы дорога! Навстречу нахлынет Поднявшейся горечью ветер полыни. Казацкая удаль! Тоска далека — На нас лебедями летят облака.

87. СТРОИТЕЛЮ ЕВГЕНИИ СТЭНМАН

«Пролетарский авангард», 1932, № 8 Вместо 49—50	Мы когда-то мечтали с тобой завоевывать страны, Ставить в лунной пустыне кордоны и разрушать города.

116

Автограф
После 42
(зачеркнуто)

[И когда рванутся
От края до края,
Песнями и пулями
Метя по нам,
Я, только клявшийся тебе
Умирая, не соглашусь
И скажу — не отдам.]

122

Гранки сб.
«Стихи»
После 123

А звезды всё выше,
О них позабыли,
А звезды над нами
Всё круче, куда,
Движенью противиться
Больше не в силе,
Влекут нас
Средь этих равнин поезда?
К разлукам, к несчастьям
И счастью какому?
К застольному кругу
Походов и встреч?
Пускай же шишиги
Грустят по былому, —
Нам нечего больше,
Приятель, беречь!

131

Автограф
Начало
(зачеркнуто)

[Жизнь моя, забава удалая,
Всё еще живу, не пропадаю,
Езжу в незнакомые места.
Норовлю, покуда сердце в силах,
Целовать прохладный твой затылок
И твои румяные уста.

Всё еще покудова бедовый,
Норовлю по улице Садовой
Отыскать окно твое в свету,
А гляди, так, может, так и надо:
Дерево посереди ограды
Опадает тоже по листу.
Хорошо в окошко смотрит лето]

Вместо 55—57
(зачеркнуто)

[Чем не парни домовщики наши,
Чем любым ребятам не папаши —
Ишь как тень наводят на плетень.]

147

«Крокодил»,
1933, № 34,
Гл. 15
После 84

Сидит он в колхозе
Без мала год.
Пролез в счетоводы,
Ведет обсчет.
Пузыри пускает
Дутых смет,
Пролез в заправилы,
Ору-ду-ет.

148

Автограф
После 26

Кудерь табашный
На самую бровь
Да на лампасах
Собачья кровь.
Черной косой перекручен бич
В звездах, в татарских
Дареных литых.
По локоть вожжи! Корней Ильич!
Батюшки-светы, чем не жених?..
— От вина не мертвы ли
И куда завертывали?
— По лугам привольным
За самогоном
За веселым, колокольным
Свадебным звоном.
Гей!

«Пили сотоварищи
Сорок дней,
Гнали сотоварищи
Сто коней.
Заходи ребятушки
По крыльцу,
Припасайте в рученьке
По бубенцу.
Заходи ж ребятушки
В светлый дом,
Закидайте молодца
Серебром».

— Ехать так ехать! Прошу по чести
Пить — чтоб не баяли про казаков.
Ехать так ехать — айда, к невесте!
Коней отвязывай от столбов.
Дикой косой перекручен бич,
Пляшут костры в глазах у конька,
Встал на телеге Корней Ильич,
В вожжи запутана вся рука.

После 62 «А бе-е-ерезынька
на крутом бережку росла
По глоточку
По голубиному воду пила
Да всё ладошкою зачерпывала.
Да пришел к ней в гости,
В гости сват-топор...
Да пришла к ней в гости
Сватья-пила...»
Наехали!

149

Автограф
После 24

Он танцевал во все присядки
С гулящей девкою, и я
Без памяти и без оглядки
Готов идти ему в братья!

Вместо 63, 64
(зачеркнуто)

[Быть может, эта песня спета
Затем, чтоб слышал ты ее.]

После 148

И не заметишь, как пройдет
Всё то, что молодостью звали,
Настанет високосный год
Чужой любви, твоей печали,
И шибко новый дождь пройдет.
И не заметишь, как пройдет
Всё то, что молодостью звали,
И время властно поведет
В родные песенные дали.
Ты скажешь: мы в такой-то год
Калитку эту открывали.
Когда? В какой счастливый год?
Давай припомним? Но едва ли
Забытый ветер всколыхнет
Тот лес, где мы цветы срывали.
Едва ль откликнется удод
И красная луна взойдет
Над тем, что мы любовью звали...
И каждый перемшелый пень
Нам будет, может быть, дороже,
Чем роща целая, ведь всё же
Здесь нас ласкал июньский день,
И дерево роняло тень,
И солнце золотило кожу.

155

Автограф
Гл. 1
После 32

Сердце вторит
Его ударам.
По извивам
Пьяной тропы,
Крепким пыхая
Перегаром,
Со крестами
Идут попы.

Автограф

Тоже, мать их, хозяева.

Машинописная
копия
Гл. 2
После 171

И рванулось: от баб, от слабых
До мужей, сынов — сторонись!
Ворот к горлу, фуражку набок,
Начиная трехпалый свист.
Кто нам, мать твою, учредитель,
И в обрез! И гармонь! Свища
Жги конюшни и бей учительш,
Набирай лады кулачья.
Против босых и против власти,
Против власти и голытьбы.
И пошли кулацкие Васьки,
Напустив на брови чубы.
Бей в него, чтобы кровью вытек,
Целься, Васенька, в комсомол,
Задирайте до самых титек
На собраньях девкам подол.

О Рассея, от баб и от слабых
До мужей — в хохоток и плач
Ворот к горлу, фуражку набок
Гнилозубая, окарачь.
И присела и волчьей тенью —
Лапотошная ведьма — и-их!
Против трактора
И просвещенья
За хлеба, за скотов своих!

Далее
в автографе

Хоть оружья нету, нету,
Мы оружье возвратим
Перережем сельсоветы
Шкуры выворотим.

Автограф
Гл. 3
После 7
(зачеркнуто)

Божьей матери
Соболя
Тонкая бровь,
Апостольских глаз,
[Святителя глаз,
Темный свинец —
И вывезенный
Из-под Тары,

Спокойный,
Благочестивый
Венец
Великомученицы Варвары]

Автограф Машинописная копия Гл. 3 После 40	И верил ему Без отвода глаз, Да в ризы одел — Не берег украса, Да медью обил ему тарантас, Тяжелого резного иконостаса.
Автограф Гл. 3 После 76 (зачеркнуто)	[Господи, Убереги мя животы, Молю тя, грешный, Явися в чуде.]
Гл. 3 После 209 (зачеркнуто)	[Но тот отдышался, Выпрямился и В сторону повел Кривыми губами. Главное, хозяйка, Сор собери, С остальным, пожалуй, Справимся сами.]
Гл. 10 После 6	И направо льдом подкован Конь бежал и шла в мороз Стельная его корова, А налево шел — колхоз.
Автограф Машинописная копия Гл. 11 После 8	И кули в одно мгновенье Подняли: укрыться где б? Испеклось в башке решенье, Будто в дымной печке хлеб.
Автограф Машинописная копия Гл. 12 После 6	Бегал целую неделю, Подкупал, шептал: долой! Чтобы беды отлетели, Клал собачий зуб в постели, Осыпал порог золой.
Далее в машинописной копии	Будто в бане разогретый В жениных грудях, Как гриб, В заспанной Берлоге этой Прятался и выл: — Погиб.

Автограф
Гл. 13
После 8
(зачеркнуто)

[До весны еще покуда
Месяца, но как весной
На стекле горит полуда,
Крепкий дух идет сенной.]

Автограф
Машинописная
копия
Гл. 13
После 36

Розы крупные на чашках.
Чай распили — чай распив,
Озирает Алексашка
Нищий, цепкий свой актив.

Всё, что около скопилось
В хмуром, пагубном краю,
Не пошло к врагу на милость,
Сберегло любовь свою.

Автограф
Гл. 13
После 133

Они разрядили все пули
В спину
Старой России.
Нам так бы нести
Золотые буквы
Любви своей,
Как они на бескозырках
Тогда носили
Имена любимых
Своих кораблей!

Гл. 13
После 143

Разве ты не знал
Этот край соломенный,
Край распрей, где дома да гроба.
Не одна здесь на крыльях сломанных
Волочилась в пыли судьба.

Автограф
Машинописная
копия
Гл. 17
После 28

Но здесь не сволочь
И горлопаны
Пришли натрудить
Замасленный рот, —
В тоске махорочного тумана
Решались навеки
Смерть и живот.

Гл. 20
После 21

Всем известно
Наше обличье,
И трижды товарищи,
В бога, в мать,
Имея лампасов
Такое отличье,
Имеем право
Слово сказать!

Гл. 22
После 14

Сколько татарских стрел пролетело,
Сколько истрачено жизней, чтоб
Существовало это хилое тело,
Вострые глазки, черствый лоб...

Далее в
машинописной
копии

Трижды обкраденный и разутый,
В расстрелы ходивший молча, как бык,
Вот он стоит, сам себя опутывая,
Наш прекраснейший русский мужик.

Далее
в автографе

...Вот он самый: по рукам смущенье,
Прыгает и отдает — отчего ж?
За потанинское расположенье
Последней совести робкий грош.

Автограф
Гл. 29
После 36
(зачеркнуто)

[Все добро, Ярков, прими.
Отвечает: Как же!
Принимаю я в колхоз
Лишь рога лошажьи,
Лошадиные рога,
Крылушки коровьи.]

Автограф
Машинописная
копия
Гл. 33
После 92

Только б!
— Маруся...
И ветер не страшен,
Хоть бы он войском
Несметным прошел.
Что ей учительше?
Рядышком Саша,
Локоть о локоть —
И всё хорошо.
Всё хорошо!
Надо б учиться...
В семье должно быть
Были правы:
Розовые пальчики,
Пушистую ресницу
В этакую даль
Завезти из Москвы.

Мать женихов давно примечала,
А папаша ладил:
В университет.
И уже за час
Какой! до вокзала
Приказывал: нет!
И еще за час
Кипел на вокзале:
— Подвижничаете, товарищи,
Что-с... —
Позади, прощаясь,
Огни зажигали

Неглинная, Моховая,
Кузнецкий мост.
И вот уже
Подвыпивший, веселый
Сосед по купе
Запел невпопад —
А дальше
Тесовая крыша
Школы,
Штук двадцать
Ушастых хмурых ребят.

Далее в машинописной копии

Так в кружок подстригла
Волос тонкий,
В косы перевитый
До этих пор...
...Кони подбоченясь пошли.
Потихоньку
К Митину шатнулась:
— Куда мы, Егор?

Далее в автографе После 192

Руку под голову
Подвернув,
Маша лежала
Бледная горше,
Чем голубь сбитый,
Раскрывший клюв,
И мертвые крылушки
Распростерши.

Далее в автографе и машинописной копии

Пестик таскал
Егор вдоль и вкось,
Бить начал под бровь,
Возле уха,
Но уже
Неотзывчиво, глухо
Стучала
Мертвая
Кость.

Автограф Отдельная глава

Учительница, изо всех профессий,
Запомниться лишь эта мне смогла.
Учительница? С бантом? Где-то в детстве?
Но ты другая, Маша, ты как песня.
Каким ты светом, Машенька, светла?

Как снег глубок! Как неуклюжи шубы!
Как косолапы валенок следы!
Ответь, Мария, Маша! Почему бы,
Когда гляжу в глаза твои и губы,
Мне сразу вспоминаются сады?
Сады в июне плещущие, летом,
За полудень, немного погодя,

А может быть, сады перед рассветом...
...Сады в цвету, сады после дождя...

Пускай умру — чтоб ты была счастлива.
Невиданная красота — ну, что ж.
Да славится собранье партактива,
Здесь ты живешь, и дышишь, и цветешь.

А росла ты в городе,
В захолустье
Жил он,
Этаких как ты
Губя,
И казалось, что нет,
Не упустит
Ни за что, Мария, тебя.

И входил он в круг широкий просто,
Чуть укорачивая медвежий шаг,
От слободы,
От бедноты —
На единоборство,
Разжигая вокруг тальи кушак.

И лишь только
Под взмахом его кулачища
На троицыну сырую землю с ног,
Брусничной харей без толку тыча,
Валился первый
Кулацкий сынок,
И смехом недобрую ругань кроя,
Кричало «ура» ему полслободы.
Так он и рос в Черлаке героем
Редников —
Сын мужицкой нужды.

Когда же в девятнадцатом
Сквозь вьюги глухие
Забрезжил на западе
Красный флаг
И навстречу карателей
Выслал правитель России,
Его белоштанство
Адмирал Александр Колчак,

Редников всё припомнил.
Как били,
Как ему пальцем тогда грозили,
Что ему тогда говорили,
Как отнимали хлеб у него, —

И он уже знал
Идти за кого.

Он апостолам всем и богу
Отливал колокольную медь,
Он учил тебя понемногу
Нехорошие песни петь.

И покуда были подростками,
Он гостил у тебя в крови,
Он учил тебя жить просто,
Просто — господи, благослови.
Он шептал, а то будет хуже,
Верь в рождественскую звезду,
Он сулил тебе мужа, мужа,
Зачеркнуто [Обещал с мундштуком узду.]

Ой, просватаю и к любому...
Для души, души, для души
Он подсовывал, да, альбомы,
Изумрудные карандаши.
Мне тоже доверяли альбомы
Тогда...

Как рассказать о том, что было,
Мария, помнишь? Али забыла?
Помнишь последние атаки,
Шли на город чехословаки?
Помнишь, к вам надолго гостить пришли
Полк Стеньки Разина и латыши?
И по-девичьи, по-человечьи
Ты рванулась вьюгам навстречу,
И среди военного гула,
По стране плеснувшего горячо,
К поясу наган пристегнула
И шинель накинула через плечо.

Город твой стал пожарищем...
Я, не бывший в бою,
Понаслышке, товарищи,
Песенку запою.
«Зла, весела, игрива
Смерть на ветру. Туман.
Морда коня и грива,
И над ней барабан.
Что ты задумал, ротный,
Что ты к земле прирос?
Лентою пулеметной
Перекрестись, матрос!
Видишь, в походной кружке
Брага темным-темна.

Будут еще подружки,
«Яблочко» и веснушки,
Яблони и весна!»

К песне этой походной,
В битве, в сраженье годной,
Я добавлю ту, что
Поют сейчас, —
«За ветры весен сырые,
За лучшую нашу Марию,
За».

Машинописная копия
Гл. 1
После 9

Он по-прежнему,
Не взирая
На ненастье,
Пургу
И лед,
На заутрени собирает
И на всенощные
Зовет

Гл. 2
После 44

Если встретиться так сумели,
Значит —
В голову голова —
Вкруг стола накрытого
Сели
Гость и сами хозяева

После 66

Ждут премудрости,
Приготовясь
К Евстигнеевой,
К ней
Ладом.
Евстигней начинает:
— То есть
Проживаем на свете сём.

Жизнь рисковая,
Ножевая,
Но мы сами
Виною тому —
И семья
Вовсю проживает,
В подтвержденье сопя ему.

После 191

Нам
От этаких
От сумятиц,
Может, просто — айда, теки.
И прикинуть
Так лучше, братец,

Не в тюрьму
А в Березняки?

После 212 Евстигней
Поведет ли ухом,
Замолчит ли —
Все замолчат,
Даже дышат
Единым духом
От старухи
И до внучат.

Гл. 3 Господи,
После 100 Неужто ж обиды мало,
Неужто хитрю
В моленьи моем?

Сладкой слезой
Глаза
Застлало
Богу, и губы
Пахли хмельком.

Гл. 4 Он споил
После 10 Свое соседство,
Так что
Окна пели аж,
Отдавал
Сынам наследство,
Дочерям
Сулил марьяж.

Гл. 8 Разны
После 105 Духовный разум
И плотский
Бог для того
Чтоб мир хорошел
И обретается
Не на досках
Крашеных —
В человецкой душе.

Гл. 33 В снегах и колосьях,
После 142 В убранстве простом!
И детство учительше тоже приснится,
И лошади скачут Кузнецким мостом,
Огни на Неглинной
В тумане густом
Ножом золотым
Закрывают ресницы.

Часы зазвенели.
И с разных сторон
Ура прокатилось,
Удары,
Удары!
По площади Красной
Летит эскадрон
Бессонный салют
Запевают фанфары.

Отдельный автограф

Песня о том, что сталось с тремя сыновьями Евстигнея Ильича на Беломорстрое

Первый сын не смирился, не выждал
Ни жены, ни дворов, ни коров —
Осенил он крестом себя трижды
И припомнил родительский кров.
Бога ради и памяти ради,
Проклиная навеки ее,
Он петлю себе тонкую сладил
И окончил свое житие.
Сын второй изошел на работе
Под моряны немыслимый вой —
На злосчастном песке, на болоте
Он погиб, как боец рядовой.
Затрясла лихоманка детину,
Только умер он всё ж не врагом —
Хоронили кулацкого сына,
И чекисты стояли кругом.
Ну, а третьему — воля, и сила,
И бригадные песни легки, —
Переходное знамя ходило
В леву руку из правой руки.
Бригадиром, вперед, не горюя,
Вплоть до Балтики шел впереди,
И за это награду большую
Он унес с собой в жизнь на груди.
Заревет, Евстигнёшке на горе,
Сивых волн непутевый народ,
И от самого Белого моря
До Балтийского моря пройдет.
И он шел, не тоскуя, не споря,
Сквозь глухую, медвежью страну.
Неспокойное Белое море
Подъяремную катит волну.
А на Балтике песня найдется,
И матросские ленты легки,
Смотрят крейсеры и миноносцы
На Архангел из-под руки.
С горевыми морянами в ссоре,

Весть услышав о новом пути,
Хлещет посвистом Белое море
И не хочет сквозь шлюзы идти.

156

Авторизованная машинописная копия
После 42
(зачеркнуто)

[Но знаю я, что в детстве мы честней
И впитывая бабьих лиц румянец
И пот мужей и от лампады свет
Без них стоим мы на ветру шатаясь,
И кажется — другой опоры нет.]

После 146

Глаза зажмурю и — печные дымы
Гул дележей и ссор несметных, грязь
Нет, этот мир настоян на огне,

После 147

Ведь всё же стал Григорий Евдокимов
С победою и счастьем породнясь
Глаза зажмурю, даже страшно мне

160

Авторизованная машинописная копия
Часть 2
После 66

О деревянная отара —
Станишный град, издалека
Не ты ль заслушал с крутояра
Язык огня, язык ЦК?
Ты ль стал подножьем комбината,
Его ступню увил травой?
Под жирной охрою заката
На желтой глине огневой.

ПРИМЕЧАНИЯ

Издание стихотворений и поэм Павла Васильева в таком объеме предпринято впервые. Несмотря на широкую популярность и признание, П. Васильев при жизни, если не считать двух книжек очерков, издал отдельной книгой только поэму «Соляной бунт» (М., 1934). Это не значит, что поэт не делал попыток издать другие свои произведения (сборники «Путь на Семиге», «Стихи», «Книга стихов», «Лирика», «Семиречье»). К сожалению, они оказывались безуспешными.

Первое посмертное издание стихотворений и поэм — «Избранные стихотворения и поэмы» (М., 1957), осуществленное Государственным издательством художественной литературы, — второе — «Стихи и поэмы. Избранное» (Алма-Ата, 1964) — и третье — «Стихотворения и поэмы» (Новосибирск, 1966) — включают только часть литературного наследия П. Васильева.

Настоящий сборник по составу значительно шире, чем предыдущие вместе взятые, причем ряд стихотворений и отрывок «Дорога» из трилогии «Большой город» публикуются впервые. За пределами книги остались детские и юношеские опыты, экспромты, эпиграммы, стихотворения, написанные совместно с другими поэтами. Перечень их с указанием времени написания или публикации и местонахождения автографа приводится после примечаний.

Для подготовки настоящего сборника были обследованы многие периодические издания с 1927 по 1936 г., архивы ряда газет, литературно-художественных журналов и некоторых издательств. В книге два раздела — «Стихотворения» и «Поэмы», в каждом произведения расположены в хронологическом порядке. Наиболее интересные варианты и разночтения приведены в особом разделе «Варианты».

Тексты сверены с автографами, машинописными копиями, устранены опечатки, редакционная правка, восстановлены случайно пропущенные строки и т. п.

В тех случаях, когда произведения датируются по первой публикации или по году, не позднее которого они написаны, даты заключены в угловые скобки. Предположительные даты сопровождаются

вопросительным знаком. Точные даты устанавливаются по датированным автографам и журнальным оттискам, подписанным П. Васильевым, по свидетельствам родственников и современников поэта и специально в каждом конкретном случае в примечаниях не оговариваются. В примечаниях даются сведения о первой публикации, указываются издания, где текст подвергался изменениям, и источник, по которому печатается произведение. Отсутствие указания на источник означает, что произведение печатается по первой публикации. Звездочка перед номером примечания означает, что в разделе «Варианты» печатаются разночтения к данному тексту.

Казахские, казачьи, местные и вышедшие из употребления слова, а также часто встречающиеся в стихах П. Васильева географические названия, связанные со Средней Азией и Сибирью, вынесены в словарь. Однако в произведениях П. Васильева во множестве встречаются и вымышленные автором географические названия, например: река Кульджа, дорога Аю-Кеш, город Зейск, Лыч и т. п. — они не комментируются и в словарь не выносятся.

Большинство рукописей П. Васильева утрачено, лишь небольшой архив был сохранен А. Е. Крученых и передан им в 1957 г. вдове поэта Е. А. Вяловой. Архив состоит из различных материалов — рукописных, авторизованных машинописных копий, журнальных оттисков, некоторые из них с авторской правкой и замечаниями на полях.

В ЦГАЛИ отдельного архива П. Васильева нет, автографы и машинописные копии, авторизованные и неавторизованные, находятся в фондах различных журналов и Государственного издательства художественной литературы. Целиком сохранились: рукопись коллективного сборника «Песни киргиз-казаков», отправленная в набор 20 ноября 1931 г. и подписанная к печати (в ней имеется несколько автографов П. Васильева); автограф поэмы «Кулаки», правленная автором машинописная копия поэмы «Женихи», машинописные копии поэм «Лето», «Песня о гибели казачьего войска», разных стихотворений из частично уцелевших рукописей некоторых неизданных сборников — «Песни», «Ясак», «Книга стихов», предложенных в свое время поэтом Государственному издательству художественной литературы. Отдельные автографы находятся у частных лиц.

Совсем недавно в библиотеке литературного критика А. К. Тарасенкова обнаружена верстка сборника «Путь на Семиге», оказавшаяся полезной для уточнения датировки и текста нескольких стихотворений. После длительных поисков найдены корректурные листы (гранки) сборника «Стихи», их сохранил библиограф М. И. Чуванов, работавший в те годы в издательстве «Московское товарищество писателей». На сохранившемся титульном листе рукописи надпись редактора С. И. Малашкина: «В набор. 5.VII-33 г.» Ниже — помета: «2667 строк». Помимо неизвестного лирического цикла и отрывка из трилогии «Большой город» в сборнике оказалась полностью поэма «Одна ночь», отличающаяся от сокращенного варианта, опубликованного в журнале «Красная новь».

П. Васильев, как показывает изучение автографов, писал своеобразной скорописью, часто не дописывал букв в словах, не всегда ставил знаки препинания, что приводило подчас к опечаткам, к искажениям текста и к разнобою в пунктуации в различных изданиях.

Нельзя не отметить того, что в произведениях П. Васильева, публиковавшихся в журналах «Новый мир», «Красная новь» и других, очень часто без согласия автора делались купюры, правились строки без учета рифмовки и смысла. Но и посмертные издания не отличаются текстологической точностью. В первом посмертном издании «Избранные стихотворения и поэмы» (М., 1957) помимо многочисленных опечаток имеется большая ничем не обоснованная редакционная правка. Эта правка приводит иногда к искажению истинного смысла, к нарушению ритмической структуры стиха. В двух других посмертных изданиях — «Стихи и поэмы. Избранное» (Алма-Ата, 1964) и «Стихотворения и поэмы» (Новосибирск, 1966) — воспроизводятся в основном тексты издания «Избранные стихотворения и поэмы» (М., 1957).

За помощь, оказанную при подготовке этой книги, составитель выражает благодарность вдове поэта Е. А. Вяловой, И. М. Гронскому, В. Н. Клычковой, Ю. А. Саенко, М. И. Чуванову.

Вступительная статья С. П. Залыгина к настоящему изданию первоначально была опубликована в журнале «Сибирские огни», 1966, № 6.

Условные сокращения, принятые в примечаниях

АПВ — архив Павла Васильева, хранящийся у вдовы поэта Е. А. Вяловой (Москва).

Избр. 1957 — Павел Васильев. Избранные стихотворения и поэмы, М., 1957.

Избр. 1964 — Павел Васильев. Стихи и поэмы. Избранное, Алма-Ата, 1964.

ИМЛИ — Институт мировой литературы им. Горького.

«Песни» — сборник «Песни киргиз-казаков». Переводы Павла Васильева, Леонида Мартынова, Сергея Маркова, Николая Феоктистова, М.—Л., 1932.

«Путь на Семиге» — «Путь на Семиге», М., 1932.

«Стихи» — гранки сборника Павла Васильева «Стихи» (М., 1933), хранящиеся у М. И. Чуванова (Московская область).

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. «Рабочий путь» (Омск), 1927, 29 мая.

2. «Советская Сибирь», 1927, 20 февраля. Автограф без 6-й и 7-й строф — АПВ. Речь идет о владивостокской бухте Золотой Рог.

3. Печ. по автографу, хранящемуся у Р. Ивнева. *Рюрик Ивнев* — псевдоним русского советского поэта Михаила Александровича Ковалева (р. 1891). Р. Ивнев первый из поэтов обратил внимание на стихи пятнадцатилетнего студента Владивостокского университета Павла

Васильева и устроил публичное выступление поэта, которое состоялось в актовом зале университета в последних числах ноября 1926 г.

4. «Советская Сибирь», 1927, 22 мая; «Комсомольская правда», 1927, 28 августа, под загл. «Прииртышские станицы», с редакционными сокращениями. Печ. по первой публикации, с исправлением опечатки в ст. 8.

5. «Сибирские огни», 1927, № 3, с. 88.

6. «Сибирские огни», 1927, № 4, с. 132.

7. «Сибирские огни», 1927, № 4, с. 125. *Какой-то Родов.* С. А. Родов (р 1893) — поэт, критик и переводчик. В 20-х годах один из руководящих работников РАПП'а, активный сотрудник журнала «На посту», на страницах которого подвергалось резкой критике творчество писателей, не входивших в рапповские организации. С. А. Родов в 1927 г. жил в Новосибирске, работал в газете «Советская Сибирь», где заведовал отделом литературы и искусства.

8. «Рабочий путь» (Омск), 1928, 1 января.

9. «Рабочий путь» (Омск), 1928, 1 января. Поэма «Шаманья пляска» не написана.

10. «Советская Сибирь», 1927, 1 мая. *Чан Кай-ши* — глава бывшего гоминдановского правительства в Китае. *Нанкин* — город в Китае, порт на р. Янцзыцзян. Речь идет об апрельских событиях 1927 г. в Нанкине, когда Чан Кай-ши с помощью кораблей империалистических держав совершил контрреволюционный переворот и безжалостно расстреливал попавших в плен солдат национально-революционной армии.

11. «Казахстанская правда», 1966, 10 июня. Печ. по автографу — ЦГАЛИ.

12. «Литературная жизнь», 1961, 29 января. Печ. по автографу — АПВ, в котором есть приписка: «Слабо — но не отрекаюсь. П. Васильев. 1934 г. Москва».

13. «Сибирские огни», 1927, № 6, с. 58.

14. Избр. 1957, с. 26. Автограф — АПВ.

15. «Сибирские огни», 1928, № 1, с. 125.

16. «Сибирские огни», 1928, № 3, с. 124.

17. «Рабочий путь» (Омск), 1928, 20 мая.

18. «Рабочий путь» (Омск), 1928, 27 мая.

19. «Сибирские огни», 1928, № 6, с. 119. *Данзас* К. К. (1800—1870) — лицейский товарищ и секундант А. С. Пушкина на дуэли с Ж. Дантесом.

20. «Простор», 1963, № 6, с. 97, с предисловием Н. Анова, в котором он сообщает о том, как П. Васильев, собираясь в путешествие по Сибири с поэтом Н. И. Титовым (1906—1960), «написал прощальное стихотворение экспромтом, вероятно минут за пятнадцать, не больше». Автограф — у Н. Анова. *Анов* Н. И. (р. 1891) — русский советский писатель, прозаик и драматург, постоянно живущий в Алма-Ате. *Конквистадоры* (конкистадоры) — испанские завоеватели, захватившие в XV—XVI вв. территорию Южной и Центральной Америки. *Южный Крест* — созвездие в южном полушарии неба.

21. «Простор», 1966, № 8, с. 120. Автограф — АПВ.

22. «Литературная Россия», 1968, 12 января. Машинописная копия с пометой: «Авторизованный перевод с якутского» — ЦГАЛИ. Указан входящий № 22 редакции «Пролетарского авангарда» и дата: 8 января 1930 г.

23. «Простор», 1963, № 6, с. 98. Автограф в архиве Н. И. Титова (Алма-Ата). *«Суровый Дант не презирал сонета, в нем жар любви Петрарка изливал»* — цитата из стих. А. С. Пушкина «Сонет».

24. «Новый мир», 1932, № 10, с. 85; «Путь на Семиге», под загл. «Сказ о деде». Печ. по гранкам сб. «Стихи». Машинописная копия, под загл. «Сказ о деде» — ЦГАЛИ. Журнальный оттиск с пометой: «Написано в 29 г. о родном деде К. И. Васильеве» и авторской правкой ст. 14 и 25 с припиской: «Исправленному верить. Павел Васильев» — АПВ.

25. «Простор», 1964, № 4, с. 111. Печ. по машинописной копии — ЦГАЛИ.

26. «Простор», 1964, № 4, с. 112. Печ. по машинописной копии — ЦГАЛИ.

27. «Простор», 1964, № 4, с. 111. Машинописная копия — ЦГАЛИ.

28. «Новый мир», 1930, № 2, с. 117. Печ. по гранкам сб «Стихи». Машинописная копия — ЦГАЛИ.

29. «Пролетарский авангард», 1930, № 4, с. 63. *Аглицкие части застряли в болотах.* Имеется в виду отряд английских солдат-интервентов под командованием полковника Уорда, свирепствовавших в Сибири во время гражданской войны 1918—1920 гг. Отряд состоял преимущественно из уроженцев графства Гэмпшир и находился непосредственно при белогвардейском диктаторе адмирале Колчаке. В каких болотах застревали гэмпширцы, установить трудно. После взятия Омска Красной Армией английские части передвигались

вплоть до Владивостока только по Сибирской железнодорожной магистрали. Можно предположить, что задержка интервентов произошла в Барабинской степи, где железная дорога проходит среди многочисленных озер и болот. *Конвент* — представительное собрание во Франции, высшее законодательное учреждение в период французской буржуазной революции конца XVIII в. *Турксиб* — Туркестано-Сибирская железнодорожная магистраль, строительство которой закончено в мае 1930 г.

30. «Красная новь», 1930, № 5, с. 118. Печ. по сб. «Путь на Семиге», с. 11. Машинописная копия — ЦГАЛИ. *Гунны* — тюркские племена, под предводительством Аттилы вторгшиеся в Западную Европу в VI в.

*** 31.** «Новый мир», 1930, № 6, с. 102; альм. «Земля и фабрика», 1930, № 10, под загл. «Рассвет на Поречье», без ст. 25, 26, 37—40, 47—52, 59, 60. Печ. по гранкам сб. «Стихи». Две машинописных копии — ЦГАЛИ.

*** 32.** «Известия», 1930, 2 февраля, литературная страница под редакцией М. Горького. Машинописная копия — ЦГАЛИ.

33. «День поэзии», М., 1961, с. 42. Печ. по машинописной копии — ЦГАЛИ.

*** 34.** «Пролетарский авангард», 1930, № 2, с. 42. Машинописная копия первой редакции — ЦГАЛИ, находится совместно с копиями №№ 32, 33 в фонде «Красной нови», регистрационный № 384, дата — 1 февраля 1930 г. *Первая Конная* — крупное оперативное объединение кавалерии в Красной Армии, созданное в 1919 г. в период иностранной военной интервенции и гражданской войны в СССР. Она совершала походы против Деникина, белополяков и Врангеля.

35. «Сибирские огни», 1930, № 7, с. 41. *ТЭЖЭ* — трест «Жиркость», торговое объединение в СССР в 20-х годах, в которое входила парфюмерная промышленность.

36. «Сибирские огни», 1930, № 6, с. 59. *Декапоты* (декаподы — англ.) — марка мощных паровозов.

37. «30 дней», 1930, № 5, с. 4. *Турксиб* — см. примеч. 29. *Стэнман* — Евгения Адольфовна Киссен, урожденная Стэнман (р. 1909), школьная подруга П. Васильева.

38. «Простор», 1964, № 1, с. 83. Автограф — у Г. Н. Анучиной. *Галя Анучина* — Галина Николаевна Анучина (р. 1911), первая жена П. Васильева.

39. «30 дней», 1930, № 2, с. 15. Журнальный оттиск — АПВ. *Багряным флагом отмечает «Красин».* Красин Л. Б. (1870—1926) — старый большевик, видный советский дипломат. Его именем был назван

один из советских ледоколов, который совершил в 1928 г. поход для спасения дирижабля «Италия», потерпевшего аварию в Ледовитом океане к северу от Шпицбергена.

40. «Женский журнал», 1930, № 11, с. 18. Журнальный оттиск — АПВ.

41. «Простор», 1964, № 4, с. 112. Автограф — ЦГАЛИ. Обращено к матери поэта Глафире Матвеевне Васильевой (1888—1944).

42. «Простор», 1963, № 6, с. 96. Автограф — у Н. Анова (см. примеч. № 20).

43—71. Песни киргиз-казаков

Стихотворения, входившие в коллективный сборник «Песни киргиз-казаков» (1932), в действительности не являются точными переводами казахских песен, кроме стихотворений «Рыжая голова» и «Поднявшееся солнце», но и они, несомненно, тоже подверглись обработке. Большинство песен, созданных по мотивам казахского фольклора, написано русским свободным стихом, весьма далеким от ритмической структуры казахских народных песен.

43. «Огонек», 1932, № 22, с. 3. Печ. по сб. «Песни», с. 49. Машинописная копия — ЦГАЛИ.

44. «Песни», с. 5. Автограф — ЦГАЛИ, с пометой: «Записано в ауле Джайтак Павлодарского округа со слов певца Амре Кишкинали».

45. «Песни», с. 11. Автограф — ЦГАЛИ, с пометой: «Записано в ауле Джайтак Павлодарского округа со слов певца Амре Кишкинали, певшего ее на байге 22 июня 1930 г.».

46. «Песни», с. 7. Автограф — ЦГАЛИ.

47. «Песни», с. 17. Автограф — ЦГАЛИ.

48. «Песни», с. 17. Автограф — ЦГАЛИ.

49. Печ. впервые по автографу — ЦГАЛИ.

50. «Песни», с. 18. Два автографа — ЦГАЛИ. Один находится в рукописи сб. «Песни киргиз-казаков», подписанной к печати, второй — в цикле «Стихотворения Мухана Башметова» в переводе П. Васильева. В 1932 г. П. Васильев прибег к приему литературной мистификации: он написал цикл стихотворений о Казахстане от имени некоего казахского поэта Мухана Башметова (см. №№ 89—91), себя же выдавал за переводчика. При жизни поэт опубликовал из этого цикла только две вещи, большинство стихотворений утрачено. В этот цикл входили и некоторые стихи из сб. «Песни киргиз-казаков» («Охота с беркутами», «Пыль», «Находка на Бухтарме»).

51. «Песни», с. 22. Автограф — ЦГАЛИ. *Упсырзаг* — управление сырозаготовками.

52—57. 1—5. «Песни», с. 29, 6. «Литературная Россия», 1968, 12 января. Машинописные копии — ЦГАЛИ. *Самокладки* — частушки и короткие песенки. Это название, бытовавшее в среде прииртышского казачества, П. Васильев использовал для трех циклов стихотворений, написанных на казахские фольклорные темы.

58. «Песни», с. 32. Автограф в цикле «Стихотворения М. Башметова» (см. примеч. 50) — ЦГАЛИ.

59. «Песни», с. 37. Машинописная копия с пометой: «Записано в 1929 г.» — ЦГАЛИ. *Серке* — легендарный казахский певец, герой фольклорных произведений.

60—63. «Песни», с. 43. Машинописная копия — ЦГАЛИ. *Световая история* и т. д. — упоминание о кинофильме известного советского кинорежиссера С. М. Эйзенштейна (1898—1948) «Броненосец „Потемкин"».

64. «Литературная Россия», 1968, 12 января. Машинописная копия — ЦГАЛИ.

65. «Песни», с. 46. Печ. с учетом авторской правки в ст. 33 в экземпляре, подаренном А. П. Квятковскому. Машинописная копия — ЦГАЛИ.

66. «Литературная Россия», 1968, 12 января. Машинописная копия — ЦГАЛИ.

67—70. «Песни», с. 53. Машинописная копия — ЦГАЛИ.

71. «Песни», с. 56. Машинописная копия — ЦГАЛИ.

---

72. «Пролетарский авангард», 1931, № 3, с. 3. Это и ряд других стихотворений, не вошедших в данную книгу, написаны П. Васильевым после командировки от газеты «Голос рыбака» на Каспийское море в 1930 г.

73. «Молодая гвардия», 1931, № 15—16, с. 60. *Дороги Конной.* Имеется в виду Первая Конная армия. См. примеч. 34.

74. «Земля советская», 1931, № 11—12, с. 128. *Юрий Пшеницын* — Георгий Федорович Пшеницын (р. 1911), школьный товарищ П. Васильева, журналист, главный редактор выходящей в Советском Союзе на немецком языке газеты «Neues Leben».

75. «Земля и фабрика», 1931, № 12, с. 126. *Уфимцев* Виктор Иванович (1899—1964) — народный художник Узбекской ССР, уроженец Курганской области, в начале 20-х годов жил и работал в Омске.

Мекка — город в Саудовской Аравии, главный религиозный центр ислама и паломничества мусульман. *Мятежная Хива* — город в Узбекистане, до 1873 г. столица Хивинского ханства. С 50-х годов XIX в., подстрекаемые английской агентурой, хивинские вооруженные отряды участили нападения на русские торговые караваны и на сопредельные русские владения. В ответ русские войска под командованием генерала Кауфмана в 1873 г. осадили Хиву. После взятия города ханство перестало существовать.

76. «Огонек», 1931, № 26, с. 2. Печ. по сб. «Путь на Семиге», с. 14. Машинописная копия — ЦГАЛИ. *«Андрей Первозванный»* — по евангельской легенде, первый ученик Христа, его именем был назван пароход, курсировавший до революции по Иртышу. *Асанов, Пшеницын и токарь Нетке* — павлодарские товарищи П. Васильева.

77. «Простор», 1964, № 1, с. 83. Автограф — у Г. Н. Анучиной. Из письма к первой жене, Г. Н. Анучиной, в котором П. Васильев писал: «Вот стихи, посвященные тебе». *Вифлеемские звезды.* Вифлеемская звезда (изображается шестиугольной) связана с евангельской легендой о рождении Христа в Вифлееме, — она якобы привела волхвов (мудрецов) к месту, где лежал новорожденный Христос.

78. «Красная новь», 1931, № 9, с. 85. Печ. по сб. «Путь на Семиге», с. 6. Журнальный оттиск — АПВ. Машинописная копия — ЦГАЛИ. *Старый город Семи Палат.* Семипалатинская крепость, построенная в 1718 г. полковником Ступиным, получила свое название от семи палат, или древних каменных строений, развалины которых находились вблизи крепости, вверх по Иртышу. В этих палатах, полагают, жили несколько веков назад тунгусские жрецы, проповедовавшие ламаизм калмыкам.

79. «Новый мир», 1931, № 9, с. 108, под загл. «К портрету Р.». Печ. по сб. «Путь на Семиге». Автограф (первые 3 строфы) — АПВ. Машинописная копия — ЦГАЛИ. *Степан Радалов* — лицо неизвестное, возможно это один из командиров 30-й Иркутской имени ВЦИК Краснознаменной дивизии, сражавшейся с колчаковцами под Омском. *Урга* — название столицы МНР до 1924 г., ныне Улан-Батор.

80. «Красная новь», 1931, № 12, с. 87. Печ. по гранкам сб. «Стихи». Журнальный оттиск — АПВ. *Старый горбатый город* — Усть-Каменогорск. *Серафим Дагаев* (р. 1909) — уроженец Усть-Каменогорска, сын законоучителя, протоиерея Александра Дагаева, казненного в 1920 г. анархистами из отряда офицера Козыря. С. Дагаев учился с П. Васильевым в павлодарской школе.

81. Избр. 1957, с. 135. Авторизованная машинописная копия — ЦГАЛИ. Это стих. и №№ 82, 83 находятся в архиве журнала «30 дней» за 1931 г. *Страна Розы, Карла и соловьев* — Германия, родина Розы Люксембург (1871—1919) и Карла Либкнехта (1871—1919), выдающихся деятелей германского и международного революционного движения.

82. Избр. 1957, с. 133. Авторизованная машинописная копия — ЦГАЛИ.

83. «Литературная Россия», 1968, 12 января. Автограф — ЦГАЛИ. *Шли батальоны короля Георга.* Имеется в виду король Великобритании Георг V (1910—1936) и батальоны английских солдат, принимавших участие в интервенции против Советской России. См. примеч. 29. *«Долог путь до Типперэри...»* — народная английская песня. Типперэри — город в Ирландии. *«Максим»* — станковый пулемет.

84. «Красная новь», 1933, № 7, с. 70. Печ. по сб. «Путь на Семиге», с. 87. Автограф без загл. — ЦГАЛИ. Журнальный оттиск — АПВ. Авторизованная машинописная копия — у В. Н. Клычковой.

85. «Огонек», 1932, № 7, с. 13.

86. «Писатели великому Октябрю», сб. первый, М., 1932, с. 219. Печ. по гранкам сб. «Стихи». *«Шарабан»* — песня времен гражданской войны.

* **87.** «Пролетарский авангард», 1932, № 8, с. 7, под загл. «Строителю Евгении Стэнман». Печ. по гранкам сб. «Стихи». *Евгения Стэнман* — школьная подруга поэта (см. примеч. 37). *Тамара* (1184—1213) — знаменитая грузинская царица.

88. «Простор», 1967, № 10, с. 74 (неточный текст). Печ. по «Литературной России», 1968, 3 января, где воспроизводится текст сб. «Путь на Семиге», с. 32. Машинописная копия — ЦГАЛИ.

89—91. См. примеч. 51. 1. «Павлодарская правда», 1962, 7 января. Машинописная копия — ЦГАЛИ. 2. «Новый мир», 1934, № 10, с. 35, как перевод П. Васильева. Автограф — ЦГАЛИ. Машинописная копия — ЦГАЛИ. 3. «Красная новь», 1934, № 12, с. 20, как перевод с казахского, без указания имени переводчика. Машинописная копия — ЦГАЛИ.

92. «Литературная газета», 1932, 29 ноября, под загл. «Быть мастером». Печ. по сб. «Путь на Семиге», с. 89. Написано П. Васильевым в июне 1932 г. на квартире поэта С. А. Клычкова. Автора консультировал поэт С. М. Городецкий. В. Н. Клычкова сохранила машинописную копию стихотворения с приведенными С. Городецким примерами классического гекзаметра, с его правкой двух строк и подписью. Вместо ст. 10 было: «Теплого, ясного сна вкруг нее на пол-аршина ваятель оставил». Вместо ст. 12 было: «Дай мне, жизнь, усыплять так крепко — каменных женщин».

93. «Литературная Россия», 1968, 12 января. Автограф — у В. Н. Клычковой. *Егорушка Клычков* — Георгий Сергеевич Клычков (р. 1932), сын русского советского поэта Сергея Антоновича Клычкова (1889—1940), научный работник, языковед, доктор филологических наук. *Крестный твой отец весь век обрастал иконами.* На-

мек на религиозность поэта Николая Алексеевича Клюева (1887—1937), крестного отца Г. С. Клычкова.

94. Печ. впервые по автографу, хранящемуся у В. Н. Клычковой.

95. «Литературная Россия», 1968, 12 января. Автограф — АПВ.

96. «Красная новь», 1932, № 8, с. 54. Журнальный оттиск — АПВ.

97. «Литературная газета», 1932, 29 октября. Печ. по гранкам сб. «Стихи». Машинописная копия — ЦГАЛИ.

98. «Павлодарская правда», 1962, 26 декабря. Автограф — АПВ. Машинописная копия отрывка под загл. «На посещение кладбища» — ЦГАЛИ.

99. «Литературная Россия», 1968, 12 января, где печ. по гранкам сб. «Стихи». Машинописная копия под загл. «Москва» — АПВ.

100. «Путь на Семиге», с. 27. Автограф — у А. П. Квятковского. Машинописная копия — ЦГАЛИ.

101. «Простор», 1966, № 8, с. 120 (неточный текст). Печ. по автографу — АПВ.

102. «День поэзии», М., 1961, с. 42. Печ. по автографу — АПВ.

103. Печ. впервые по гранкам сб. «Стихи». Автограф — у М. И. Чуванова.

104. «Литературная Россия», 1968, 12 января, где печ. по гранкам сб. «Стихи». Автограф — у М. И. Чуванова.

105. Печ. впервые по гранкам сб. «Стихи».

106. «Литературная Россия», 1968, 12 января, где печ. по гранкам сб. «Стихи».

107. Печ. впервые по гранкам сб. «Стихи».

108. «Литературная Россия», 1968, 12 января, где печ. по гранкам сб. «Стихи».

109. Печ. впервые по гранкам сб. «Стихи».

110. Печ. впервые по гранкам сб. «Стихи». Автограф — у В. Н. Клычковой.

111. Печ. впервые по гранкам сб. «Стихи».

112. Печ. впервые по гранкам сб. «Стихи».

113. Печ. впервые по гранкам сб. «Стихи».

114. Печ. впервые по автографу, хранящемуся у С. А. Поделкова.

115. Печ. впервые по автографу, хранящемуся у С. А. Поделкова.

*116. «День поэзии», М., 1956, с. 133. Печ. по автографу — АПВ. Авторизованная машинописная копия без посвящения — АПВ. *Елена* — Елена Александровна Вялова (р. 1909), жена П. Васильева.

117. «Литературная Россия», 1968, 12 января, где печ. по гранкам сб. «Стихи». Автограф — у М. И. Чуванова. Две машинописные копии — ЦГАЛИ.

118. «Простор», 1967, № 10, с. 75 (неточный текст). Печ. по «Литературной России», 1968, 12 января, где воспроизводится текст машинописной копии — ЦГАЛИ.

119. «Простор», 1967, № 10, с. 75 (неточный текст). Печ. по «Литературной России», 1968, 12 января, где воспроизводится текст авторизованной машинописной копии — ЦГАЛИ. *Скудельное ремесло* — ремесло гончара, горшечника, изразечника.

120. «Литература и жизнь», 1961, 29 января, где печ. по неполной машинописной копии ЦГАЛИ (без пяти начальных строф, под загл. «С дороги»). Впервые полностью — «Литературная Россия», 1968, 12 января, где печ. по полной машинописной копии, без загл. — ЦГАЛИ. В наст. изд. печ. по тексту «Литературной России».

121. «Литературная Россия», 1964, 11 декабря (неточный текст). Печ. по гранкам сб. «Стихи».

*122. «Сибирские огни», 1934, № 5, с. 22

123. «Вечерняя Москва», 1933, 12 июня. *Кэмширцы* (гэмпширцы) — см. примеч. 29. *Краснов* П. Н. (1869—1947) — генерал царской армии, направленный Керенским на подавление революции в Петрограде, возглавлявший в 1918 г. контрреволюционный мятеж донских казаков; белоэмигрант, шпион, в 1947 г. повешен по решению Военной коллегии Верховного Суда СССР. *Димитров* Г. М. (1882—1949) — выдающийся деятель болгарского и международного революционного движения, арестован в 1933 г. в Берлине по ложному обвинению в организации поджога рейхстага. Г. М. Димитров был оправдан. После процесса в 1934 г. он прибыл в СССР.

124. «Новый мир», 1934, № 1, с. 228, с учетом авторской правки ст. 58 в журнальном оттиске — АПВ. Машинописная копия — ЦГАЛИ. Эпиграф — цитата из стих. «Песня» (см. № 84).

125. Избр. 1957, с. 131, с исправлением ст. 2, 34, 51 по авторизованной машинописной копии — ЦГАЛИ.

126. «Известия», 1934, 12 августа. *Красавки с щучьими хвостами* — русалки.

127. «Новый мир», 1934, № 12, с. 23. *Здравствуй в расставанье, брат Василий!* Обращение к поэту В. Ф. Наседкину (1894—1940). *Как живет жена Екатерина, князя песни русския сестра.* Речь идет о поэте Сергее Есенине, творчество которого П. Васильев высоко ценил и любил, и о сестре Есенина Екатерине Александровне (р. 1906), жене В. Наседкина. *Мы, башкиры, скулами остры.* Намек на то, что В. Ф. Наседкин родился в Башкирии.

128. «Новый мир», 1934, № 12, с. 25. Эпиграф — строка из стихотворения Михаила Лобкова, товарища П. Васильева.

129. «Литературная Россия», 1968, 12 января. Печ. по машинописной копии, хранящейся у Н. П. Герасимовой (Москва). Обращено к Нине Павловне Герасимовой.

130. «Литературная Россия», 1968, 12 января. Печ. по машинописной копии — АПВ. Обращено к Наталье Петровне Кончаловской, русской советской писательнице, дочери художника П. П. Кончаловского (1876—1956). *И покуда рядом нет Клычкова, изменю фольклору — каково!* Речь идет о русском советском писателе Сергее Антоновиче Клычкове (1889—1940), работавшем в 30-х годах над переводом на русский язык фольклора народов СССР (вогульский эпос, киргизский эпос и др.) *Лисья рысь* (англ. «лисий шаг») — фокстрот. *Струги деда твоего плывут.* Намек на картину «Покорение Сибири Ермаком» В. И. Сурикова, деда Н. П. Кончаловской.

***131.** «Красная новь», 1934, № 6, с. 94. Автограф — АПВ. Обращено к Н. П. Кончаловской (см. примеч. 130). *Нам пока Вертинский ваш не страшен.* Строка полемическая, направлена против любителей песен Вертинского А. Н. (1889—1957), известного русского артиста эстрады, поэта и композитора, находившегося после Октябрьской революции в эмиграции. Вернулся А. Н. Вертинский на родину в 1944 г. *«Калинушка»* — русская народная песня.

132. «Вечерняя Москва», 1934, 5 июня. *«Челюскин»* — пароход, на котором в 1933—1934 гг. было совершено плавание по Северному морскому пути; 13 февраля 1934 г. в Чукотском море пароход был раздавлен льдами, его экипаж на самолетах был доставлен на материк. *Шмидт* Отто Юльевич (1891—1956) — выдающийся советский ученый, исследователь Арктики, возглавлял экспедицию на «Челюскине». *Ляпидевский* А. В. (р. 1908) — Герой Советского Союза, летчик, принимавший участие в спасении челюскинцев. *Димитров* — см. примеч. 123.

133. «Известия», 1934, 1 августа. Написано по заказу редакции «Известий» к антивоенному дню, который отмечался в 20-х и 30-х годах ежегодно 1 августа. Ст. 1—5 и ст. 23—25 взяты из раннего стих. «Сердце» (№ 88). *Дансинг* (англ.) — танцевальный зал или площадка при ресторане, кафе.

134. «Сибирские огни», 1934, № 5, с. 23, под загл. «Второе стихотворение в честь Натальи», без строк 16—24. Печ. по «Новому миру»,

1934, № 12, с. 23. Обращено к Н. П. Кончаловской (см. примеч. 130). *Моссельпром* — московская торговая фирма.

135. «Новый мир», 1934, № 12, с. 24. По словам Н. П. Кончаловской, стихотворение написано в Москве, во время летней грозы, в доме художника П. П. Кончаловского.

136. Избр. 1964, с. 142. Печ. по машинописной копии — АПВ. Написано для кинофильма «У самого синего моря» (сценарий К. Минца, постановка Б. Барнета, музыка С. Потоцкого). Производство студий «Межрабпомфильм» и «Азерфильм» (1935). Этот текст в фильм не вошел, а была положена на музыку строфа из стих. «Песня» (см. № 84).

137. «Простор», 1967, № 10, с. 76 (неточный текст). Печ. по «Литературной России», 1968, 12 января, где воспроизводится текст машинописной копии — ИМЛИ. Обращено к Н. П. Кончаловской (см. примеч. 130).

138. «День поэзии», М., 1956, с. 133. Машинописная копия — АПВ.

139. «Простор», 1966, № 8, с. 123. Печ. по машинописной копии — АПВ. *Н. Г.* — Нина Голицына, знакомая поэта, в 30-х годах вышла замуж за итальянского подданного и уехала за границу. *Папорот Купала* — сказочный папоротник, по народному поверью расцветающий в ночь под праздник Ивана Купала (24 июня).

140. Печ. впервые по машинописному тексту — АПВ. *Вялова Елена* — Е. А. Вялова, жена поэта.

141. «Молодая гвардия», 1956, № 6, с. 58. Печ. по машинописному тексту — ЦГАЛИ. *Беатриче* — поэтический женский образ в произведениях великого итальянского поэта Данте Алигьери. *Перекоп.* В 1920 г. в районе Перекопа войсками Красной Армии была разгромлена белогвардейская армия Врангеля.

142. «Звезда Прииртышья», 1964, 26 декабря. Автограф — у С. Г. Острового. Посвящено *Островому* Сергею Григорьевичу (р 1911) — русскому советскому поэту.

143. «Новый мир», 1936, № 9, с. 159. Вольный перевод стихов татарского советского поэта Ахмеда Фазловича Ерикеева (1902—1967).

144. «Новый мир», 1936, № 10, с. 14. *Филипп* — испанский король Филипп II (1527—1598), возглавлявший католическую реакцию в Европе. *Гёзы* — народные повстанцы, боровшиеся с испанскими поработителями во время Нидерландской буржуазной революции XVI в. *Фландрия* — область Западной Европы, населенная в большинстве фламандцами, принимала активное участие в Нидерландской буржуазной революции. *И пепел Черный, гибельный Клааса Стучал в сыновье сердце.* Перефразировка ставшего крылатым выражения из

книги Шарля де Костера «Легенда о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке» — «Пепел Клааса стучит в мое сердце». Клаас — отец Уленшпигеля, сожженный на костре испанскими завоевателями. Уленшпигель собрал с костра пепел отца, зашил в ладанку и носил эту ладанку на груди, как вечное напоминание о мщении. *Альба* — испанский полководец, герцог Фердинанд Альварец де Толедо (1508—1582), правитель Нидерландов, тщетно пытавшийся подавить буржуазную революцию XVI в. *Гранды* — высшая светская и духовная знать в Испании. *Кабальеро* (исп.) — дворянин, господин, кавалер. *Примо де Ривера* — военно-фашистский диктатор Испании с 1923 по 1930 г. (при короле Альфонсе). *Гвадаррама* — горная местность под Мадридом. *Франко* (р. 1892) — генерал, поднявший фашистский мятеж в Испании 18 июля 1936 г., диктатор Испании с 1939 г. *Подземелья Алькасара.* Алькасар, старинная крепость с подземельями в г. Толедо. Во время гражданской войны в Испании (1936—1939) в крепости отсиживались юнкера под командованием полковника Москардо. *Ибаррури Долорес* (р. 1895) — генеральный секретарь компартии Испании. *Авила* — город в Испании. *Деникин* А. И. (1872—1947) — генерал царской армии, ставленник Антанты, установивший в 1919 г. на юге России и Украине антинародную буржуазно-помещичью диктатуру. Войска Деникина Красная Армия разгромила в 1920 г. *Врангель* П. Н. (1878—1928) — барон, белогвардейский генерал. Войска Врангеля были разгромлены в ноябре 1920 г. под Перекопом и в Крыму.

145. Печ. впервые по автографу, хранящемуся у Н. А. Минха.

146. «Простор», 1965, № 2, с. 1. Печ. по «Литературной России», 1968, 12 января, где воспроизводится текст записи, сделанной И. И. Илюшенко. Обращено к Е. А. Вяловой.

ПОЭМЫ

***147.** Отд. главы: 12 — «Пролетарский авангард», 1931, № 6, с. 107, под загл. «Гармонь»; 17 — «Земля советская», 1932, № 12, с. 9, под загл. «Запев концевой (отрывок из поэмы «Песня о гибели казацкого войска»)» со сноской: «Вся поэма печатается в альманахе „Год шестнадцатый“» (в альманахе поэма не была опубликована); 14 и 15 — «Крокодил», 1933, № 34, с. 2, под загл. «Сказ о том, как черт в колхоз попал». Полностью — «Новый мир», 1932, № 11, с. 140, с опечатками, с пропуском ст. 44; «Путь на Семиге», с купюрами в гл. 6 и 12. Печ. по гранкам сб. «Стихи». Автограф с припиской П. Васильева: «Поэма начата в 29 г, кончена в 1930 г.» — хранится у А. П. Квятковского. *Как летела пава через сини моря* и т. д. Строки из народной песни «Уж ты сад, ты мой сад. . .». *Анненковцев бей!* Речь идет о казачьих частях белогвардейского атамана Анненкова Б. В. (1890—1927), действовавшего в период гражданской войны в Семипалатинской и Семиреченской областях, отличавшегося жестокими расправами с населением. Весной 1920 г. Анненков бежал в Китай, в 1926 г. проник на территорию СССР. По приговору военного трибунала расстрелян в 1927 г. *Колчак* А. В. (1873—1920) — адмирал царского флота, после Октября во время гражданской войны с помощью импе-

риалистов Антанты установил контрреволюционную буржуазно-помещичью диктатуру на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Расстрелян в Иркутске в 1920 г.

*148. «Литературная газета», 1933, 11 мая, отрывок из 4-й гл., под загл. «Попы». Полностью — «Новый мир», 1933, № 5, № 9, № 11. Отд. изд.: М., 1934. Печ. по изд. 1934 г., с учетом авторской правки в журнальном оттиске. Автограф (гл. «Свадьба» до строки «Поздняя северная весна») — АПВ. Авторизованная машинописная копия (гл. 3 1-й части, под загл. «Сказ») — ЦГАЛИ. Журнальные оттиски всей поэмы с авторской правкой ст. 105 в гл. «Свадьба», ст. 33 в гл. «Сговор», ст. 12 в гл. «Сборы» и замечаниями: «Первая — лучшая часть «Сол. бунта»; «Свадьбу» публично читал раз 200. П. Васильев. 1934 г.» — АПВ. Поэму «Соляной бунт» П. Васильев начал писать летом 1932 г. на квартире у поэта С. А. Клычкова. В. Н. Клычкова сохранила автограф двух страниц первого варианта гл. «Свадьба». *И в Тоболе остались широкие крылья знамен.* Речь идет о г. Тобольске, где хранились знамена войска Ермака. Ермак Тимофеевич (ум. 1584) — казачий атаман, сыгравший наряду с другими русскими землепроходцами XVI в. выдающуюся роль в освоении Сибири. *Под ясачным хоругвем.* Речь идет о походах казачьих войск за ясаком (податью) под войсковым знаменем (хоругвью). *«Святой Николай»* — пароход. *Тамерлан* (Тимур, 1336—1405) — великий эмир, один из величайших мировых завоевателей, прославившийся своими войнами в Средней и Малой Азии. *Малюта* Скуратов (Григорий Лукьянович Бельский, ум. в 1572 г.), один из руководителей опричнины, игравший крупную роль в царствование Ивана IV Грозного.

* **149.** «Земля советская», 1932, № 11, с. 3, без ст. 116—119, «Известия», 1934, 24 июля, в сокращенном варианте — без ст. 1—4, 21—24, 25—31, 45—82, 88—100, 112—119, 124—127, 132—140. Печ. по гранкам сб. «Стихи». Автограф — у Г. Н. Анучиной. На первом листе автографа надпись сверху — «К поэме „Времена года“», ниже заголовок — «Июнь», с посвящением С. Клычкову (см. примеч. 93). В 1932 г. П. Васильев намеревался написать поэму «Времена года» из 12 глав с названиями по месяцам. Замысел остался неосуществленным. Было написано только две главы: «Июнь» и «Август».

150. «Литературная газета», 1932, 29 октября, с опечатками, без ст. 18 и 37; «Известия», 1934, 18 октября, под загл. «Изобилье», без ст. 15—28, 52—65, 77—83. Печ. по гранкам сб. «Стихи». Автографы гл. 2, 5 — АПВ; гл. 3, 4 — у С. А. Поделкова. Машинописная копия — ЦГАЛИ. Эпиграф — перефразированные строки из стих. Н. М. Языкова «Кубок»:

Кубок взял, душе угодны
Этот образ, этот цвет.

151. «Красная новь», 1933, № 10, с. 52. Печ. по гранкам сб. «Стихи».

152. «Новый мир», 1934, № 8, с. 90. Задуманные П. Васильевым вторая и третья поэмы трилогии «Большой город» написаны не были.

Сохранился только один отрывок из второй поэмы (см. № 153). *Вонмем* (церк.-слав.) — слушайте, внемлите. *Брет-Гарт* (1836—1902) — американский писатель, автор многочисленных рассказов, главным образом из жизни золотоискателей Калифорнии. *Орел из Санкт-Петербурга.* Имеется в виду двуглавый орел — герб царской России. *«На сопках Маньчжурии»* — вальс, музыка написана в 1906 г. военным капельмейстером И. А. Шатровым (1885—1952). *Фелица Дмитриевна — тень Фелицы.* Намек на внешнее сходство Горлицыной с Екатериной II, названной Фелицей поэтом Г. Р. Державиным. *«Катька»,* «катеринка» — сторублевая ассигнация в царской России.

153. Печ. впервые по гранкам сб. «Стихи». Очевидно, П. Васильев, задумав трилогию «Большой город», работал одновременно над первой («Синицын и К°») и второй поэмами в течение 1933—34 гг. Сохранившийся отрывок, по всей вероятности, из второй части трилогии, об этом говорит окончание его, где поэт ведет речь о нашем времени. *И Александр в метелях сих плутал.* Имеется в виду А. С. Пушкин.

154. «Литературная газета», 1934, 2 июня. Вольный перевод пролога к поэме «Вахш» таджикского советского писателя, драматурга Гани Абдуллаева (р. 1912).

* **155.** «Литературная газета», 1933, 17 декабря, начало 3-й гл., под загл. «Кулацкий бог»; «Известия», 1934, 18 декабря, гл. 31, под загл. «Перед метелью». Печ. по «Новому миру», 1936, № 8, с. 90, с восстановлением по автографу редакционных купюр (гл. 3, ст. 69—72 и ст. 87—89) и исправлением по автографу опечаток в ст. 20 гл. 3-й, в ст. 6 гл. 6-й, в ст. 53 гл. 8-й, в ст. 77 гл. 34-й. Автограф с пометой П. Васильева о времени работы над поэмой: «1933—1934 гг.» — ЦГАЛИ. Машинописная копия — Институт мировой литературы им. А. М. Горького. В ноябре 1934 г. в отделе поэзии Государственного издательства художественной литературы П. Васильев читал поэму. В обсуждении приняли участие А. Сурков, И. Уткин, М. Голодный, Л. Лавров, Н. Дементьев и др. Поэта упрекали в том, что кулаки нарисованы ярко, а беднота, особенно образ учительницы, — бледнее. После обсуждения у П. Васильева было намерение воздержаться от публикации и продолжать работу над поэмой. Но он опубликовал ее через полтора года в том виде, в каком поэма сложилась в 1933—1934 гг. Во время публикации поэмы в «Новом мире» П. Васильев находился в Сибири и не имел возможности держать корректуру. По свидетельству И. М. Гронского, бывшего тогда главным редактором «Нового мира», и Г. Санникова, бывшего в то время членом редколлегии журнала и заведующим отделом поэзии, в поэме без ведома автора были сделаны две редакционные купюры, которые в настоящем издании восстанавливаются. В первоначальном замысле поэма состояла из девяти глав. В автографе есть краткий план поэмы: «1. Черлак. 2. Брат Василий. 3. Евстигней ссорится с богом. 4. Собрание. 5. Гармонисты. 6. Отпор. 7. Смерть комсомольца. 8. Суд. 9. Песня о трех сыновьях». П. Васильев начал писать поэму 11 ноября 1933 г. с главы «Смерть комсомольца». Но по сравнению с первоначальным замыслом план поэмы расширился, и в оконча-

тельном тексте седьмая глава стала тридцать третьей. На первой странице второй главы имеется запись: «Усилить учительницу, Юдина, Митина и Алексашку, подчеркнуть классовую ненависть к Потанину и Яркову, отделить бедняков». В рукописи есть несколько набросков стихотворного портрета учительницы, но они, будучи неоконченными, не вошли в печатный текст. Кроме того, сохранился отдельный автограф «Песни о том, что сталось с тремя сыновьями Евстигнея Ильича на Беломорстрое». Судя по заглавию, он, вероятно, относился к замыслу поэмы. П. Васильев, по-видимому, предполагал включить его в одну из глав (в 9-ю, по краткому плану), но отказался от своего намерения. Впрочем, не исключено, что этот автограф относится к самостоятельному произведению. Стихотворение написано во время поездки по Беломорканалу. Начиная работу над поэмой, П. Васильев едва ли представлял, что она в процессе работы приобретет большие размеры. Возможно, этим и вызван отказ от некоторых отдельных строф и целых отрывков. *Прыгуны и хлысты* — религиозные секты. *«Басма»* — сорт папирос в 20-х и 30-х годах. *Колчак* — см. примеч. 147. *Через хребты Урянхая* и т. д. Речь идет о бегстве атамана Анненкова (см. примеч. 147) в Китай, видимо через хребты Шапшальский и Западный Танну-Ола, находящиеся в пределах территории Тувы. *«Иркутянка»* — сибирская пляска. *«Это есть наш последний и решительный бой»* — слова из гимна «Интернационал». *Барабашев.* Имеется в виду порода лошадей, выведенная на конном заводе Барабашева.

* **156.** «Красная новь», 1934, № 3, с. 128, с восстановлением пропущенной ст. 42 в гл. 1 и редакционной купюры в гл. 3, ст. 13—25 по авторизованной машинописной копии — АПВ, где на полях около изъятых двух строф есть помета: «Не напечатан<о>». *Кудри царские* — сарана, растение семейства лилейных. *Анненков* Б. В. — см. примеч. 147.

157. Избр. 1957, с. 415, с учетом авторской правки ст. 214 и 260 в машинописной копии — ЦГАЛИ. Эпиграф — строка из стих. А. С. Пушкина «Гусар».

158. «Новый мир», 1936, № 7, с. 97, с устранением редакционной правки в ст. 19 и 55. *Разверстка.* Имеется в виду продовольственная разверстка, метод государственной заготовки продуктов сельского хозяйства, применявшийся советской властью в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918—1919), при котором государство по твердым ценам изымало у крестьян все излишки хлеба и фуража сверх установленных норм на личное потребление. *Жанен* М. — генерал, французский посол при правительстве адмирала Колчака в Сибири (1918—1919). *«Светит месяц ясный»* — русская народная песня. *Гаргантюа* — герой сатирического романа французского писателя Франсуа Рабле (1494—1553) «Гаргантюа и Пантагрюэль». *Грязнов* И. К. (1897—1938) — командир 30-й Иркутской имени ВЦИК Краснознаменной дивизии, принимавшей участие в разгроме колчаковских войск под Омском. *Латышские полки* — латышские воинские формирования, созданные во время первой мировой войны, основная часть их в мае 1917 г. перешла на сторону социалистиче-

ской революции. Латышские полки проявили преданность и боевую отвагу в борьбе с интервентами и белогвардейцами во время гражданской войны.

159. 1. «Красная звезда», 1934, 24 декабря; 2. «Новый мир», 1936, № 6, с. 69; 3. «Новый мир», 1936, № 6, с. 71. Летом 1934 г. П. Васильев начал работать над поэмой «Красная Армия», но замысел не был осуществлен. В 1936 г. поэт снова вернулся к этой поэме и опубликовал из нее два отрывка под общим заголовком — «Из патриотической поэмы». *«Вихри враждебные веют над нами»* — первая строка из песни польского революционера В. Свенцицкого (1848—1900) «Варшавянка». Песня переведена на русский язык в 1898 г. Г. М. Кржижановским. *Корк* А. И. (1887—1937) — советский военный деятель. *Литвинов* М. М. (1876—1951) — видный советский дипломат, с 1930 по 1939 г. занимал пост наркома иностранных дел СССР.

***160.** «Октябрь», 1956, № 8, с. 56, с сокращениями и нарушениями авторского строфического деления. Печ. по машинописной копии, подготовленной П. Васильевым для публикации в «Новом мире» (1937, № 3), — АПВ. Подготовленную П. Васильевым к печати поэму сохранил поэт Г. А. Санников (см. примеч. 155), работавший в то время ответственным секретарем редакции журнала. *Нет правды аще как от бога, ты бо един, кроме греха.* Искаженное изречение апостола Павла: «Несть бо власть аще не от бога» (Евангелие, послание к римлянам, гл. 13, стих 1) соединено с перифразом крылатого выражения: «Один бог без греха». *Птолмей* (Птолемей) — основатель эллинистической династии, правившей в Египте от 305 до 330 г. до н. э. От ст.: *«Вот так калитку распахнешь»* — до ст.: *«И кто-то скажет: „До свиданья!“»* — из поэмы «Лето» (гл. 4). *ОГПУ* — Объединенное государственное политическое управление. *Вертинский* — см. примеч. 131. *Дороги римские.* Намек на известное изречение «Все дороги ведут в Рим». От ст.: *«Их рисовал не человек»* до ст.: *«Утраченную нами юность»* — из поэмы «Лето» (гл. 3).

СЛОВАРЬ

Азрак тратур (таратур) — погоди маленько.
Аил — аул, селение.
Ай-Булак (Ак-Булак) — селение Семипалатинской области.
Ай-налайн — мой милый, моя милая.
Айрам — напиток, кислое молоко, разбавленное водой.
Акмолы — город Акмолинск.
Аксакал — седобородый, старейшина; почтительное обращение к старшим мужчинам.
Актюба — город Актюбинск.
Аман-ба — приветствие, «здоро́во».
Арча — среднеазиатский вид можжевельника.
Атанаузен — ругательство.
Атбасар — город в Казахстане.
Аткаменеры — всадники, состоящие в свите знатного лица, богача, бая.

Баевы кызы — дочери бая.
Бай — богач, кулак.
Байбача (байбича) — старшая жена у кочевников; почтительное обращение к пожилым женщинам.
Байга — конные состязания на приз, скачки.
Байгуш — батрак, бедняк.
Баклага — фляга.
Бас — кружка для водки.
Басмач — участник басмачества, контрреволюционного буржуазно-националистического вооруженного движения в Средней Азии во время гражданской войны и вплоть до начала 30-х годов.
Баурсаки — кусочки хлеба или теста, жаренного в бараньем сале.
Баян-Аил (Баян-Аул) — город Павлодарской области.
Баян-Коль — озеро в Казахстане.
Бельмейм — не знаю.
Бидло — кусок железа или рельсы, в который бьют, созывая народ на сходку.
Бий — судья.
Богдыхан — титул китайских императоров.
Бом — застава, заграждение для временной задержки путников.

Бочага — большая бочка.
Брашно — яство, еда.
Бутары — железные грохоты в станках для пробойки промываемой на золото земли.
Бухтарма — правый приток Иртыша.

Вахш — река в Таджикистане, самый большой приток Аму-Дарьи.
Вертоград — сад.
Винт — винтовка, ружье с нарезным стволом, с винтовой гранью.
Войло — обвислая, в морщинах, голая кожа под шеей и на груди у быка, вола.
Встрижь — стремительно, вперед.

Гайтан — шнурок для ношения ладанки или креста.
Горни — горницы.
Гробна — селение в Казахстане.
Гусиная Пристань — прииртышская станица.

Денгиз — море.
Джайтак (Джейтак, Джатак) — аул Павлодарской области.
Джаксы — хорошо.
Джалдастар — товарищи.
Джаман — плохо.
Джок — нет.
Джут — гололед в степи, когда скот не может из-под корки льда добыть корм и гибнет.
Долонь — прииртышская станица.
Домбра — казахский национальный музыкальный инструмент.
Драга — плавучее землечерпательное сооружение, применяемое для рассыпных месторождений золота.
Дуана — знахарь, колдун.
Дурман — род растений из семейства пасленовых, заросли таежных трав.

Есаул — казачье звание и должность, позже — офицерский чин в дореволюционных казачьих войсках.

Жаман — плохо.

Завозня — каретный сарай.
Зайсан — озеро и город в Восточном Казахстане.
Замаевать (от «маять») — изнурить, утомить.
Зароды — скирды, стога.
Здришный — вздорный.
Зеренда — селение Кокчетавской области.
Зорить — разорять.

Иваси — сельдь, рыба рода сардин, распространена в дальневосточных морях.
Ишим — левый приток Иртыша.

Кайда барасен (барасын) — куда идешь.
Каменногорский — город Усть-Каменогорск.

Карагач — дерево семейства ильмовых, растущее в Средней Азии.
Кара-Джайтаки — аул в Казахстане.
Кара-Коль — озеро.
Каркаралы — город Каркаралинск.
Касэ — чашка, пиала.
Кашкыр — степной волк.
Кзыл-Орда — город в Казахстане.
Кила — болезнь, опухоль в виде шишки.
Кишлак — сельское поселение у таджиков и узбеков.
Козлодранье — национальная казахская игра, заключающаяся в том, что несколько всадников вырывают друг у друга тушу зарезанного козла и каждый из них стремится доставить ее в назначенное место. Доставивший объявляется победителем.
Кокчетав — город в Казахстане.
Копылья — стояки, надолбы, торцом вставленные во что-либо колья.
Кош — прощай.
Кошма — войлок из верблюжьей, коровьей или козьей шерсти.
Красный Яр — селение Омской области.
Кукан — бечевка, на которую нанизывают пойманную рыбу.
Кули — употреблявшееся в Китае название низкооплачиваемых рабочих.
Куль — озеро.
Курт — сушеное кислое молоко.
Курсак — желудок, живот.
Куянды (Коянды) — город в Казахстане.
Кыз — девушка.

Лебяжье — прииртышская станица.
Лывы — шумные дождевые или грязевые потоки.

Малахай — меховая шапка с наушниками.
Мартыны — речные чайки.
Моряна — ветер, дующий с моря.
Мугол (Могол) — зд.: Монголия.
Мулла — мусульманский священник.
Муялды — соляное озеро.

Намаз — мусульманская молитва, сопровождающаяся ритуальным омовением.
Некерек — что надо.
Некерек, бельмейм — жаман, жаман. Что ему надо, не знаю, — плохо, плохо.

Ой, кайда барасен, ой-пур-мой! — О, куда ты несешься!
Ой-пур-мой (ойпурмой) — восклицание, выражающее удивление.
Оморочка — берестяная лодочка.
Отур — садись.

Пайпаки — войлочные чулки или сапоги без каблуков.
Паникадило — церковная люстра.
Пауты — оводы, слепни.
Первач — самогон.

Плавун — рыба.
Поречье — прииртышская станица.
Прасол — оптовый скупщик скота для перепродажи.
Прясло — звено, часть изгороди от одного кола до другого.

Расшаперить — растопырить.
Риза — облачение священника во время богослужения.

Сабантуй — народный праздник, посвященный окончанию весенних работ.
Сарапулевки — белые валенки с красными узорами.
Свежак — ветер.
Семиге — Семипалатинск.
Семиречье — историко-географическая область в юго-восточной части Казахстана. Название происходит от семи главных рек области: Или, Каратал, Биен, Аксу, Лепса, Баксан, Сарканд.
Сусало — сусальное золото в тончайших пластинках для позолоты каких-либо изделий.

Тара — город и пристань на Иртыше в Омской области.
Тельбес — город в Кемеровской области.
«Товар-пар» — товаро-пассажирский пароход.
Тополев Мыс — поселок в Восточно-Казахстанской области.
Тропота — сбивчивый бег лошади, ни рысь, ни иноходь.
Тын — городьба, частокол.
Тюник — верхняя часть двойной женской юбки.

Уймон — местность на Алтае.
Улог — покатая поляна в лесу, в тайге.
Улькун — большой, большая.
Урлютюп (Урлютюб) — селение, станция Зап.-Сиб. жел. дороги.
Урман — дикий, необитаемый лес.
Уструг — доска, загрунтованная для росписи (у иконописцев и живописцев по дереву).
Урянхай — старое название Тувы.

Форштадт — предместье города.

Ходок — сибирский тарантас на железном ходу с плетеным кузовом.
Хорунжий — первоначально знаменосец, позднее — первый офицерский чин в казачьих войсках дореволюционной русской армии.

Чалки — веревки или канаты для причаливания судна к пристани или к другому судну.
Чебак — рыба породы сазанов; крупный лещ.
Черлак — прииртышская станица.
Чернолучье — прииртышская станица.
Чувлук — большой белый ситцевый платок.
Чуй — Чуйский тракт на Алтае.

Яик — старое название реки Урал.
Ямань (Яман) — селение в Омской области.

СПИСОК СТИХОТВОРЕНИЙ П. ВАСИЛЬЕВА, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В НАСТОЯЩЕЕ ИЗДАНИЕ

1. ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ

(Автографы хранятся у Е. А. Киссен. См. примеч 37.)

«Алтай! На сопки дикие. . .». 24 июня 1921.
Летний вечер. 26 июня 1921.
«Душистая сказка, блестящие грезы. . .». 2 января 1922.
«Ночь. Луна. Желтоватые отблески тают. . .». 4 июля 1922.
Волны. 29 октября 1923.
Весна. 24 июня 1924.
К открытке («Лиц знакомых, очень знакомых. . .»). 1924 (?)
Экспромт («Всё фальшь, всё фальшь. . .»). 4 сентября 1925.
Ланни. 27 сентября 1925.
«Если бы художником я был. . .». 5 октября 1925.
«К открытке («Много близких, знакомых лиц. . .»). 1925 (?).
«Я тебя, о милая. . .». 5 ноября 1925.
«Я песню пропою тебе. . .». 14 декабря 1925.
Отрывок. 1925 (?).
К открытке («Много близких, знакомых лиц. . .») 1925 (?).
В Италию. 16 января 1926.
«Снегом вечер засыпало, снегом. . .». 12 марта 1926.
«Распрощалися с зимнею стуженькой. . .». 26 марта 1926.
«Кругом песочек, солнце, ветер. . .». 5 апреля 1926.
«Дорогая, зачем так серьезно. . .». 7 апреля 1926.
«Поэт, ты умер — умерла любовь. . .». 7 апреля 1926.
«Ах, виноват ли я, что сердце непослушно. . .». 7 апреля 1926.
«Сижу, а вечер за окошком. . .». 9 апреля 1926.
«Да, здесь черканья, здесь черканья. . .». 12 апреля 1926.
«Белым балахоном небо опустилось. . .». 21 апреля 1926.
«Взял бокал виноградного сока. . .». 1 мая 1926.
Мариэм. 18 мая 1926.
Ланни. 21 мая 1926.
Собутылочникам. 22 мая 1926.
Про закат. 31 мая 1926.
Бюсси. 24 июня 1926.
«Я вышел на берег, играл. . .» 26 июня 1926.
«Увидел тебя я нежною. . .». 3 июля 1926.
Вступление к поэме «Мариэм». 1926.
«Что б ни случилось, а эти слова. . .». 1926 (?).
«Звезды. Вечер Санный путь. . .». 1926 (?).

2. РАЗНЫХ ЛЕТ

Октябрь. — «Красный молодняк», 1926, 6 ноября.

«Вы просите стихов? Вчера цыганка пела...». Июль 1927. Автограф — ЦГАЛИ.

Кизяк. 1929 (?). Машинописная копия — ЦГАЛИ.

Агроном Пшеницын. — «Песни», 1932, с. 27. Автограф — ЦГАЛИ.

О том, как ребята в колхоз ездили (написано совместно с поэтом Евгением Забелиным). 1930. Машинописная копия — ЦГАЛИ.

Женщины (написано совместно с Е. Забелиным). — «Женский журнал», 1930, № 2.

На тракторе (написано совместно с Е. Забелиным). — «Женский журнал», 1930, № 6.

Рыбацкая песня. — «Голос рыбака», Москва, 1930, 12 февраля.

Вторая колхозная. — «Голос рыбака», Москва, 1930, 20 марта.

Баллада о Джоне. 30 сентября 1930. Автограф — у С. В. Казакова (Омск).

Оборона. — «Голос рыбака», Москва, 1930, 20 ноября.

Путина на Арале. — «Красная нива», 1930, № 12.

Наш ответ (написано совместно с Е. Забелиным). — «Известия», 1930, 24 сентября.

Вместе с нами. — «Голос рыбака», Москва, 1931, 8 марта.

Любовь на Кунцевской даче. Весна 1931 г. Автограф — АПВ.

Уборочная. «Прожектор», 1931, № 20—21.

«Мы с тобой за все неправды биты...». 1932. Автограф — у В. Н. Клычковой.

«О, рябые ночи весны...». 1933. Автограф — АПВ.

Раненая песня. 1933. Автограф — АПВ.

«Бог Гименей, бог Загс иль просто бог...». 1933. Автограф — АПВ.

«У ворот Панферова...». 1933. Автограф — АПВ.

«У Зозули бе вначале слово...». 1933. Автограф — АПВ.

«Его Толстой, как бог меня, простил...». 1933. Автограф — АПВ.

На Клюева и К°. 1933. Автограф — АПВ.

«Услышав под вечер кукушку...». 1933. Машинописная копия — у Ю. Н. Феоктистова (Рига).

Пирушка. — «Молодая гвардия», 1933, № 12.

Терновская округа. — «Крокодил», 1934, № 2. Автограф — АПВ.

Сергею Поделкову. 23 июля 1934, Москва. Машинописная копия — у С. Поделкова.

«Как тень купальщицы...». 18 ноября 1934. Автограф — АПВ.

Песня юго-западных славян. Ноябрь 1934. Автограф — АПВ.

Обращение. 1934. Автограф — АПВ.

«Узкозадая ведьма...». 1934. Автограф — АПВ.

«Мне говорят: Васильев, Вы — богема...». Машинописная копия — у Ю. Н. Феоктистова (Рига).

«Как весенний паучок...». 1934. Автограф — АПВ.

Сталинский маршрут. — «Новый мир», 1936, № 10.

Убийцы. — «Новый мир», 1936, № 10.

«Я полон нежности к мужичьему сну...». 1936. Автограф — у Н. А. Минха.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис.* П. Васильев. Фотография 1933 г. Из архива Г. Н. Анучиной.
2. *С. 358.* Автограф стихотворения «И имя твое, словно старая песня. . .». Из архива Г. Н. Анучиной.
3. *Между с. 176 и с. 177.* Портрет П. Васильева худ. Н. Яровой, сделанный с фотографии. Оригинал хранится у писателя И. Шухова.
4. *На обороте* П. Васильев. Фотография 28 мая 1932 г. Из архива Г. Н. Анучиной.
5. *Между с. 208 и с. 209.* П. Васильев. Фотография 1932 г. Из архива Г. Н. Анучиной.
6. *На обороте* П. Васильев. Фотография 1934 г. Из архива П. Васильева.
7. *С. 124.* Автограф страницы из поэмы «Лето». Из архива Г. Н. Анучиной.

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Песни киргиз-казаков

ПОЭМЫ

Васильев Павел Николаевич

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Л. О. изд-ва «Советский писатель». 1968,
632 стр.
Тем. план вып. 1968 г. № 371

Редактор *Л. А. Николаева*
Художник *И. С. Серов*
Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн редактор *М. А. Ульянова*
Корректор *Ф. Н. Аврунина*

Сдано в набор 17/V 1968 г. Подписано в печать 2/IX 1968 г. М 19620. Бумага $84\times108^1/_{32}$, № 1. Печ. л. $19^3/_4 + 3$ вкл. (33,5) Уч. изд. л. 32,04. Тираж 25 000 экз. Заказ № 774. Цена 3 р. 23 к.

Издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28.

Ленинградская типография № 5 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Красная ул., 1/3.

3 р. 23 к.